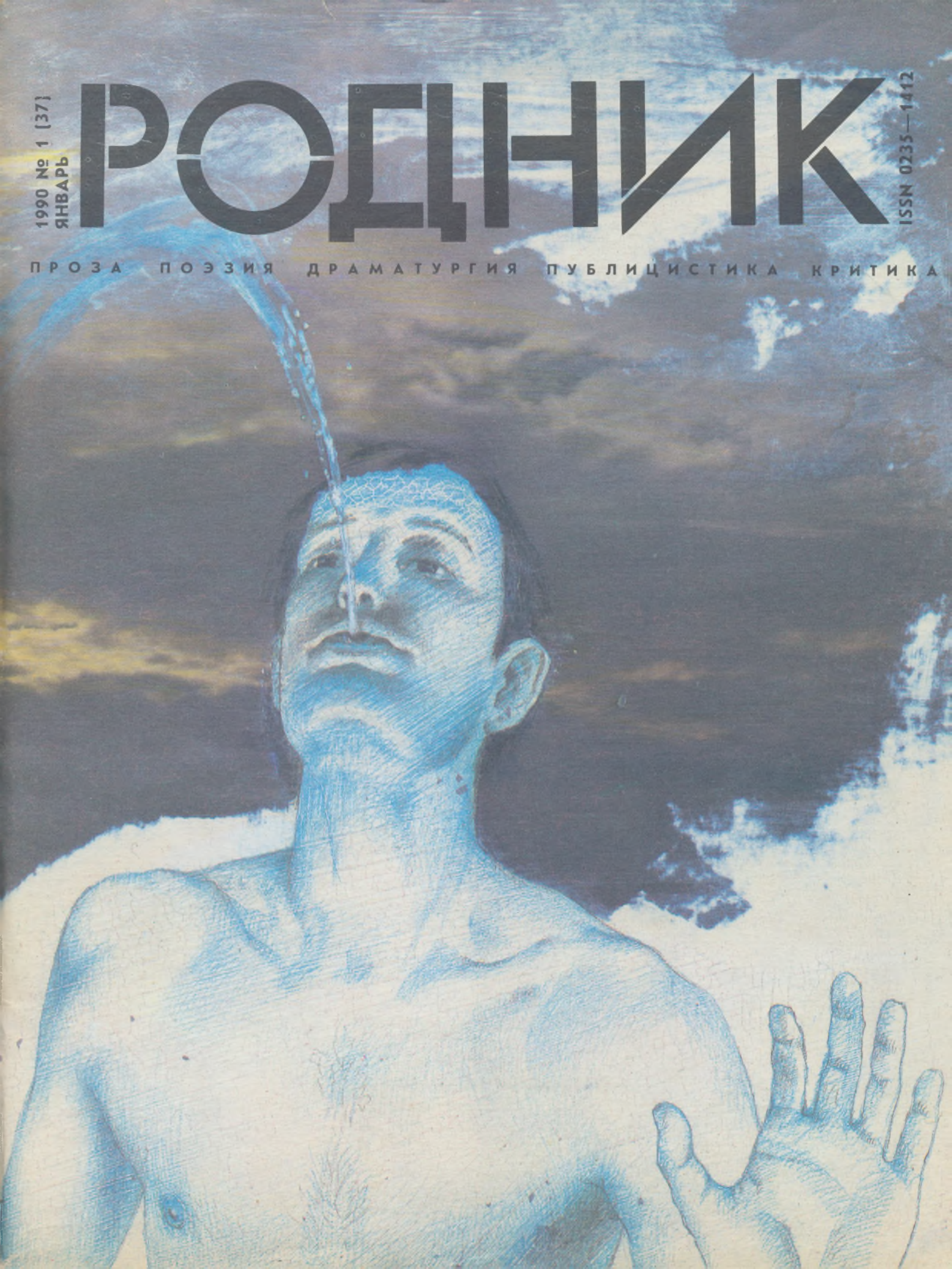


1990 № 1 [37]
ЯНВАРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЕЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНЬЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Кристалс Капарс. Рассказы (12)
Валдис Румниекс.
«Чак — русский поэт?» (16)
Даниэль Буланже. Стихи (18)
Аркадий Аверченко. Рассказы (19)
Николай Жуз. Стихи (30)

КУЛЬТУРА

Зента Мауриня. «Два корня культуры» (33)
Татьяна Макарова.
«У них для правды нет границ» (41)
Юлия Вознесенская. «О Георгии Михайлове» (43)
Георгий Михайлов. Фрагменты дневника (46)
Майя Аболиня. «Общество культурного сближения с народами СССР 1929—40 гг.» (49)

ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса Лисюткина.
«Подвиг и трагедия Рауля Валленберга» (53)
Артемий Осин. «Феномен ГБ и стереотипы массового сознания» (58)
С фотовыставки «Латвийское время» (64)
Лариса Пияшева.
«Социал-демократия и мы» (66)

ЛИТЕРАТУРА

Бруно Шульц. Рассказы (72)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

АЙВАРС ТАРВИДС НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

Перевод АНТЫ СКОРОВОЙ

РОМАН

...спину, которая так ужасно чесалась. Арнольд приподнялся и стал лихорадочно чесать левую лопатку. Неужели насекомые? Неудивительно, в этом государстве все возможно... В этом государстве, до него вдруг дошло, что точно так же — равнодушно и лениво — можно было бы думать или рассуждать об юртах в монгольских степях, о карманниках в лиссабонской толпе или дизентерии в каирском водопроводе. Неужели пуповина, связывающая с точкой географического и политического происхождения, надорвалась и на уровне подсознания? Это гораздо существеннее, чем получить израильскую визу в голландском посольстве в столице СССР городе-герое Москве. И приятнее, чем видеть, как наблюдающий за посольством милиционер освобождает проход к дверям. Страж порядка молчит, и его мальчишеское лицо уродуют форменная фуражка и гримаса ненависти. Хочется ведь сержантику, ой, как хочется, проявить себя, поймать предателя родины и проявить себя. Торчит парень под дождем и ветром, свыкнулся с погонами и приказами, наблюдает за чужими лимузинами, слышит чужую речь, и сердце милиционера жаждет равенства, этого бесконечного строя от Тихого океана до Балтийского моря, в котором ему — избранному — дано право заботиться о безопасности и законности. Как соседскому пареню Гунтису, этому истинному латышскому молодцу с голубыми, голубыми глазами и светлыми, как лен, волосами. Гунтис слыл некоронованным *королем* уезда, с бешеной скоростью гонял «яву», вечно ходил с отбитыми в драках кулаками и топтание ногами поверженных противников обосновывал национальными чувствами, мол, «*мы, латышские ребята, мы этим русакам покажем!*» Счастливо избежав заключения, Гунтис отправился на действительную военную службу, чтобы через несколько лет совершенно случайно усесться рядом с Арнольдом за стойку бара. Теперь у Гунтиса были руки в татуировке и погоны *старлея* милиции, из-за которых буфетчица сотрудница внутренних дел наливала коньяк прямо в кофейную чашку. Гунтис пил, грыз соленый миндаль, хлопал Арнольда по плечу и непрерывно повторял: «Ты послушай, этот курва думает удраг, идиот, мы за ним, загнали во двор, и по башке, по башке!» Он говорил, что может восстановить огонь за пьянку «*права*», а девчонок, чистюли которые, кто не желает путаться, сажают в машину и — прямо в триппер-бар, на проверку. Глаза у Гунтиса были по-прежнему голубыми, как латгальские озера, и блондинистый чуб на голове, как у играющего на кокле участника фольклорной группы. Под конец лейтенант милиции настолько опохмелился, что стал уговаривать Арнольда пойти в уборную, обещая показать там пистолет, настоящий пистолет. Стал задираться, угрожал и непрерывно приставал с вопросом: «Ты не веришь, ты не веришь мне, латышскому парню?!»

Дерьмо, дерьмо, которое надлежит спустить в канализа-

цию, подумал Арнольд, не особенно задумываясь, клеймит ли он бранным словом лейтенанта милиции или кандидата медицинских наук. Наверно, последнего, потому что именно Бремерс из-за кулис бюро руководил кукольным театром публичного издевательства над ним, старался в пределах своих возможностей придать товарищескому суду в красном уголке привкус политического процесса, по крайней мере добиться, чтобы у вымогателя отняли за профессиональное несоответствие диплом. Это красноречие на собраниях, пошлые сплетни и издевательский вопрос, после того, как жертва уже легкой рукой подписала заявление об увольнении и присоединила себя к числу интеллигентных безработных: «Куда вы, коллега, запропастились? Ничего о вас не слышно...» Встретились они не на премьере в академическом театре или престижном юбилее, а в мясном павильоне Центрального рынка. Вокруг субботняя утренняя толчея, туши и копчености. Покупатели попроше выставляли очереди за морожеными субпродуктами и пошнелыми птицами, менее скупые и более зажиточные покупали окорока и карбонады у частников. Арнольд смотрел, как заворачивают в бумагу выбранный им кусок говяжьего филе и ответил, что никуда не пропадал, что вечером будет есть бутерброды по-татарски, жизнь прекрасна, как в сказке Андерсена, через пять лет у него будет частная клиника, а бывшие коллеги будут ломиться на стажировку. Лицо Бремерса выглядело тупым, как подвешенная на железный крюк телячья голова на стенде, он долго перебирал из одной руки в другую свою сетку с картошкой, пока не вспомнил и сумел среагировать политически верно, заявив, что там кандидаты наук, доценты и научные сотрудники часто дерутся из-за мест лаборантов или санитаров, готовы друг другу кровь пустить, а по вечерам пишут жалостливые письма в московские газеты. Арнольд уже ощутил во рту вкус татарских бутербродов и был в великодушном расположении духа, он поблагодарил парторга за новое мышление, согласился с тезисом, что больше социализма означает больше демократии, и предложил переписываться, мол, все же знакомый человек на родине. Тут Бремерс отскочил и, не погрывавшись, потащил прочь свой страх и пять кило правительственной картошки. Времена переменялись, сейчас можно гордиться дядей — латышским чекистом, которого талантливые ученики поставили к стенке, и осуждать трясицу застойных лет, ответственность за которые ложится на всех коммунистов.

Дерьмо, повторил Арнольд и нащупал сложенные в изголовье брюки. Долго возился в темноте, пока, прогнув спину, как поверженный в партер борец, не засунул ляжки в штанины и не застегнул молнию. Тихонько, как вориска, спустился с полки, разыскал ботинки и открыл дверь купе.

Из открытого окна прямо в лицо ударила струя холодного воздуха. Арнольд мусолил сигарету и смотрел в ночь. На темном небе набухали и расплзались облака, на резком осеннем ветру они множились, как амебы в окуляре микро-

(Продолжение. Начало в № 8)

скопа. Луна, это круглое дамское зеркальце, посылала бегущего по космическому пути солнечного зайчика в студеные воды озера, а Арнольда терзало сожаление. Нет, скорее уныние из-за собственной жизни. Столько красивых елок зажигалось, каждый Новый год, маленькие бороздки пометили места будущих морщин, уже рукой подать до благородных седин или комической лысины, а по сути, ничего нет, только дребезжащий вагон, уборная, холодная ласка порыва ветра на щеках, сигарета, скомканный клочок бумаги в унитазе да навязчивый стук колес в ушах. Всегда можно себя утешить тем, что реально происходящее, по сравнению с катаклизмами прошедших времен, сущий пустяк. Так, изможденному голодом дистрофику охотиться за собаками в блокадном Ленинграде или бегать по тундре от собак — это страшно. А тут — еще два неполных дня, и можно собственными глазами лицезреть город — родину вальсов, австрийские полицейские, по сравнению с войсками НКВД, сущие няньки, а огромный мир сыт, нажил добра, свой кусок, свой уголок найдется и для него. Как бы там ни было, но действительность с толчком и орденами на клочке бумаги выглядела жалкой и постыдной. Мысль, что другого выхода на самом деле нет, облегчения не принесла. Можно было кисло усмехаться, что в его лице социализм выводит свои отходы, но он, Арнольд, слишком мелок, чтобы забились канализационные трубы. Ветер без устали трепал волосы, на лицо то и дело падали тяжелые капли дождя, и он ощущал на глазах черную повязку обреченности, когда уже ничто, совсем ничто не зависит от разума, денег и воли человека, когда надо осознать истину — ты бесконечно мал и беспомощен, жалок, связан по рукам и ногам. В таких случаях начинаешь догадываться, откуда идет зло, которое на том или другом краю света гонит на крышу маньяков, вкладывает им в руки снайперское оружие, приказывает загнать в ствол патрон и стрелять. Стрелять бессмысленно и жестоко, стрелять с единственной мыслью — пока предназначенная ему пуля попадет в голову, грудь или живот, отправить в небытие по возможности больше себе подобных, жалких и отвратительных созданий. Ведомая этим безумным желанием рука ставит черный крестик оптического прицела на очередной бегущий в панике силуэт, после каждого выстрела пальцы чувствуют изгиб спуска, а плечо отдачу приклада. Какая глупость, сказал себе Арнольд и улыбнулся, потому что и впрямь представил, как смешно бы он выглядел с крупнокалиберным пулеметом в руках, обвешанный патронными лентами. Ведь возможности побега или поиска новых идей огромны, мир, в конце концов, простирается вдаль, от востока до запада, от правого до левого полушария, как на глобусе, так и в мозгу. И птичка надежды неустанно бьется о стенки собственного черепа, ломает крылья, залечивает раны и бьется снова.

А Арнольд все еще видел себя на фоне джунглей. Пулеметная очередь пробивает вертолет, как консервную банку, он взрывается в клубах красного пламени, уносит с собой дюжину вьетконговских солдат и русского инструктора. Да, настоящий супермен по имени Рембо...

... по имени Рембо, поставил на конторский стол чистые рюмки и два лимона и молча вышел. При открывании дверей громче стала слышна музыка, непрерывно громылавшая в зале.

— Нда... Рост два метра, мышцы культуриста, — прогнул Арнольд, — Он у тебя работает?

— Убирает посуду, подает пальто, выкидывает пьяных, — ответил Эдвин, вытащил из ящика бутылку коньяка и, профессиональным движением выдернув пробку, наполнил рюмки.

— Пьет? — допытывался Оскар.

— Ни капли, — сказал Эдвин, — Выпьем, мужики!

Они деловито отвели коньяк.

— Это ты на витрину не ставь, за Рембо у Горбача тоже можно срок схлопотать... Этот парень на самом деле служил или укольчиками будку накачал?

— Из него не выдавишь. То говорит, что был в «афганцах», то сидел в самолете с десантниками и ждал, не по-

требуется ли подмога генералу Ярузельскому. По последней версии — охранял Гесса в тюрьме Шпандау... Я не знаю, и, по правде, мне все равно. Свои деньги он здесь честно отработывает...

— Мы все тут подобрались честнейшие работяги! — съехидничал Арнольд, разрезая перочинным ножиком лимон, — один деньги у больных вымогал, другой протитуировался в газетах, третий торговал левой водкой и разбавлял коньяк вином...

— Только не это, Арнольд! — совершенно серьезно возразил Эдвин. — Это нечестно — подсовывать людям за их гроши помои. Нечестно нерентабельно с финансовой точки зрения... Знаете, у нас тут всякие шастают. Требуют денег, грозят жену изнасиловать, машину угнать, «дачу» подпалить. Рембо поговорил с тремя во дворе...

— Работенка для травматолога? — поинтересовался Арнольд.

— Один в коматозном состоянии. Перебито основание черепа. У его дружка концы сломанных ребер воткнулись в легкие. Третий только что после амнистии. Сидит теперь в изоляторе и чистосердечно признается.

— Ну, а парень?

— Что, парень?.. Два дня продержали и выпустили. Теперь обхезэсника чуть ли не упрашивать приходится, чтобы свой конвертик в карман засунул.

— Ей-богу, не пойму, чего ради я в Чикаго намылился, — рассмеялся Арнольд, — Вы здесь живете отнюдь не хуже.

— За это и выпьем! — Эдвин поднял рюмку.

— Ты всегда говорил, что на работе, как стеклышко. Иначе сам станешь своим главным клиентом... — произнес Арнольд, когда рюмки опустошились.

— Верно. За стойкой — сухой закон. Сегодня смену уже сдал. Пусть Николай ишачит...

Они торчали на складе коктейль-бара, курили и стряхивали пепел в пустую банку из-под ананасового сока. Над головой в зарешеченном окошечке жужжал вентилятор, вдоль стен тянулись нагромождения ящиков пепси-колы, шампанского, ликеров и коньяков, рядом на столе лежали толстая конторская книга и японский калькулятор, с роскошного полупорнографического календаря улыбалась голая негритянка. Вошел Николай, маленький и такой толстощекий, будто он один съел весь припасенный для посетителей шоколад. Николай принес пакет с импортными презервативами.

— Сколько хочешь? — Эдвин деловито спросил и прочел, — Made in West Germany...

— Пятнадцать.

— Наличными?

Николай отрицательно покачал головой.

— Червонец или — пусть катятся.

Николай ушел. Он носил обувь на мягкой подошве.

— Никак не дождусь, когда нам кто-нибудь предложит гранатомет, — сказал Эдвин.

— Как же вы, бармены, любите золотые кольца с печаткой, — съязвил Оскар.

Николай, и впрямь, таскал на пальце не менее пятнадцати граммов драгметалла.

— Это точно, — согласился Эдвин. — Как надо делишки улаживать, так я тоже напяливаю на палец. «Печатка» к делу относится, как звезды на полковничьих погонах, что указывают на звание. Равный узнает равного, дружок... Поэтому у меня «лада» обвешана идиотскими пластмассовыми побрякушками, на куртке попугаичьи нашивки, а дома видик и кассеты, где по три часа подряд трахаются...

— Соцреализм, — сказал Оскар. — В кабаке, за стойкой, с идиотами... В похмелье тебе наверняка мерещатся суд, конфискация, нары в колонии... Тебе, Эдвин, не хватит?.. Все книжки на свете не прочтешь, всех женщин не поимеешь, всех денег не заработаешь...

— И всей водки не выпьешь! — Эдвин уже опять наполнил рюмки.

— Вначале и я, человек с образованием, шармом и интеллигентностью, рассуждал точно так же. Единственный

сын у учительницы. Напичкан разговорами о духовных ценностях, книгах и этике. Мама до сих пор сидит до полуночи, правит ученические сочинения и думает, что, если детки выучат на три стишка больше, то вырастут порядочными гражданами, будут даже у мухи просить прощения, прежде, чем ее раздавить. А я... Я успел дослужиться до старшего экономиста. Планы, встречные планы, расценки, ставки, и победители социалистического соревнования. Работают вычислительные машины, перематываются перфоленты, и мне начинает казаться, что и я печатаю деньги. Зеленые, шуршащие бумажки, и *Ильич*, как живой. Такие мне выдают в получку, а дома мамаша перелистывает поэтические сборники и готовится к завтрашнему уроку или жалуется, что в кране опять упало давление, и подает ужин. Я жую блинчики из кулинарии и думаю о вероятном поносе и о том, что девчонку некуда привести... Плюнул, одолжил два столбика, дал на лапу и начал смешивать коктейльчики. Думал, лет пять, обеспечу фундамент для жизни и — привет. Вкалывал, как нигер. В голове без устали работал компьютер. Деньги, товар, деньги. Мой доход. Деньги, товар, деньги. Как в той книжке у трирского жида. Пять лет прошло. Можно меня и посадить. Но все отнять — это уже сложнее. Я смешиваю коктейли, калькулирую и не собираюсь останавливаться...

— Понравилось? — хмуро думывался Арнольд, регулярно обеспечивавший бармена транквилизаторами и прекрасно знавший, что Эдвин таблетки глотает пригоршнями, да вдобавок курит без удержу. Каждую сигарету до фильтра.

— Понравилось... Заработки давно упали. Боремся с пьянством. А я наполняю бокалы и изучаю людей. Доволен, потому что безошибочно могу определить, кто даст чаевые, а кто будет медь собирать. Знаю, кому смело можно наливать трехзвездочный, а кто знаток, любит дорогой, вдобавок стопку не выкинет, а устроит скандал. Торчу за стойкой, переставляю бутылки, гремлю музыкой и все вижу. Бедных студентиков, фарцовщиков, уличных мальчишек, заказывающих пустой кофе, а после них по углам валяются пустые упаковки от таблеток. Мне надо только взглянуть на рожу, сразу скажу, стукач, обхеэсник, педераст... Отличаю краденое от того, что элементарно хотят пропить... Такие дела! А ты, интеллект, умник — тебе, Эдвин, не хватит?

— Но смысл, какой смысл? — не унимался Оскар. — А дальше что? Бармен на пенсию?.. Звучит гордо.

— Послушай, сын рыбака! — вмешался Арнольд, — Тебе не надоело? Эдвин еще подумает, что ты свою норму принял, лишняя рюмка, и полезешь в драку...

— Этот не дерется, — сказал Эдвин, — Этот напьется, сидит в углу и плачет. Требуется, чтобы поняли и пожалели... И не надо, Оскарчик, рассуждать о высоких материях, это удел русских интеллигентов. Рассуждать о сливовом саде и старушке с пробитой башкой. Когда ты хотел выпить в долг или спозаранку стучался в дверь с черного хода и умолял дать на опохмелку, то говорил совсем иное, позабыв, что в такой момент я для тебя делаю больше, чем советская власть за все время своего существования... Я тяжело вкалываю, и нечего мне мозги пудрить словами, что человек создан для счастья, как птица для полета.

— Тоже мне, работа. В накрахмаленной рубашке разливать напитки, — проворчал под нос Оскар.

— Да, в накрахмаленной рубашке. Десять суток подряд. По двенадцать часов в день. Не хочешь попробовать? Для познания жизни, так сказать. И на вечерок вместо *Рембо*. Четвертной на руки плюс чаевые.

— Как мальчишки... Одному деньги девать некуда, так он старается всех убедить, что деньги его не испортили. Другой, с голым задом, доказывает, что деньги — не главное в жизни...

— Ты, Арнольд, ведь дезертируешь из-за этих вонючих долларов! — кричал Оскар, — Тоже мне, судья нашелся, за тридцать сребреников мать продашь.

— Дезертирую? — переспросил Арнольд. — Меня вы-

толкнули в этот мир в определенном месте и в определенное время. Без моего согласия. Я никакой клятвы не давал, обещаний не нарушаю, я только принадлежу сам себе, в собственной и единственной жизни.

— До сих пор я считал, что все мы латыши и у нас есть долг по отношению к своей земле.

— Для блага своей страны я сделал больше, чем ты смог бы за три свои жизни, — тут Арнольд протянул ладони к середине стола, словно предлагая надеть на них наручники, — Этими руками я спасал жизни, как бы опереточно это и ни звучало, спасал жизни и возвращал людям здоровье. Эти руки, старики, мое богатство. Умные люди спорят, у кого более чуткие пальцы — у скрипача, хирурга или у карманника. А хирурги, настоящие хирурги, молody. Как поэты и физики-теоретики...

— По теоретическим расчетам, тебе придется сдохнуть от алкоголизма или ностальгии.

— Когда я еще был на государственной службе, уловил одну закономерность. Вот, ложится в больницу больной. Вояка. Медалями обвешан до пупа. Мы их зовем метал-листами. У ветерана заслуги, требования. Врач — русский? Не пойдет! Знаем мы русскую душу! Ленивы, небрежны, выпить любят... Еврей? Упаси боже! Жид или отравит, или бешеные деньги затребует... *Хочу латыша!*.. Латыши, видите ли, честные и работающие. Глупость, конечно. По части скотства мы шагаем в ногу со всеми цивилизованными нациями. А меня тошнит от этого *честного* и *работающего*. По сравнению с этим, ностальгия весьма элегантно, даже аристократическое национальное унижение.

— Верно, верно! Сами гнем спины, сами дезертируем и удивляемся, что любой ванька садится нам на шею.

— Наливай, Эдвин, наливай! — сказал Арнольд, — Пусть преумножится наше национальное самоуважение. Еще глоток, и мы запоем вей ветерок через старые городские ворота...

Они выпивали рюмки до дна, вытирали губы и сплевывали в жестяную пепельницу лимонные семечки. Арнольд развалился на стуле поудобнее и взял сигарету. У него в тот вечер было только одно желание. Как следует выпить, растворить в коньяке издавна накопившуюся желчь и неизвестность, дожидаться опьянения, придающего будущему глубины, хотя бы на один вечер умножающего силы и чувство собственного достоинства. Греть в руке рюмку, забыв о мучениях наутро, когда кажется, что голову всю ночь били кувалдой, желудок кровоточит, а рот полон кошачьего дерьма. Чтобы напиться, вокруг не должно быть довольных физиономий, чужие несчастья успокаивают, побуждают оттолкнуться от них и выбраться из трясины, позволяют гордо задрать голову и вещать, что для миссии неудачника подходит любой возраст. Сквозь пелену дыма Арнольд смотрел, как Эдвин бросает в бокалы с соком вынутые из термоса кубики льда. На груди его куртки бесновалась кляча «Ferrari», а руки, которыми Эдвин зарабатывал деньги и инфаркт, слегка дрожали. А Оскар за последние годы доносил свитер до дыр на локтях и стал уж очень смелым, громогласно ставил знак равенства между Адольфом и Иосифом, провозглашал близкий экономический крах и был не прочь выпить за чужой счет.

— Оскар, ты умный человек. Беден, зато начитался экзистенциалистов и дзен-буддистов. Я тоже просвещаюсь. Листаю американские журнальчики. Интересно, очень интересно. Пластика толстой кишки, злокачественные опухоли и иммунная система, короче говоря, мир шагает вперед. Сначала я упражнялся в английском потому, что хотел быть *здесь* самым умным, потом стал еще усерднее, так как понял, что там дуракам места нет... В честь праздника я тебе великодушно прощаю про сребренники, дезертирство и ностальгию. Хочу только посоветовать...

— Что?

— Сходи вечерком, когда никто не видит, на кладбище и подставь *Матери-Латвии* зеркальце к губам. Бьешь об заклад, ты увидишь, что камень мертв, дыхания нет. Медицина, так сказать, опускает руки, уступает место патаномии. Я сознаю свою беспомощность, свое бессилие. Мне не

возродить вольное государство от Лиепай до Зилупе. По этому я уезжаю.

— Ты, доктор, либо . . .

— Дай кончить, писака несчастный! Я понимаю, ты тиснул одну книжонку, через банное оконце показал, в какую бочку с навозной жижей нас усадила история. А дальше? Опять будем усмехаться? Головоотяпства здесь предостаточно. Может быть, согласишься, что пути нет, только одна *тупики*.

— Ты посмотри, что вокруг творится! У тебя, что, глаз на лбу нет? Возрождение, это — национальное возрождение . . .

— На календаре *Пятый год*?

— В единстве сила.

— Сила, дружок, в танках. Поэтому мы можем только попросить, чтобы не лили керосин в речку, не ссали на кладбищах предков и каждая продавщица водки умела сказать, *ludzu* и *paldies*, мой латышский брат. Доктор должен иногда обманывать умирающего, обещать скорое выздоровление, если человеку от этого становится легче. Но нельзя же обманывать целый народ. Подстрекатели на собраниях. Фронты и движения, призывы и резолюции. И людишки верят, прикалывают значки поближе к сердцу, размахивают цветными тряпками, думают, ну, теперь будет, теперь будет . . . Духовный онанизм! Ничего себе, возрождение, вожжаков через газеты искать приходится. Нет, наполеоны разрешения не просят, их не ищут, они просто приходят. А тебе подобные дураят головы людям, желающим во что-нибудь верить. Это подло. Потому что ты боишься сказать, боишься громко признать: мои свои рентгены уже получили, это излучение губит мозг, силу воли . . .

— Я боюсь?! Меня в чека вызывали! . . .

— За анекдоты, за рассказанные по пьянке анекдоты. Скажи честно, очень хочется сидеть на двух стульях? Хочешь быть великим вольнодумцем и хочешь кучу денег да квартиру окнами в парк? Могу поспорить, в тот день, когда у памятника Свободе избивали людей, ты тоже болтался рядом, а на языке было заранее заготовленное объяснение, гладко обмозгованное алиби, мол, я как творческий человек хотел своими глазами посмотреть выходы, мне, товарищ милиционер, надо знать тех, кого следует осуждать. В политику не являются в стерильных перчатках, в политике измазываются дерьмом по уши.

— По какому праву, Арнольд, ты говоришь гадости? Я никого не обманывал, никого не предавал.

— Я назюзюкался. А ты, Оскар, борись, борись за будущее.

— Время нас рассудит.

— Боже упаси, Оскар, я ведь не тащу тебя на виселицу, обойдемся без лозунгов. Если бы ты только знал, как я устал от лозунгов и красного цвета . . . У нас еще есть, что выпить, Эдвин? В конце концов, праздник ведь. Мне визу дали, у Оскара книга вышла.

— Полный склад спиртного, — сказал Эдвин, вынимая из ящика очередную бутылку, — Так вот, мы, латыши, спорим, спорим, ставим друг друга к стенке, оплакиваем судьбу и опять спорим. Нет, с латышами каши не сварить, всегда кто-нибудь захочет быть очень честным.

— Вообще, ко мне это не относится, — говорил Арнольд, протягивая руку за рюмкой. Он заметил, что напиток наконец-то обволакивает мозг густым, дурным туманом, — А тебя, Оскар, мне жалко . . .

— Жалко?

— Жалко. Навечно прикован к языку вымирающего народа. Единственная альтернатива — переплыть Ирбенский пролив, чтобы помочь поднять ученический уровень латышской редакции *«Свободной Европы»* . . . Был такой старичок по имени дядя Янис. Он расспрашивал, кем будешь, Нольдик, когда вырастешь? Гагарин, отвечал я бесконечно гордо. Ой, сынок, учись лучше ремеслу, без него люди нигде и никогда не обойдутся. Умный мужик был, спасибо ему. Нигде и никогда! Простой сапожник, пока этих важных и образцовых гнали в тайгу лес ва-

лить, дядя Янис чинил офицерам сапоги да делал набойки и остался жив . . .

— Ты поедешь поездом? — спросил Эдвин.

— Чукчукбаном. *Рига — Вильнюс*.

Вот и Вильнюс. Об этом известил резкий голос проводника. Поезд уже сбавил скорость, за окнами были видны предместья. Арнольд выбросил в ночь окуроч сигареты и закрыл дверь.

Забравшись в остывшую постель, он некоторое время разглядывал темный город. Вильнюс — знаменитый кардиологический центр, новый оперный театр, древняя *Alma Mater*, переполненные по воскресеньям церкви, толпы польских спекулянтов и родственни язык кругом, слушаешь — так и кажется, что горящие просто безобразно дразнятся по-латышски. Арнольд нащупал фляжку и отпил большой глоток. В вагоне поблизости раздавался стук остроносых дамских сапожек, звучали голоса и гроыхали чемоданы. Тело чувствовало частые стыки рельс, раскачивающие состав. Защищали тормоза, поезд плавно остановился на вокзале. Простоят минут пять, подумал Арнольд, однако отказался от прихоти прогуляться по мокрому перрону. Его не волновали поездные воришки всех национальностей, просто было лень вставать, лень, равномерно разливаясь по всему телу, вдавливая его в казенный матрасик. А литовцы сейчас гусей режут, большие и жирные, они выстраиваются на рыночных прилавках, чтобы получить порцию яблок в живот и исчезнуть в раскаленных глотках духовок. В детстве он съел много гусей, еще сейчас во рту противный вкус жира, и на всю жизнь осталось отвращение к зарумяненной капусте с кусочками сала. Тут Арнольд вспомнил Эдвина, бывшую надежду академической гребли, который из-за традиционных интриг никак не мог выбраться дальше второстепенных матчей где-нибудь в демократической Германии и Олимпийские игры смотрел, как все простые смертные советские люди — на голубом экране. Каждый раз, думая об Эдвине, он ощущал во рту вкус, и не вытопленного гусиного жирка, а липкую сладость крови, как тогда, летом, когда его — примерно около полноточи — пинала ногами орава парней. Показалось, что снова занули бока, не шутка, валяться на асфальте и терпеть безжалостные удары в пах. Тем временем Эдвин вышел из ресторана, где его задержал звонок к любовнице, медленными, плавными шагами вступил в самую гушную драку и стал методически избивать тех парнишек. Когда со стороны станции, сверкая синими огнями, появилась милицейская *«канарейка»*, Эдвин схватил его, до одури пьяного и избитого, за локоть, рванул сквозь насаждения сквера в сторону приморского леса. Арнольд не забыл, как тащился через гребни дюн, в темноте спотыкался о корни и больно ударялся о деревья. Запомнился и маленький, полный рядовой милиции, нагнавший его у забора санатория. Милитону совсем не повезло, Эдвин тотчас отключил его ужасным пинком ноги ниже пупка. Вот тебе и школа милиции, и боевое самбо! . . . А портагивный передатчик, болтавшийся на плече у стража порядка, Эдвин разбил о цементный столб забора. И сейчас, лежа в вагоне, Арнольд облегченно вздохнул, как тогда, очнувшись на дачной кухне Ирены, или Ирины, когда рано утром Эдвин, обмотав бедра махровым полотенцем, вышел попить из-под крана и смеялся, что ночью прошел дождь, теперь следы с собаками не найти. Он же, словно контуженный, валялся на надувном матраце и чувствовал, как водка, коньяк и шампанское жгут стенки желудка. Теперь же Эдвин, атлет с античным торсом, превратился в голый комок нервов — подключи проводок, и от текущих от него стрессов ярко загорится лампочка в сто ватт. Заработав спортом диплом и операцию позвоночника, он теперь профессионально смешивает *«Кровавую Мэри»*. Запутался в сплетенной из страха, привычек и денег мереже и старается не думать, ни о чем не думать, потому что бармен-пенсционер — это действительно звучит комично . . .

Откатилась дверь купе, щелка света попала Арнольду в лицо, и он инстинктивно открыл глаза и увидел мужичка с портфелем в руках. Заметив взгляд Арнольда, пас-

VISU ZEMJU PROLETĀRIEŠI, SAVIENOJĒTIESI!



Aija pirmo reizi ir Rīgā. Viņa

дТЕМ
ОТЕ -

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(Надпись над иллюстрацией)

Аия первый раз в Риге. Она

сажир показал на верхнее место и шепотом спросил:

— Товарищ, тут свободно?

— Свободно.

Свободно, свободно, передразнил про себя Арнольд. Самая наилучшая свобода, с билетом, разрешением, согласием и санкцией. Резолюцией и печатями. Угловой и круглой. Рабские душонки, холуйские спины. Теперь можно, терпеливо ждали, ну, распробуйте на сладкое, какой Сталин тиран и Бухарчик теоретик, ох и ах, Рудзутак рассудителен, а Петерс медлителен, четырнадцатое июня и двадцать пятое марта, какой ужас, Литене и «Жуткий год», вагоны для скота и наганы чекистов, цветы колоннам вермахта, и латыши с настолью твердой рукой и крепкими нервами, что ради их добросовестности везли в Румбулу людей с пол-Европы. Теперь же у целого народа поход юных следопытов по «белым пятнам», а руководитель экскурсии назначен в Москве. Какое веселье, какая неподдельная радость! Карманные вольнодумцы и карманные биллиардисты триумфируют. Хотя бы Оскарчик, заделался смелым бескомпромиссным борцом. Забыл, что раньше ему на каждом телеграфном столбе мерещился стукач с удостоверением в кармане, а все геройство ограничивалось поздними вечерними часами, когда он выслушивал выпуск последних известий BBC и носил парней с рижской «глушилки», которые во времена Брежнева чуть ли не единственные получали зарплату за хорошо проделанную работу. Латыши тогда тайком читали журналы заморских «дипиков» и громко распевали свои грустные народные песни, им казалось, что подобная суета позволяет надеяться на возрождение из пепла, обиды тогда превратятся в горький урок судьбы, истина восторжествует, а капуста будет полна здоровеньких деток, в розовые ручонки которых вместе с погремушками вложено обнадеживающее будущее. Русские тоже почитывали, в конце концов, было что читать — два поносимых и проклинаемых нобелевских лауреата, десятки на чужбине или в опале умерших талантов, плюс шемящие душу песни под гитару. И они тиражировали рукописи, пели, искали спасение в сектах и храмах, носили свое, говорящее на родном языке правительство и жили в убеждении, что только руководство мешает их державе стать поистине великой. Евреи тоже читали. Осваивали иврит, ловили слова бланков вызова. Рассуждали о трагике своей нации, бились, чтобы получить хорошее образование, и делили содержимое присланных из Израиля посылок. Они не забыли погромы и газаваны, гордились Пастернаком и затаенно стыдились за Троицкого. Выбравшись за «железный занавес», понюхав средневропейский воздух, редко кто направлялся на историческую родину, которая ждала с негибимым единением нации и пенсиями по старости. А молодые, которым в России удалось избежать тяжести «калашикова», теряли всякое желание пускаться с «узом» на плече в нескончаемую схватку с палестинскими террористами где-то в тени апельсиновых рощ. Лучших сыновей и дочерей разных народов объединяло убеждение, что они занимаются чем-то очень опасным, за что можно получить срок, а общим у всех были анекдоты и политические сплетни, которые непрерывно просачивались через все этажи трухлявого общества и рассказывались на одном языке, который одновременно был и смазкой всей гигантской государственной машины, и ее выхлопным газом.

После отпущения на волю в восемьдесят пятом году наступили растерянность и уныние. Анекдоты, анекдоты, казавшиеся бессмертными, даже на Кольме неистребимыми, на время исчезли. Люди теперь читали официально разрешенные цензурой журналы, в первой растерянности жадно лизали эту железную ложку, позабыв, что получают строго дозированную порцию истины, ведь лекарства, как-никак, в больших дозах вызывают шок, способствуют болезненному пристрастию, делают поведение агрессивным и, что еще хуже, могут полностью исцелить. Из мрака предыдущих десятилетий были выкопаны политические трупы и брошены вороном ненависти. Для общего преклонения тоже быстро нашлись новые мученики и жертвы.

В громадном театре истории с невиданной быстротой менялись декорации и персонажи, не было недостатка в звуковых и световых эффектах, суфлерская будка пряталась от глаз, и человек, казалось, забыл свою главную, заученную на протяжении всей жизни заповедь: «Не верь!» «Глушилки» в эфире тоже были приостановлены, водочные реки перегорожены, и повсюду раздавались призывы шагать навстречу новым горизонтам и слова об энергии, которая должна крутить турбины конкретных дел. И многие выпущенные на свободу стали на самом деле думать, что глоток свободного воздуха — заслуга их негибимости, что он завоеван чуть ли не в кровавых баррикадных боях, престарелый анекдот превратился в действительность и генерального секретаря будит залп «Авроры»: легендарный крейсер вошел в Москва-реку продолжать революцию. А похороны Брежнева были веселыми. Дымился ящик с углем в дачном саду, между побитыми заморозками стеблями георгин выстроились поллитровки, на террасе стоял включенный портативный телевизор. Процессия медленно плыла по улицам под звуки Шопена, а кусочки маринованного мяса нанизывались на блестящие шампуры. Лимоны были привезены из Средней Азии, баранина куплена на рынке. Участники садового праздника кутались в полушубки, а страх позабыли в городе. Здесь, в сельской тиши, можно было со смехом хоронить прошлое, проститься с человеком, чьи труды они изучали в вузах, заслуги рассматривали как неотъемлемую составную часть своей жизни и сейчас, ей-богу, немножко чувствовали себя сиротами, было так странно — дальше, и без него, этой словесной и неизменной приправы. Когда по всей стране завывли официальные траурные sireны, Аркадий выстрелил шампанским и наполнил бокалы. Так залп орудий слился с хлопком пробки, песок сыпался на крышку гроба, и пена лилась через край бокалов.

Тем временем только что вошедший пассажир постелил и завалился набок. Не снимая носков, мужичонка повернулся к стенке и вскоре захрапел. От него несло луком, Арнольд обрадовался, что народный дух перебьет в купе выдыхаемые им спиртные пары и с чистой совестью отвинтит фляжку. Уровень коньяка в посудине заметно упал. А поезд уже катился сквозь ночь. И вместо сна по-прежнему тупость, в висках звенит пульс, идиотские видения в глазах, достаточно сомкнуть веки, чтобы...

... достаточно сомкнуть веки, чтобы увидеть мрачную, пыльную комнату, где в кровати лежала женщина, очень старая и очень толстая. Рядом прислонил свои костыли ее полупарализованный муж. Лысый, тощий дядечка, голова его с отвисшими ушами держалась на тонкой, как у медянки, шее.

— Почему Янис сам не пришел? — допытывался хозяин.

— Ему дежурство поменяли, — сказал Арнольд, — Янис тут рядом через два дома живу, Янис попросил сделать укол.

— Вы тоже доктор?

— Был, — ответил Арнольд и, накачав обернутую вокруг руки манжетку аппарата для измерения кровяного давления, взял шприц. Вена была плохая, все же ему удалось попасть с первого раза, — Ну, вот, чик и готово! Янис — ваш племянник?

— Внук сестры.

Арнольд собрал инструменты, использованную вату и пустые ампулы. Клеенка на столе была заляпана пятнами пищи.

— Вы вместе работаете?

— Работали.

— А теперь?

— Теперь, фатер, я жду визу на выезд.

— Но ты ведь латыш.

— Есть такой грех. Иногда, правда, латышам удается выехать за жидовский счет.

— Я тоже жду. Места в богадельне.

— Ясно, — произнес Арнольд, хотя, на самом деле, ему ничего не было ясно. Он действительно совершенно случайно очутился в этой комнате, в конце концов, племянник Янис был среди тех немногих коллег, кто, завидя его,

не перебежал на другую сторону улицы и не прятал глаза в витрины магазинов.

Хозяин тем временем глядел в серое лицо жены. Она лежала тихо, словно в послеобеденном сне. Мужичок доскакала на костылях до засиженного мухами окна и спросил:

— Выживет ли, доктор?

Арнольд повел плечами, ему не хотелось говорить о сердечной недостаточности, атеросклерозе, возрастной норме и полиартрите.

— Могла бы и умереть, — сказал хозяин, глядя на брандмауэр за окном, — Я только ради нее живу. Без меня старухе будет еще хуже.

— Давно вы . . .

— Десять лет, как . . .

Ужас, Арнольд вздрогнул, представив себе вероятность, что может самому придется дрожащими ручонками хвататься за костыли. У дяденьки тело давно стало лишь оболочкой собственного слабоумия, и беда, что сердце, этот *perpetuum mobile*, чертовски выносливо, неустанно гонит оно поток поостывшей крови к обывственному мозгу старика и поддерживает слабую видимость жизни. Ради приличия следовало задержаться на несколько минут, и Арнольд рассматривал комнату, настоящим украшением которой была огромная печь из майолики. В центре ее стройная девушка еще со времени югендстиля держала амфору. А в мебели из карельской березы уже давно пиршествовали многие поколения жучков-точильщиков, совсем глумливо скрипел под ногами паркет. Дяденька включил телевизор. Аппарат, настоящий ветеран техники, медленно нагревался, пока не показал на экране двух мужчин с важными лицами. Они рассуждали о воле трудового народа Латвии, победе социализма, лживых радиоголосах, националистах и отпоре. В конце в нечетком кадре мелькнули силуэт «Мильды», орущая толпа и потные милиционеры.

Арнольд заметил, что хозяин смотрит в телевизор с ослабленным вниманием. По его беззубому, впавшему рту скользяла гримаса ненависти. Товарищи говорили с экрана об интернациональном воспитании, а хозяин, как бы в ответ:

— Сопляки!

— Предают идеалы отцов и дедов, — для этого замечания Арнольд не пожалел желчи.

— Ты что, думаешь, я — красный? — прошепелявил хозяин и стал дергать обороты пижамной куртки.

— Не знаю, — сказал Арнольд, хотя ему и показалось, что дяденька — истый партиец, который боролся и боролся, а к концу жизни до него вдруг дошло, что за все получаешь лишь одну черную неблагодарность и разбрасывание листовок да митингование в молодости еще не обеспечивают любовь и все удобства перед смертью.

— Будь я им, то сейчас бы за мной три хорошеньких сестрички с горшком бегали . . . Эта квартира, сынок, была моей. Теперь одна комната и две конфорки газовой плиты на кухне . . . В сорок четвертом ввалились сюда эти, в ватниках. Освободители! Ихний мальчишка еще вырывал цветные картинки из моих книг и смотрел, как ветер гоняет бумажные самолетчики по улице Альберта . . . Сосисок за всю свою жизнь не видели, тепер в бриллиантах.

— А мальчишка?

— Вроде бы военное училище закончил. Офицер.

— А почему сопляки? . . . Ведь говорят, эти крикуны выгодны тем, кто мечтает об утраченных домах и национализированных фабриках.

— Сопляки! — упрямо повторил хозяин, — Я с шестнадцатого года в окопах. Потом офицер латвийской армии . . . А нас, как баранов, слышишь, как баранов, в сорочковом . . . Одних к стенке, других по этапу . . . Президенты думали, что играют в политику, лавочникам казалось, что при красных крендели в рот посыпятся. Бумагомаратели же вообще любых правителей прославляли . . . А мы, как бараны . . .

— По-вашему, надо было упираться? Стволы против Красной Армии? . . .

— Маннергейм сопротивлялся, не менее полмиллиона

русских перебили финны в своих лесах. А мы, как бараны. Маршировали на парадах, а даже выстрелить не пришлось. Умер бы с честью, и эти, в ящике, не болтали бы о революции социалистов.

— После драки кулаками не машут. Этому нас народсосед научил.

— Верно. Собрались сопляки у памятника и вопят. Это — божья кара . . .

— Божья кара? — Арнольд переспросил и вспомнил психиатрическую больницу, где такие же старички в грязных пижамах слонялись по коридорам, гадили в постели или наигрывали одним пальцем на пианино мелодию «Куда спешишь ты, петушок . . .»

— Ты думаешь, наши судьбы решились в тот момент, когда Риббентроп и Молотов макнули перья в чернильницы? Смешно. Это случилось июльским утром, когда Ленин в Кремле уже паковал чемоданы, а в город вошли латышские полки. Выбили Москву, только говно по воздуху летело . . . Красных в кулак зажали . . . Верная гвардия. Есть правда на земле, наверное. Есть за что нас проклинать. Уберегли революцию, ох, как уберегли . . .

— Да.

— В лагере у меня был один по-настоящему радостный момент. Встретил одного красного командира. Из латышей. У него была немецкая фамилия. Когда началась война, его быстренько ликвидировали. Судили как фашистского диверсанта. А ведь до последнего верил своему Сталину, на фронт просился . . .

— Усатый многих латышей перебил.

— Кое-кто все же выжил. Теперь громко плачутся, что всегда верили в великое дело, правду и идеалы . . .

— Наверно.

— Ха! Никак не могут смириться, что Сталин не доверял им, спасителям! . . . Отняли оружие, засунули за колючую проволоку. А тепер оказывается, что страдальцы и жертвы — хорошие и невиноватые. Когда пауки в банке пожирают пауков, погибшие все же, как были, так и остаются пауками.

— Деникин латышей в плен не брал.

— Да, стрелков и матросов. Честно заслужили. Прошлись по всей России с окровавленными штыками. Протоколы чека можно было по-латышски писать, один только Дзержинский не понимал этого языка. Кому только не перерезали глотку. И казакам тоже, сотни Пятого года не забылись. Нас тоже помнят, вспоминают героев. Латыши — палачи русского народа.

— Звучит гордо.

— Для латышей нет большей радости, чем идти друг на друга в штыковую атаку и потом хвастать победой. Целое столетие идем и удивляемся, что песенка спета, в одни ямы ложимся. Верные и неверные. Красные и белые. В конце концов мальчишки, у кого молоко на губах не обсохло, вопят у памятника Свободе, а другие мальчишки сажают их в «воронки» и бьют по морде.

— Каждому поколению хочется своей революции.

— Кровь ничего больше не даст. Разве что сапоги вымыть . . . Брожу по вонунгу и иногда кажется, что все было бредом. Ресторан «Веселый комар», журнал «Атпута» и картинки «Армия Латвии на больших осенних маневрах». Полковник Земитанс на белом коне въезжает в освобожденную Ригу, и его офицеры, которых мертвыми выгружают из эшелонов на промежуточных станциях. Остались они лежать, как бревна, а детвора пальцами показывала, вон, убитые фашисты . . . Ты в Америку едешь?

— Не знаю, как выйдет . . .

— Поезжай в Австралию. У меня там брат. Младший. Строительный подрядчик. Аугуст всегда сухим из воды выходил. У них зимой плюс восемнадцать градусов. А у нас месяцами нет горячей воды. Так и живем. Все проиграли.

— Мне надо идти, — сказал Арнольд. На трезвую голову он никак не мог вообразить этого инвалида в мундире, вальсирующим в ресторан кемерского курорта или корректирующим пудеметный огонь по бегущим большевистским частям.

— Ну, спасибо, доктор!

В коридоре два паренька играли в хоккей. На Арнольда они смотрели, открыв рты, и глупо смеялись. Из уборной вышел мужчина в сатиновых трусах и грубо обругал сынишек. Он был в подпитии, в татуировках. Вдоль стен выстроились лыжи, железные корыта, шезлонги, стремянки, новусный стол, детские колясочки и другое барахло. Потолок черный, пол вытопан до лохматых щепок. Как свидетельство послевоенных забот или иллюстрация к классической формуле коммунизма за дверью крутились шесть электросчетчиков. Хозяин, ловко маневрируя среди хлама, ковылял сзади и говорил, что вряд ли доживет до той поры, когда в результате внутренних распрей этой монголо-татарской орды освободится его комната. Еще инвалид добавлял, что он, Арнольд, пока молод и не понимает, что означает, чувствовать себя...

... чувствовать себя последним из последних. Именно это и ждет меня, подумал Арнольд. Через неполных сорок восемь часов. Этому государству он оставляет не пожитки или арифметически исчисляемые годы жизни, здесь остается его биография. На другой стороне он будет ноль, пустое место, беженец с Востока. Диплом врача? Ну и что? Чего не купишь за деньги. Ах, опыт, умение, способности?.. Слова, пустые слова. Каждый вороватый эмигрант из России объявляет себя огромным талантом, непонятым и неочтенным в своей стране, жертвой коммунистической тирании. Красивые визитные карточки? Коллеги из США и Западной Европы?.. Нетрудно дать клочок бумаги и крохи обещаний. Визитка — не чек с покрытием в твердой валюте, который безоговорочно оплачивают в банке. Еще Арнольд думал об абсурдности ситуации. Ему надоело слушать о фашистах и гансах, от которых надо очистить красавицу Ригу. Зажили полученные в драках ссадины, мальчишки с развевающимися пионерскими галстуками бились тогда с русскими. Починен забор, колья которого мелькали в воздухе во время безжалостного побоища после школьной танцульки. С годами пришло понимание, что самодельные дубинки не помогут, командные пункты в их руках, еще хуже, отведены местным прислужникам, этим тихим, работающим латышам, умевшим и списки составить, и единодушно проголосовать, и запродать все, что от них не потребуют. А теперь через несколько дней на него будут смотреть, как на русского, вздумавшего просочиться на Запад. Еще немного, и найдутся джентльмены, жаждущие прицепить ему красный яркий, подозревающие, что этот эмигрант является агентом КГБ, которому приказано раздобыть для своих московских хозяев чертежи стратегического бомбардировщика, обучать террористов или делать революции. Каких только волчьих ям нет впереди!.. Как у бедного диабетика Яши, который годами обивал пороги ОБВИРа, терпел унижения от чиновника, искал каналы, чтобы дать взятку этой сволочи, и, учитывая национальность начальника, начал поносить хохлов шестиэтажным высокой русской закваски. Каково же было изумление знакомых, когда пришло первое письмо из вечного города Рима, в котором бывший деятель кооперативной торговли Яков Флейшман письменно плакался, что в канадском посольстве его делом занимается «один воюющий хохол» с усам запорожца и вышитой рубашке под пиджаком. Он смотрит на каждого просителя визы, как черт на жабу, и тепло рекомендует покупать билеты до Тель-Авива. Настоящий бендеровец, пожаловался еще Яша в постскрипуме, позабыв, что своего «доброжелателя» в Москве он обзывал сталинистом и антисемитом. По рассказам, Флейшман сумел открыть едальню в маленьком городке Британской Колумбии, бодро торговал там русскими варениками, неплохо жил в купленном в кредит домике, подписывался на «Литературную газету», как истинный канадец обожал Уэйна Гретцки и делал регулярные пожертвования в фонд помощи Израилю.

Арнольду тоже пришлось немало походить по улице Анри Барбюса в Риге, известной несколькими, не упоминаемыми в туристических путеводителях достопримечательностями — вендиспансером, фабрикой шампанских вин, авто-

инспекцией и отделом виз. Оформление документов он планировал изощренно и тщательно, словно предвыборную кампанию президента. Было учтено международное положение, ведь государство хотело улучшить отношения с Америкой и ради этой цели могло выдать дяде Сэму несколько тысяч легковых, уши которых услышали сладкие голоса пропагандистских сирен. Уезжающих можно обобрать до нитки, радоваться захваченным драгоценным металлам, проглотив горечь того, что серое вещество мозга многих эмигрантов вскоре даст импульсы неугомонному аппарату бизнеса и науки. Вдобавок в теплой атмосфере оттепели начали распускаться бутонами местные защитники латышского духа, от них лучше избавиться, болтуны и борцы в народном стиле пусть лучше читают лекции о «свободе и независимости» разным «Соколам Даугавы», чем устраивают митинги в парках и на кладбищах Риги. Существенным, несомненно, был и экономический рычаг, этот гибрид троянского коня и золотого теленка, пасущийся на лугах дефицита и алчности. Одним из наиболее сильных своих козырей Арнольд считал квартиру. Три изолированных комнаты в центре города, в тихом месте, в районе парков. Лакомый кусочек для высокопоставленного функционера, которому надоело прелести блочного дома да зятя и невестки в санузле. И, наконец, разветвленная сеть личных знакомств, которая могла доставить импульсы его нужд далеко, далеко, до неизвестных Арнольду коридоров власти, в которых простой росчерк пера поднимает полосатые пограничные шлагбаумы. А практически делом Арнольда занимался мелкий клерк, совсем зеленый парень, с родинкой величиной с копейку на щеке и модным галстуком под подбородком. Когда Софья смотрела ему в глаза, он стыдливо краснел и перекладывал бумагу с одного угла стола на другой. Он старался разговаривать очень вежливо и, как ему казалось, под прикрытием натянутых фраз недвусмысленно выражал свое презрение. Скорее всего, стиль определило воспитание в семье, вес и связи которой позволили ему усесться в теплое служебное кресло, а дальше развило общение с девицами из интербригады, которым не только удавалось залезть в постель скандинавских туристов и арабских студентов, но и почастливилось довести профессиональную «love story» до законного брака, когда в силу вступают законы цивилизации и дух Хельсинки, семья объединяется и на краю горизонта зажигает неоновые рекламы огромный, бесконечно прекрасный и богатый мир. Так что беседовали они изысканно, как дипломаты, между прочим клерк поинтересовался, разве здесь жилось плохо, есть ли смысл на рожон лезть. Хорошо жилось, ответил Арнольд, только правительство запрещает мне делать аборт по методу хиллеров. Они шутили по-дружески, за открытым окном желтел каштан, школьники несли домой ранцы, и в кабинете были слышны их громкие голоса. Кажется, в тот день, именно в тот день, Арнольд понял механизм этого отношения, сообразил, из каких кратеров хлещет ненависть, делающая злыми глаза и ядовитыми улыбки. Формула была совсем простой, как все формулы выражалась простым уравнением, к которому ведет дорога заблуждений. Даже этого мальчишку с копейкой на щеке гложет зависть. Его зад еще хранит отпечаток университетской скамьи, а он уже завидует Арнольду. Не за то, что у него было и что ему принадлежало. Из своих папочек чиновничек знал биографию Арнольда лучше его самого. Знал доходы, причуды, привычки, возможности. Был информирован, что еще год назад Арнольда приглашали консультировать в спецбольницу, где по чистым и сверкающим коридорам бродят заслуженные товарищи в таларах, кормят их, как на убой, только хорошая пища не вылечивает «господские болезни», так что приходится терпеть, носить «анки» на шее и тешить себя разговорами о курсах лекарств или о Горбачеве. Они были сердцем и душой за социализм, но, заболев, сами больные не удовлетворялись куриным заливным на завтрак и апельсином на полдник, они хотели доктора, не своего, — человека с биографией, — а именно доктора, избавляющего от страданий и разламывающего занесенную над их

ценными головами кошу. От Арнольда требовалось лишь ничтожное усилие, — протянуть руку и цап! — у него было бы все. Научная карьера? Пожалуйста, изучай, ищи, развивай! Стажировка за рубежом? . . . Устроим, нам надо перенять у Запада все самое лучшее. Договор на три года в третий мир? . . . А почему бы и нет, будешь вырезать у негров нарывы, потекут гной и валюта! Вместо этого Арнольд выбрал нечто иное. Ушел из этого государства голым и бедным. С одной сигаретой в зубах. Многие не понимали этого, многие завидовали. С ненавистью вслед ему смотрели товарищи, навечно прикованные к государственной машине, как в старину гребцы к скамейке галер. Завидовали несчастные, уловившие нервными окончаниями, что унаследовали или инфицировались самым опасным вирусом, разрушительным микроорганизмом, в геометрической прогрессии размножающимся в мозгу и убивающим желание трудиться. Эта похожая на спирохету зараза вместе с дыханием и звуком произнесенных слов распространялась на собраниях и в трамваях. Ею заражались, пересчитывая засаленные купюры, как эстафету передавали в спальнях, президиумах и тюрьмах. На веки вечные выгравировали в генетическом коде, чтобы в родильных домах народ получал очередную поросль больных. Человек, которого не обучали и не приучали к труду, совсем забыл это делать или был вынужден забыть. Извращение стало мучительным и перешло в крайность, на здоровых стали смотреть, как на больных. Государство медленно превращалось в настоящую лепрозорию, большинство обитателей которого осознает, что для них выбраться на другую сторону означает повесить на шею колокольчик, чтобы чувствовать, как встречающиеся в страхе и отвращении отводят глаза. Сознание этого сплачивает крепче, чем совместное преступление. Прятались лица, скандировались слова о душевной красоте, и устраивались дезинфекции во дворцах съездов. Но эпидемия косила и больших, и малых, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Правда, национальные родинки сохранились. Русские нищету и бестолковость списывали обычно на счет широкой души: мужик во время выпивки тащит на стол последний огурец, потом поднатужится и с криками урра выигрывает войну или завершает работу и варит вкусный суп из топорища. Они могли себе позволить эту щедрость, как-никак за спиной и за Уралом бесконечные дали с золотом всех цветов, вдобавок вечное оправдание «Лишь бы войны не было . . .» А старательные, работающие латыши продолжали посмеиваться над ленивыми мужиками на печке и деревенской грязью, забывая при этом, что их собственное трудолюбие встречается разве что в томах дайн. В народных песнях недостатка не было, по две на каждого оприходованного латыша. Это было время космических скоростей, и за какие-то несколько десятков лет разбазаривался капитал, ценности, которые не смогли погубить за целые века, или развеять по ветру ни меченосцы, ни бароны, ни поляки, ни шведы, ни Романовы, вместе взятые, эти угнетатели, в тени чьих знамен менялись исторические периоды и общественные строи. Подрубленное под корень дерево кланяется всем ветрам. И девицы, как липы, и парни, как дубки. Разъеденный болезнью позвоночник у латышей стал гибче, чем когда бы то ни было, утопающие хватались друг за друга и общими усилиями затаскивали на дно умеющих плавать. Наиболее разумные опустили руки и говорили, что рабский труд никогда не будет производительным. Нечистоплотные обращались друг к другу на улице на языке, на котором наловчились неплохо писать жалобы «в Москву», а более наивные уже который год пели за столом о прекрасной Стабурадзе, посылали детей в кружки танцев и трудовые лагеря, читали книжечки, предполагая, что авторы настолько гениальны, что выведут соотечественников из пустыни заблуждений. В далекой столице, где раньше ночи напролет в одном окне горела лампочка, извещая, что есть один светлый ум, думающий о народе, теперь было объявлено время смелых. Только ни по устному приказу, ни по указанию смелыми не становятся. Даже на войне, в боях, смелость и героизм преумножают трибу-

налы. Так что все вдруг стали шибко смелыми и, как курты, по сигналу бросились гнать выпущенного на арену зайчишку правды. Но тайна жизни не теряла своего очарования, и, приумноженная агонией, сила самосохранения иногда принудила мгновения обманчивого прозрения, когда кажется, что кризис преодолен, жизнь только начинается, нужно лишь выйти на улицы и сказать это. И шли, и говорили. Звучали лихорадочные призывы найти и наказать виновных. Этим сатрапов, доносчиков, истязателей. Воздух содрогался от призывов, потому что нет ничего проще, как списать все горе и несчастье на счет черных дел нуд и кангарсов. Теперь следовало возлагать цветочки на могилы и просить пересмотреть законы. Было грустно от того, что, как бы искренни иногда ни были чувства и побуждения, эта возня все же напоминала гул толпы, когда растерянные людишки пытаются оживить вытасенного из воды утопленника. Человеческий мозг питается кислородом, сознание народа поддерживает воздух свободы. Человеку без дыхания дано пять минут, в течение которых еще можно выйти из клинической смерти, об общем времени спасения борющиеся не думали. Их голоса были одинаково громки. Цели разные. И благородные. И исчисляемые в рублях и долларах. Опять две мощных руки — с востока и с запада — выстраивали по обеим сторонам Даугавы верных оловянных солдатиков, опять режиссировали борьбу, опять обещали и завлекали, чтобы в случае удачи доказать привлекательность и жизнеспособность своей системы, а у солдат короткая память, ох, как быстро забывается, что у Братском кладбище рядом закопаны стрелки, белые стрелки, красные стрелки. Кавалеры орденов «Лачплеси-са», «Железного креста» и «Боевого Красного Знамени», а также многие другие, кому просто захотелось лежать на необычайно красивом кладбище, у ног Матери-Латвии. Те, кто помнили, ясно понимали, что в политике следует продаваться до конца. Чем быстрее, тем лучше. Другой возможности нет, к тому же профессиональные вояки и идейной борьбе лучше обучены, и дольше выживают, многие даже до интервью и написания мемуаров в старости. Все остальные образуют неизбежную и само собой разумеющуюся порцию лушечного мяса на трапезе истории. И появляются циники, в понимании которых начало всего на этот раз не какое-то возрождение, ренессанс или воскрешение. Просто шестая часть суши была заражена, сотни миллионов дергались в конвульсиях болезни, отчаянно стараясь встать на ноги и доказать себе и другим, что сила и духовный потенциал огромного государства отнюдь не целиком засыпаны в корпуса атомных бомб.

В коридоре галдели люди. Кулаком стучали в дверь купе, и громкий голос требовал «немедленно открыть». Арнольд продолжал неподвижно лежать. Он думал, что, возможно, кричат вооруженные охранники, сейчас конвой взломает дверь, ему наденут наручники и изменят маршрут поездки на сто восемьдесят градусов. Сосед по купе, что-то бормоча, слез с полки. Открылись двери. В коридоре стояла проводница и несколько мужчин. Арнольд сквозь ресницы всматривался во взволнованные лица.

— Врача нету? — командирским голосом спросил у мужичка в голубых кальсонах прапорщик Советской Армии.

— Чего надо?

— Женщина рожает.

— Я слесарь-наладчик, — ответил пахнущий луком пассажир.

— А другие? — допытывался армеец, в голосе его была тревога, как и положено будущему отцу.

— Закрой двери, тут врачей нет! — крикнул Арнольд с высоты спальной полки.

— Кошмар! — шептала соседка куда-то в темноту.

Двери закрылись, мужичок нащупывал ручки, чтобы забраться на свое место под одеяло, а Софья сонным, утомленным таблеткой голосом стала расспрашивать, что тут среди ночи происходит.

— Искали врача. Одна бабенка рожать вздумала, — свесившись с полки, ответил Арнольд. — Спи спокойно, до утра еще далеко! . . .

— Ладно, — сказала Софья.

Поезд катился на Запад. Соседка сморкалась, сосед равномерно храпел, а Арнольд все пытался обмануть сон. Напрасно. Он представлял себе переполох в соседнем вагоне. Стонущая роженица. Муж поддерживает голову жены. Проводница несет полотенца. У дверей купе толпятся сочувствующие и любопытные. У женщин серые невыразительные лица, волосы накручены на бигуди...

... волосы накручены на бигуди, на плечах застиранные больничные халаты. У некоторых в ушах бриллианты, на ногтях облупившийся лак, кое-кто читает или вяжет. По голки в палатах высокие, как в кафедральном соборе, стены навечно пропитались больничными запахами, по длинному, длинному коридору две санитарки толкали тележку с кастрюлей и, медленно орудуя поварешкой, разливали по тарелкам жиденькие щи. А доцент был занят, персонал в тот день за коробкой пирожных, кофе и спиритиком отмечал Инары. Приоткрыв двери ординаторской, Арнольд заметил, что цветов на именины нанесли много, на столе выстроились вазы, а в углу полное ведро цветов. Значит, заведующая отделением или старшая сестра Инара, констатировал Арнольд и, чтобы убить время, вышел на лестницу покурить. Старые стертые ступени с названием фирмы «Karl Nevegtan in b-gi», помойное ведро и помеченные губной помадой окурки сигарет. Он вытащил из кармана рубашки мятую пачку «Примы» и жадно затянулся едким дымом. На пол-этажа ниже торчала тройка женщин. Больные курили и трепались о мужиках. Невольно Арнольд подслушал разговор о замужествах знаменитых актрис и их любовниках.

— Везет же некоторым... — звучал угрюмый голос, — А мне дома мужик... Конец любви, мешочек полный воспоминаний.

— И не говори, — согласилась латышка, — Придет домой в два часа ночи, залезет на меня, подрыгается, и все!

— А мой Саша даже в больницу ходит. Бессовестный. Говорит, пошли в подвал, хочется, пошли, а то найду другую бабу, — этот голос звучал совсем по-детски, как у школьницы.

— И ты даешь?

— О семье думать надо, детям нужен отец...

Уголек сигареты уже жег пальцы, и Арнольд выбросил окурочек в урну. Двери он открывал тихонько, потому что подслушивать нехорошо, в свою очередь, сотрудники больницы, когда идут по подвалу, стараются громко стучать по каменному полу, мало приятного заставить врасплох на куче грязных простыней взлохмаченную парочку.

Доцент Крастс сидел на кушетке в кабинете и, сняв туфлю, завязывал порванный шнурок с таким серьезным видом, словно у стола зашивал рану кетгутром. Вглядываясь в этого доктора в дешевом костюмчике и неглаженном халате, черты лица которого соответствовали упрощенным представлениям об облике тракториста удаленного колхоза, Арнольд не переставал удивляться катастрофическому несоответствию формы и содержания. Из-за этих крестьянских рук пациентки сходили с ума, были готовы ждать, платить и договариваться. Работы у Крастса хватало. У скольких женщин жизнь тянулась от необходимости тихо и быстро сделать в молодости аборт, с последующим лечением воспалений и других болячек, желанием вылечить бездетность к завершающему страху заболеть злокачественной опухолью в период климакса. Так что хороший и ловкий специалист многое может выловить из гинекологического кресла. Начиная хрустальными горшками и кончая возможностями протекции, открываемыми положением мужей больных.

— Здравствуйте, доцент!

— Здравствуй! — проворчал Крастс, обувая туфлю со стоптанным каблучком. У Арнольда глаз был натренирован и он убедился, что, поздравляя коллегу, доцент успел подзаправиться.

— За мной должок числится.

— Ага...

— Я хотел бы...

— А у вас не было желания почаще бывать на занятиях?

— Было.

— Гинекологию, коллега, нельзя усвоить, бадуясь в постели с девчонкой. В этой больнице я редко вас видел.

— Этой ночью был... Привезли одну... Внематочная беременность.

— На «скорой» ездите?

— Третий год.

— Известное дело. Возят ампулки в чемоданчике, пока сами не начнут колотиться. И готово!

— Довелось видеть.

— Тогда уж лучше водочку. В меру.

— А у меня всего-навсего мерка, — сказал Арнольд, расстегивая молнию сумки и ставя на стол завернутую в бумагу бутылку коньяка.

— Ага, — произнес доцент, изучая посудину, — ереванский разлив, завод номер один, этот на экспорт идет, надо же, русские лицензию купить не могут, этот вот напиток обозвали «Brandy Ararat».

— За русских товарищей я не в ответе.

— Не скажи, мы за них уже который год дерьмо хлебаем... — тут Крастс запер кабинет. — Ты, наверное, без закуски не пьешь?

— Я привык экономить на бутербродах с икрой.

— Правильно. Хорошо поесть, но пить без закусона. Помру, так сходи на секцию, увидишь, печенка у меня свеженькая, как у пионера, — и доцент разлил коньяк по рюмочкам. — Попробуем, что ты притащил!..

Они выпили, закурить не успели, потому что пронзительно зазвонил телефон, и Крастс долго и терпеливо успокаивал какую-то взволнованную частную пациентку. Наконец трубка легла на место.

— И так всегда. Даже рюмку поднять не дадут. Помню, был в твоём возрасте, только что диплом получил, направление в Курземе. Тогда на всех парах колхозы создавали. Осенью — государственный праздник в волостном правлении, все как следует. На стенке портрет Сталина, детишки в почетном карауле, лозунг повешен. В торжественной части партторг прочел доклад, как положено, а весной его вместе с кулаками в Сибирь... Так вот, официальная часть кончилась, скамейки — по сторонам, сейчас танцы начнутся. Думал, водки и девиц достаточно, повеселюсь... Черта с два! Подходит уполномоченный, отзывает в сторонку, так, мол, и так, товарищ Крастс, классовая борьба, вооруженный противник по лесам прячется, может попытаться испортить народу праздник, так что, чтобы быть трезвым, медицинская помощь доверена вам... Плюнул и потащился домой, помню, гололед был, спотыкался в потемках об рытвины и думал, что мало радости получить на трезвую голову свинец в затылок...

— В затылок еще полбеда, а вот в живот...

— Ладно, где зачетная книжка? — Крастс опять стал официальным и строгим. — Зачет — это не экзамен...

Запись доцент сделал дешевой шариковой ручкой, а закрывай обложку, он еще добавил:

— Докатались, скоро лекарей будем заочно готовить. У нас в больнице одна девица работает, за аборт пятьдесят рублей требует, как профессор, легкой рукой проколола матку, а меня чуть ли не под суд. Девка старательная, все время повышенную стипендию получала, по комитетам комсомола ошивалась. Вот будут чудеса, когда эти старательные начнут врачевать друг друга...

Обед кончился, и санитарка собирала на тележку грязную посуду. Близился тихий час, по коридору бродили редкие больные, лица у них были пустые и невыразительные, казенная одежда тусклая, а косметика яркая. Арнольд щеками чувствовал липкие взгляды, и ему казалось, что он совершил что-то непристойное или извращенное, например залез в уборную с курочкой на дверях. Эта мысль торопила и гнала в сторону двери. Выбравшись на улицу, Арнольд рассуждал, что более мерзко на душе может быть только в женской тюрьме, где полно лесбиянок и правонарушительницы попроворнее спешат занять ребенка от первого попавшегося охранника. В соседнем пар-

ке рядом с бюстом Кирова сидели на скамейках шахматисты, зарабатывавшие деньги и развлечения, а на цветочном базаре цены были высокими, королевы цветов охапками в металлической посуде ожидали поклонников, только продавщицы не обращали на него никакого внимания. Арнольд шел вдоль столов, смотря на сверкающие капли воды на бутонах, и думал, что, ей-богу, придет день...

... придет день, когда ему цветы будут носить охапками и волей-неволей придется стать знатоком сортов роз. Опять можно будет сказать сестричке, возьмите цветочки, иначе погибнут, и сестра будет тщательно укутывать розы в газеты, чтобы отнести домой или, не тратя денег, преподнести мамочке сюрприз по случаю юбилея. Хотя возможно, что там такой поступок — плохой стиль, недостойное поведение, которое, как пиявки, присасывается к имени и в умах людей высасывает его весомость и значимость. Мертвые розы, прелестные *Sany* или «*Sherry Brandy*», и хризантемы, огромные и роскошные, словно из Японии, хрупки, цвета глины герберы и укрепленные в теплице или в магазине гвоздики словно созданы для правительственных похорон. Но Америка, наверно, малость свихнулась, любой выкормыш комфорта и сервиса сидит в собственном частном доме, стришет газон и громоздит на лоджии ящики изысканных пластмассовых цветов, чтобы каждое утро назло соседям орошать синтетическую оранжерею из кокетливой леечки. Вполне может быть, что лекарь тоже получает кучу обманных цветов и настоящие доллары впридачу. Без чего-нибудь настоящего не обойтись. Даже у киноактеров из гангстерских фильмов теплая кровь. Подстреленный маньяком, улыбающийся Рональд Рейган, натренированные, обливающиеся кровью телохранители, только что прикрывшие президента своими телами, истерика толпы, зоркий глаз телевидения, открытые в ожидании двери операционного зала и бригада хирургов, за которыми затаив дыхание следит чуть ли не вся страна, от одного берега до другого. Как всегда, нужна чужая беда, переступив через которую, сам сделаешь шаг вверх. Страшная беда означает лишь более крутой подъем, горе и слезы тут лишь добавка, мучительное напоминание, цепляющееся за нервы, еще и еще раз напоминая об ответственности, о потере равновесия, которое с собой несет любой шаг. Палач ждет отклонения просьбы о помиловании, мясник осенью точит большие ножи, а без болезни нет врача. Как похожи и взаимозаменяемы эти профессии, когда начинаются игры с неповторимостью жизни. Причуда гуманизма заставляет маньяков, патологически рафинированных убийц гнить всю оставшуюся жизнь в заключении, потому что электрический стул отключен от высоковольтного кабеля и гильотина перекована на орала. Искусственно поддерживать процесс обмена веществ в изуродованных телах, когда в мозгу страждущего осталось меньше сознания, чем в нервных окончаниях членистоногих, тоже преступно. В советской действительности это означает оставить тысячи других без медикаментов и ухода только ради того, чтобы огонек жизни дышащего покойника горел долго и ярко, в конце концов, на показатель летальности не влияют умки и безусловная инвалидность этих пациентов. Но уродство превращается в агонию длиною в годы, когда парализованные или навсегда остолбеневшие создания становятся проклятием здоровых.

А безнадежных раковых больных отправляют домой умирать. И они это делают в своих квартирках, делают так громко, что малолетних детей приходится отводить к родственникам, а взрослые, в поисках лекарств и врачей, навивают инфаркты, умоляя и давая взятки, так толком и не осознав, что ни на шаг не ушли от тех времен, когда их предшественники бродили по холерным баракам царского времени в надежде на милость господню доктора и господу бога. Будучи не в состоянии помочь в случаях, давно ставших элементарными в мировой практике, раздавая своим приближенным превращенное в медикаменты золото, система сохраняла чванство, делала все, чтобы смерть уродцев и больных водянкой головного мозга не портила статистику, хотя единственное место, которое следовало бы им выделить при рождении, — спиртовая банка в Кунсткамере или задворки кладбища. Грех. Гиппократ не был среди классиков марксизма, и, призывая его имя, можно было плевать на простую истину, что не вредить иногда означает позволить умирающему быстро и безболезненно умереть.

Горячий, затхлый воздух купе поступал в дыхательные пути, тяжело оседал в легких, кислород всасывался в кровь, чтобы вместе с усталостью расползтись по телу и оставить уколы острой боли в висках. Может быть, в мозгу опухоль? Злокачественная или доброкачественная, какая разница, если нельзя оперировать, новообразование навечно срослось с жизненно важными центрами. Как у доцента Крастса. Выпилили кусок черепа, посетовали, развели руками и пустили по городу слухи. Красте еще протянул лето, навещал свое отделение, удивляя всех загаром и уродливым шрамом, вылезавшим из-под седых волос. К осени он умер, двое суток лежал в параличе, оставив в потолок остекленевшие глаза, и угас, а все друзья, поминая ушедшего, поднимали рюмки, двигали блюда с жарким, утирали слезы и признавали, что усопший оказался прав, печень у Андрея как у пионера. Это несчастье в интимной жизни латвийских женщин случилось довольно давно, теперь, скорее всего, компьютерный томограф оградил бы Крастса от излишних мучений на столе. Да, чудесная игрушка, превращающая человека в стеклянную пробирку, поднимаемую к свету, и заглядывающая чуть ли не в каждый уголок организма. Революция в медицине, сравнимая разве что только с подарком, сделанным человечеству немцем Вильгельмом Рентгеном, сфотографировавшим в X-лучах ладонь супруги. Теперь косточки этой Гау вместе с контуром обручального кольца навечно обосновались в истории, а имя мужа — в списке нобелевских лауреатов... Арнольд пощупал ноющий лоб. Надо было заплатить сотню, чтобы посмотрели голову на компьютере. Уехать на чужбину подышать — это действительно неприлично! Он на самом деле подумал, что ошибся. Черт с этой мерзко ноющей башкой, дело, конечно, в коньяке и духоте. Но провериться не мешало, ой как не мешало. Трех запломбированных зубов для бессмертия маловато. И Арнольд улыбнулся сиюминутной прихоти — в последний раз отдаться в руки латвийских врачей, их так много, они заполнили...

(Продолжение следует)



КРИСТАПС КАПАРС



РАССКАЗЫ

Улыбка

Опять до семи ещё час. Опять придётся лежать, безуспешно пробуя заснуть. И завидовать спокойному сну жены. Это чувство напомнило ему детство, когда он, лёжа на сеновале, ощущал, как по щелям поднимается вверх густое тепло и по-крестьянски тяжело дышит внизу корова. Вот так бы и ему сейчас хотелось заснуть и дышать... раз... два... три... одиннадцать... двенадцать... Интересно, сколько вдохов в минуту делает Елена! Ну нет, это уж слишком!

Он вытянул руки, резко подтянул ноги и, ловко балансируя на заднице, сел на краю кровати. С силой потёр ладонями лицо. Растопырив колени, чтобы не мешал живот, попытался в темноте нашарить руками шлёпанцы, пока не закружилась голова. А, чёрт с ними!

Сквозь приоткрытую дверь заметил белые ноги жены. Ладно, сама как-нибудь укроется. Шлёпая босиком по прохладному полу, он прошел на кухню своей кооперативной четырёхкомнатной квартиры и сел за стол, глядя в окно на огни ночного города.

Вон он — там, где красная лампочка, чтобы самолёты не врезались. Громадный, замерший в темноте улей полусонных трутней, в подвалах спнут типографские машины, колёса вращаются и печатают, редактор Берзинь, редактор Берзинь, быстрее, выше, лучше, диктует вытянутый за Даугавой палец, прямой и правильный... страх, вечный страх, бронированные двери Главлита, собак бы ещё, свирепых овчарок пустили бы по этим пустым коридорам, стиснутые зубы ответственного секретаря Барги, редактор, я всё же думаю иначе, а затем... пи-пи-пи, даже там, в своём кабинете, он не может быть спокоен, красный телефон, эту трубку нельзя не поднять, товарищ Берзинь, вы опытный номенклатурный работник, и всё же... пляши, Берзинь, исправляйся, Берзинь, мотай на ус, Берзинь, другому как с гуся вода, а он не умеет, одно и то же, неизвестность и страх... покой... какую цену нужно заплатить за покой!

Красный огонёк Дома печати вдруг отдалился, огромное здание стало таять в ночном небе, казалось, через него просвечивают звёзды, как-то непривычно засосало под ложечкой, и чудно трепыхнуло сердце. Осторожно, как маленький мальчик к светлячку, он медленно протянул руку к стеклу, давя большим пальцем красный огонёк.

— Не пойду, пусть они все идут к...! — закричал, махая кулаками перед тёмной рожей окна.

— Харалд, ты что разбушевался! — в дверях кухни, держась правой рукой за косяк, а левой придерживая халат у горла, с взъерошенными волосами и всполошённым взглядом стояла жена.

Выйдя на улицу, он с каким-то мальчишеским удовлетворением подумал, что не ответил ни на один её вопрос и что уже много лет не видел в глазах властной жены редактора такую девчоночью растерянность и беспомощность.

Засунув руки в карманы плаща и время от времени глупо улыбаясь, он медленно шагал по тротуару и, по мужски стягивая живот, вдыхал холодный октябрьский воздух.

Со стороны дровяного склада шел запах смолы, за высоким забором в темноте уже жалобно выла одинокая пила. Редактор поскрёб ногтем доску и поглядел в щель — при свете фонаря работал мужик с плоской чёрной головой. Частенько за завтраком он с невнятной завистью следил через кухонное окно за его смехотворно простыми, но такими самоуверенными движениями. Мужик сделал несколько шагов от штабеля, не торопясь взял бревно, положил его на пилу — жик-жик-жик, потом притащил следующее — жик-жик-жик, потом ещё...

— Эй, приятель, чего ищешь! Дровишек надо!

Харалд Берзинь обернулся. Этого маленького мужичка он тоже знал. Он работал у первой пилы сразу за воротами.

Жик-жик-жик — какой-то рабочий трудился на другом конце склада. В синем небе, вытягивая за собой пушистый хвост, медленно плыл самолёт. Спрятавшись за штабелями брёвен, подальше от глаз начальства, редактор и оба пильщика сидели на чурбачках.

За высоким забором, по ту сторону от этого странного, пропитанного запахами леса оазиса, едва ощущался шум города.

Прищурив глаз, Харалд Берзинь поглядел сквозь стакан на солнце — если оно так высоко, то партийное собрание уже закончилось. Рубиново-красная капелька игриво блеснула в воздухе дугой. Вместо закуски он глубоко втянул носом запах свежих опилок.

— Так что, Янка, говоришь, сотни три можно заколачивать!

— Если вкалывать, то можно.

Бросив лукавый взгляд на маленького мужичка, редактор опустил живот и похлопал по нему, как по баскетбольному мячу.

— Это тебе сгонят, — улыбнулся чернявый Петро. — Большой начальник, толстый начальник...

— Хе-хе...

— Ха-ха-ха...

С этими мужиками было хорошо.

Из-за Даугавы, не мигая на солнце, холодными синими проёмами окон на Харалда Берзиня пристально смотрел Дом печати. Когда Петро наполнил стакан и выпрямился, его профиль южанина заслонил строение и застыл. Голову

Петро окружили чужие волосы, подбородок вытянулся, глаза стали узкими и жалящими — он сидел в фуфайке с головой Великого Вождя, какой её вывешивали на здании по праздникам — усатой и красной.

Пьяными глазами Харалд Берзинь посмотрел вокруг, схватил Петро за грудки и, навалясь на его оторопевшее лицо, сплезливо прошептал:

— Слушай! А думать-то здесь думают!

Дровокол неторопливо взял пухлую руку редактора, сжал, как тисками, вены и рассудительно положил ему на колени.

Прогоняя видение, Харалд Берзинь потёр сдавленную руку.

— Дико умный, видно, слышь, Янка!

Голова Петро вернулась назад и недовольно вертелась над серой фуфайкой. Ах да, завтра ведь праздник, вспомнил Харалд Берзинь и, махнув было рукой, с силой ударил кулаком по колоде, матюгнувшись так профессионально, как это и подобает учёному-филологу.

Лица дровоколов по-детски озарились:

— А ну, повтори-ка!

Харалд Берзинь, улыбаясь, сунул в рот щепку. Его бывшая заместительница Берга вела жену через лужи к редакционной «волге», по-матерински поддерживая её под руку. Сквозь заднее стекло автомобиля смотрело серьёзное личико десятилетнего сына.

Со своей половиной он как-нибудь справится, а мальчишку вырастит таким же улыбающимся, хотя из щепки, которую медленно ворочал язык, в желудок стекала горькая смола.

Докатив до колоды осиновую чурку, он рубанул по ней так основательно, что топор чуть не вылетел из пухлых рук.

— Осину, приятель, коли по краешку, — поучал Петро.

— Ага, — улыбался Харалд Берзинь, мотая на ус.

Улыбка была плотная и жесткая — твёрже, чем кожа на пятке.



Пьяница

Из-за красного занавеса доносился приглушенный шум зрителей. Время от времени кто-нибудь из нас подходил к щёлке, чтобы посмотреть в зал. Раскрасневшиеся, потные лица родителей, цветы и торжественный гул голосов. С ума сойти! Через глаз в тело плеснул страх. А вдруг не получится! Вон там, в пятом ряду, сидят моя мать, дядя и маленькая сестрёнка. В волосах белые банты, в руках розовая гвоздика. Что-то шепчет мамочке на ухо. Ей-то что. Преподнесёт цветок, и всё. А мне... Уже который раз сжимаю кулак и, отвернувшись от занавеса, от возни на сцене, закусив костяшку большого пальца, бормочу:

— К... к... к...

Потом раскрываю ладонь, на которой жирной синей краской написано: «Леон Пазгле. Кто По. И.»

«Кто раз лишь был объят огнём сраженья,

По жизни всей в груди проносит пламя

И огненные говорит слова».

— Поди сюда, Берзинь, — глаза пионервожатой непривычно большие и блестящие. — Помоги зажечь.

На голове у Сандры белая фата, на ней — корона с двенадцатью маленькими свечками.

— На, — пионервожатая сует мне в руку спичечный

коробок, а через мгновение уже поправляет Бергу перекинутую через плечо ленту: «1965 — НОВЫЙ ГОД!».

Сандра стоит неподвижно, боязливо опустив ресницы.

— Не вертись, Красивая Люция, — прошипел я, рука у меня дрожит, и уже вторая спичка погасла.

Столкну ещё ей с головы эту конструкцию. Сандра — Красивая Люция. Молча, с горящими свечками на голове проскользнет от одного края сцены до другого, потом обратно, вот и вся её роль.

— Смотри не грохнись, — подбадриваю я её, когда свечки уже зажжены.

— Хорошо, — Сандра поднимает ресницы.

Да, ничего не скажешь, красивая.

Пионервожатая тихо хлопает в ладоши и шепчет:

— Ребята, сейчас начнём. Ну-ка, все по местам. Берзинь, иди сюда, берись за ящик; Берг, как тебя поставят, сразу же выскакивай из ящика. Люция пойдёт первой... тсс... тише... так. Раз, два, все всё помнят!

На сцене гаснет свет, только голова Сандры светится. Пламя свечей колеблется на сквозняке. По лицу девочки бродят тени. Наверное, не такая уж лёгкая у неё роль. Бормоча «кто раз лишь был объят огнём сраженья», вместе с тремя мальчиками берусь за ящик, куда влез Берг. Занавес уже открывается, когда Берг почему-то пытается поднять крышку.

— Почему ты так сделал!

— Ты не представляешь, как я себя чувствовал в этом ящике, — отвечает он и опрокидывает стакан. Его испитое лицо становится каким-то жалко-жестоким.

— Понимаешь, генеральная репетиция ещё ничего, так, ерунда, но когда тебе одному надо выпрыгнуть из чёрного ящика на яркий свет перед тысячей глаз, понимаешь! Да потом ещё кричать, во всю глотку орать, что ты, мол, Новый Год.

... Берг толкал крышку, но занавес уже открылся. Мы подняли ящик на плечи и вслед за Красивой Люцией в медленной процессии двинулись на середину сцены. Как только он выскочит, мне нужно начинать, мысленно повторяю, стараясь не смотреть в зал, который, как огромный рот, выдыхал на сцену влажный воздух.

Мы сняли крышку, но Берг не выпрыгнул из ящика, не привстал на носочки, не раскинул руки и не выкрикнул:

— Я — НОВЫЙ, 1965 ГОД!

Он, свернувшись калачиком, лежал в ящике, и мы никак не могли вытащить его оттуда.

— Да, как эмбрион, — смеясь, соглашается Берг.

За жесткими чертами его лица всё ещё кривляется застенчивость, которую он безуспешно, вот уже двадцать лет, пытается напоить.

Закат

В лучах вечернего солнца весело блестит золотой зуб Марики, а пышные тела дрожат в еле сдерживаемом смехе.

— Ну ты, Вилитис, проказник, — говорит она.

Вилис сидит и молча почёсывает голую пятку. Он травит анекдоты один за другим, но сам при этом никогда не смеётся.

На уме крамольная мысль: если бы Марики не была такой толстой и расплывшейся, я вполне мог бы на ней жениться, если не на ней самой, то хотя бы на её смехе.

— Стало быть, — продолжает Вилис, — так как период полураспада социализма семьдесят лет, а мне уже шестьдесят, я пью и иду топиться.

Мало кто может спокойно смотреть, как пьёт Вилис. Вытянув тонкую шею и задрав нос, он мелкими глотками цедит сквозь зубы семидесятипроцентный самогон, напоминая хилого беспомощного птенца.

— Отвернись, скотина, — говорит Марика и, улыбаясь, добавляет: — Ну, Вилитис, прошу тебя.

У меня у самого дурнота высовывает свою скользкую вопрошающую голову из живота аж до самого горла: вылезать или нет!

Вилис послушно отворачивается и, допив свою долю, идёт топиться. Он забредает в озеро по колено, садится в воду, его спина на фоне солнца становится тёмной, как у индейца, лёгкие порывы ветра раскачивают камышинки, мелкие волны плещутся о тонкие рёбра Вилиса, я смотрю на его затылок и представляю, что он видит — там, впереди, где только озеро, солнце и камыш, — сквозь прикрытые, синеватые, в жилках веки едва дрожит солнечный диск.

Мы с Марикой чокаемся.

— За тебя, философ.

— За тебя, старая коза.

Чудненько.

По краю озера брёл какой-то тип с огромной авоськой, из которой, как солома из пугала, торчали во все стороны пробки пивных бутылок. Подвернув до колен брюки, он, как цапля, изящно поднимал ноги, выставив далеко вперёд бороду. Когда в камышах перед ним показался сидящий в воде Вилис, мужик остановился и опустил авоську с бутылками в ил.

— Свой! — спрашивает Марика.

— Не знаю, — отвечаю я, поглядывая, как оба идут сюда.

Это был никакой не мужик, а длинный бородатый молкосос лет тридцати.

— Ваш друг сказал, что я спас его от смерти, — бородатый поставил сетку, вытащил из карманов брюк сандалии и добавил: — Дико охота поссать.

Он произнёс это жалким, обиженным тоном. Он и выглядел как сама обиженность. И волосы и борода у него были обиженно взлохмачены, и глаза обиженно прищурены, и кончики губ обиженно опущены.

— Хе-хе, — даже Вилис от такой грубости опешил, — это пиво...

Незнакомец отошел шагов на пять и помочился, даже на стараясь сделать струю потише о какой-нибудь листик, а прямо буравя ею землю — громко и вызывающе.

А мы в сопровождении этой музыки уже взяли за пиво. Он вернулся, на ходу застёгивая ширинку:

— Диоген Лаэртский не только справлял свои естественные потребности в общественных местах, но и совершал половой акт.

— Прикрой пасть, — пробурчала Марика, — здесь все приличные люди. Гляньте, парни, какая эта пуговица сегодня красивая.

Мы смотрели на закат, который наивные писатели пытаются описать, и тянули пиво, стараясь не слушать этого чудака. Он откупоривал одну бутылку за другой и трепался:

— Я два высших учебных заведения кончил.

Потом пил следующую и бубнил:

— Синие, зелёные, красные — все дерьмо.

Потом опрокидывал следующую, тряс меня за плечо и, суя заплаканную бороду в нос, кричал:

— Ты понимаешь, я, я... мы все жертвы стагнации. Я в университете был светлейшей головой! Талантом! Что мы, шестидесятилетние бичи, могли сказать этому шустряку!

Мы сочувственно кивали головами и пляли на закат, который он пачкал своей болтовнёй, ибо музыку заказывает тот, кто платит.

Суд

В трудную минуту я всегда звоню своему старику. Хорошо, что у него есть телефон.

— Здравствуй, папа!

Старик, поднятый в час ночи, кажется недовольным.

— Ну, и...! — бросает он. Стоит, должно быть, в передней своей двухкомнатной квартиры и морщится, прикидывая, в какую переделку я влип опять.

— Как твои дела!

После такого вопроса он прочитает мне мораль и только потом спросит, что случилось. Так и есть.

— Янис! Когда ты начнешь нормальную жизнь! Тебе уже тридцать пять лет, когда же ты, сукин сын, сам научишься решать свои проблемы! То тебя из милиции надо выволакивать, то за долги в кабаке расплачиваться. Хватит! Не желаю ничего знать! Ни где ты, ни что с тобой. Спокойной ночи!

В трубке запищали короткие гудки. Но я знаю, что старик ждёт и, лишь только я позвоню, возьмёт трубку снова.

— Ну, пап, — просительно говорю я, — на этот раз у меня ничего не случилось. Я просто так тебе позвонил. Поговорить.

— Среди ночи!

— Ну понимаешь, настроение не ахти.

— Опять набрался!

— Да нет же. Просто хочется немножко поболтать с тобой.

Старик какое-то время молчит, потом произносит:

— Погоди, тапки надену.

Когда он возвращается, спрашиваю:

— Мама не проснулась?

— Нет.

— Это хорошо.

— Ну, — спрашивает старик, — выкладывай, что у тебя на душе.

— Да я ведь сказал, что ничего. Просто хочется знать, как твои дела.

— Мои!

— Ну да.

— Чудной ты какой. Что у меня-то, у пенсионера, может быть!

— В прошлый раз ты жаловался, что лёгкие барахлят.

После этих слов старик как будто немного оттаивает.

— Шумят чуть-чуть.

— М-да, — говорю я, — это не дело. А врачи что!

Старик опять начинает кипятиться.

— Ты же пьян! С каких это пор тебя интересует моё здоровье! Лучше скажи сразу — что стряслось! Откуда ты звонишь!

В голосе его чувствуется волнение. Всё-таки старик меня любит.

— Из дома. Ладно, пап, не беспокойся. У меня действительно ничего не случилось. Спокойной ночи.

Но трубку пока не кладу. Сейчас старик начнёт меня допрашивать, как в школьные времена.

— С женой не поладил!

— Нет.

— Дети нездоровы!

— Нет.

- На службе неприятности!
- Нет.
- Влюбился!
- Ха-ха, да нет же.
- Ну тогда кончай валять дурака и ступай на боковую. Спокойной ночи!
- Спокойной ночи.

Старик кладёт трубку. Я беру сегодняшнюю газету и ещё раз пробегаю глазами передовицу. Там всё верно — ни убавить, ни прибавить. И название: «Народ осуждает палачей сталинских репрессий». Мой отец в списке, в третьем столбце, пятый сверху. Триста сорок шестой номер. Янис Калниньш, сын Альфреда.

Теперь-то я это знаю. Но знаю и то, что мой старик каждое утро от первой до последней страницы прочитывает все центральные газеты.

Год

Странно. Мне ведь никуда не надо идти. И всё же каждую ночь с удивительно ясной головой я просыпаюсь раньше него и тихонько жду. Скоро он, как обычно, начнёт возиться в темноте и, перебираясь через меня, заденет ногой или пихнёт локтем в бок. Мне нравится, хотя и больно. Я с нетерпением жду, когда он проснётся и затянет свою песню Отшельника. Это у него вместо утренней зарядки.

Поднимаясь, он скребёт мохнатую голову, чешется и недовольно ворчит, проглотила тьма свет, свет, и луны на небе нет, не-е-о-ааа . . . зевок длинный и жалкий, как у льва в клетке, и вот уже он сидит на краю кровати, и зелёной нет травы, только чёрная, увы, вздыхая, ищет под кроватью тапки, я улыбаюсь, стараясь хоть краешком глаза подсмотреть за ним, и мне чудится, что огромный неповоротливый отшельник наклоняется в темноте, ну а мне и дела нет, что за цвет! Хочется смеяться, таким злым он кажется на весь мир.

Но притворяюсь спящей. Так, по-моему, лучше. Мне верится, что он выдержит. Как трудно ему просиживать ночи напролёт на кухне и писать, писать, так хочется его пожалеть, но он ведь не позволяет.

Наконец он нашёл тапки, и кажется, что в темноте у кровати встаёт сгорбленный старческий вздох. Некоторое время он стоит неподвижно и о чём-то раздумывает. Замираю, затаив дыхание. Обойдёт ли он свои книжные полки или полезет через меня? Ну конечно. Диван скрипит и ходит ходуном, как палуба корабля, я стискиваю зубы, сейчас он наверняка надавит мне коленом на живот, попытаюсь незаметно отодвинуться, но рука всё-таки не успевает, мне больно, издаю недовольный звук, хочется схватить его и так же больно рвануть за заднюю ногу, но он уже на другой стороне и шарит по белым простыням, ища потерянный тапок. Огромный, противный отшельник-эгоист!

Он уже дошаркал до письменного стола, а у меня сердце ещё колотится, моё счастье, что на брюхо не наступил.

Разве он хоть на минуточку задумается обо мне? Может, я для него просто насекомое, которое он, проснувшись, с удивлением обнаруживает рядом, через которое надо перелезть, из-за которого он не может работать в комнате, а вынужден сидеть на кухне, потому что он, видите ли, должен быть один . . . Мне становится себя жалко, и хочется плакать. Ну почему он не может работать здесь! Я бы нисколечко ему не мешала! Спала бы тихонько, совсем как дохлая, ну разве что одним глазком поглядывала бы через щелку в одеяле . . .

В доме напротив старушка-кошатница, наверное, не спит. Угол стола мёртво отражает свет, который проникает через занавески. Согнувшись над этим островком света, он некоторое время шуршит своими бумагами, потом его сгорбленная тень, прижав к животу пишущую машинку и волоча одну ногу, медленно продвигается в сторону двери. Можно было бы починить ему этот тапок, но неохота. Большой благодарности за это всё равно не дождёшься. Ты что, починила! Ну спасибо, малыш. И всё. Пусть уж лучше шаркает. Нет. Я этого не вынесу.

— Эй, Гантенбейн, — шепчу я тихо, — я люблю тебя. Уфф! Слава Богу, не услышал. Закрывает со скрипом дверь. Опять бы сказал, что работает мешаю.

А я вот верю, что его книга будет бесподобной. Но он мне её не покажет ещё целых полгода. Каждый день — одна страничка. Всего будет триста шестьдесят пять. Триста шестьдесят пять чистейших жемчужин. И тогда он прославится! И станет богачом! И тапки у него будут из соболей. И в этой книге будет всё-всё.

Целую ночь он может просидеть над одной страничкой и чиркать, чиркать . . . Хорошо, что мне отсюда видно обоих амурчиков на старинной печке. Это они там, наверное, склонившись друг к другу, хихикают в темноте . . . одному тени избородили лицо, словно старичок . . . старенький амурчик, грустненький такой . . . обнимаются, один смеётся, другой плачет, притопывая, утанцовывая в темноту, и я тоже могу уснуть.

Он слышал.

. . . Гантенбейн, когда ты закончишь книгу, мы поедем охотиться на львов! . . ты возьмёшь меня с собой! . . Гантенбейн, обещай мне, что ты не ляжешь с тремя японками . . . это ужасно . . . милый, ты ведь так не сделаешь! . .

В кухне он поставил пишущую машинку на клеёнку, вставил белый лист и, сидя в темноте, просто так поступал — вдкгизкьчюыжкквлпнсв, подождал немного, и опять — впеютевмохшьмыфгкб, потом, сложив руки перед собой на столе, ускользнул в хрупкий сон, держа одно ухо начеку, чтобы не пропустить момент, когда в комнате зазвонит будильник и девушка встанет.

Он должен выдержать ещё полгода. Ещё полгода — красть и дарить.

Перевод ДМИТРИЯ КУДРИ



ЧАК — РУССКИЙ ПОЭТ?



Но почему бы не сказать так? Кому-то, возможно, это покажется полной нелепидей или наивностью, но все же, если мы хотим до самых корней постичь одного из наиболее латышских поэтов, человека, который даже в годы мнимого сталинского солнца отчаянно взывал к латышскому («Вообще, гравюры на дереве Ояра Абелитиса к райнисовскому «Вей, ветерок!» упрекать в не-латышскости следует именно в глубинном смысле этого эпитета, внешних, в «народном духе» исполненных атрибутов здесь в достатке» («Литература ун Максла», 8 августа 1947 г., с. 6)), то следует осознать все факторы, сформировавшие талант Чака. Я абсолютно убежден, что когда А. Пельше поносил поэта и заодно их общего с Чаком приятеля Яниса Судрабкалнса, за стихотворение «Советской Латвии» — по причине «избыточной латышскости» последнего («Мы обнаруживаем тут архаического пастушка с дудочкой, абстрактный пейзаж, абстрактное добросердие, абстрактную свободу, но ни единой приметы, которая характеризовала бы именно Советскую, социалистическую Латвию. В этом зарифмованном наборе слов мы не можем отыскать ничего из того, что ошибочно расхваливает нам т. Судрабкалнс. Кажется, в этом стихотворении недостатков даже больше, чем у украинского поэта Сосюры в его стихотворении «Люблю Украину». И непонятно, почему ни Союз советских писателей Латвии, ни редактор сборника т. Судрабкалнс не сочли необходимым все это критически проанализировать и обсудить» («Падомью Латвиас Большевикс» № 18, 1951 г., с. 14), то он вовсе не знал, что сей козел отпущения, агент империализма, меньшевик, ренегат, космополит и т. д. по имени Чак был сначала русским поэтом!

В доказательство приведем хотя бы это, написанное в начале 20-х годов в России стихотворение Чака (это и прочие русские стихотворения поэта публикуются впервые).

СКИТ

За городом, где в небо сосны
Торчат огромные, как дымовые трубы,
И где лучи, как маменьки несносны,
Там скит таинственен, как шепчущие губы,
Как знахарь,
Своей оградой белеется как сахар.

И вечером безветренным и звонким как стакан
Из-за садовых вишен
Мне слышен
Чуть долетевший его звон, дрожащий как мой стон
При виде женщин голых над рекою...

Все это весьма закономерно. Хотя вырос Чак в семье несомненно латышской и в школьные годы вместе с отцом регулярно посещал Новый Рижский театр, он все же прошел строгую муштру русской Александровской гимназии, а главное — I мировая война увлекла Чака в Россию, а там было все: и учеба, и армия, революция и гражданская война, и работа в Российской Компартии, и в газете города Саранска, и если добавить к этому оторванность от родителей, то никакая тут чисто латышская вершина не получается.

Вне сомнения, не только внешние, политические обстоятельства определили формирование Чака как потенциального русского поэта. Определенно, решающее значение имели сотрудничество в саранской газете (признаюсь, этот период не изучен еще всерьез: на мои письма люди из городского музея в Саранске упорно не отвечают) и поэтические пристрастия — Маяковский, Есенин, Шершеневич...

И по возвращении в Латвию наряду с беспомощными пока попытками писать по-латышски возникают и вполне приличные русские стихи:

Всходит месяц желтый, как желток яичный,
Листья под ногами юбочно шуршат.
С талией женскотонкой франтик эксцентричный
На бульвар выходит, словно на парад.
Ароматны дамы что флакон с духами
И авто сверкает что поддельный зуб.

Это стихотворение написано 29 июня 1924 года, когда Чак в Латвии на публике еще не появлялся, но схожие записи поэтических впечатлений встречаются и в 1925 году, когда Чак уже завоевывает издательства (опубликованы первые 11 стихотворений).

Жизнь стала мелкой, крохотной как женские ладони,
Где место канарейке, а не человеку.
Жизнь стала мрачной и пустой, как в тупике вагоны.
И женщины в одной цене со стеклом.

Плетется день за днем как дохлые кобылы,
Как дохлые кобылы, как сироп тягучий,
Мне ж нужны мысли, речи черствые как вилы.
Мне нужны горы, а не кучи.

А жизнь же стала
И ненужней разбитой рюмки.
Люблю я быстроту, стихийность урагана,
Безумной ломки.



Конечно, утверждение Чака в качестве русского поэта является лишь литературоведческим преувеличением и подкрепляется тем, что свои русские стихотворения (а их несколько десятков) Чак не публиковал, — но утверждать, что он их полностью забыл, нельзя ни в коем случае. Ознакомимся с любопытной парой стихотворений. Сначала — стихотворение, сочиненное по-русски 14 июля 1923 года.



САДИК В ГОРОДЕ

Как кофе листья здесь от солнца. И лепечут
Они, как деды старые, на ветках без умолку.
Кто-то по улице провез как бочку с грохотом двуколку,
Как будто дамам этим нервы летуч.

Песок как битое стекло блестит на солнце. Маки
В ряд окровавленные здесь как от злейшей драки.
И вместо соловья где-то на крыше кошка
Мякнула
Что обухом по нервам стукнула
Как на пол уроненная внезапно ложка . . .

Все же садик свой люблю я больше этих улиц, мерзких,
как зеваки,
С их жирно-мягкой от жары асфальтной рожей
И девушек с загарной кожей
По моде красной как вареный рак.
Здесь помечтать могу я о пахучей липе
И о простом дверинном скрипе.

Ночь на 14 июля

А теперь откроем сборник «Апаш во фраке» (1929),
в котором есть хорошо известное стихотворение «Мой
городской садик» (подстрочник).

Здесь листья от пыли коричневые, как кофе. И бормочут,
Как кумушки, на ветках непрерывно.
Еще до света звякают молочные бидоны,
А возле складов кошарье мышкует.

Блестит гранит на солнце словно дребезги стекла,
как рыба чешуя
И десять маков
Стоят в строю окровавленные как после битвы.

Здесь мимо девушки все носят свои ведра,
Какой-то пес просунул морду между досок.
Я улыбнусь всему, не хмуро, вот уж нет —
Что, анемоны разве лишь прекрасны?

Нет, садик свой люблю я очень, очень —
Когда надоедают мне и почести и люди
И гибких рук несмелые объятья,
Здесь днями напролет сажу один,
Мечтаю. О комнатенке с ванной в первом этаже,
И о своих придуманных плантациях на Яве.

Так поэт перевел или пересочинил сам себя. Мне кажется, русские корни Чака следует изучать серьезнее, там еще много неоткрытого. Более-менее известны соприкосновения Чака с Маяковским и Есениным. А В. Шершеневич и Ю. Черномозный? Без знания творчества Ю. Черномозного и В. Катаева, например, нельзя полностью понять «Поэму об извозчике».

Вот такие парадоксы случаются в жизни — прах яростного борца с латышским национализмом Арвида Пельше покоится в Кремлевской стене, прах Чака питает Ригу. Прах самого латышского из латышских поэтов, писавшего еще и по-русски. Оба они хорошо знали Россию, любили Москву, и все-таки жить вечно остался лишь один из них. Здесь, в Латвии. И всюду — в мире.



ДАНИЭЛЬ БУЛАНЖЕ

ретушь отрочества

лестница напоминает молитву,
коридор, по которому Еву изгнали из рая,

стихи на двери,
свет сквозь терновый кустарник.

ретушь адюльтера

любимая уходит
пейзаж комкается в окне
ворочается на испачканной простыне неба

цветок, певший ангельским голосом
в белой глубине спальни
теперь это просто девка в дурацком платье
и зовет она в тень

ретушь поздней осени

колесо в канаве
душа боится
мародерствующее небо, в котором всё отражается вверх
ногами

ретушь апреля

тень ее листвы на бледной стене
так же дрожит,
как в разгар войны
день среди царства скорби
ее глаза такие черные под вуалью

ретушь горя

постная рожа неба
тщательно лепит пейзаж
но за каждым поворотом оставляет руины
память и ее ниши в стене любви

ретушь детской

тьма шевелящаяся в глубине колыбельки
выгибает спину

малышка держит ладонь как лампу
для кашки из которой вылетает жалобный писк птички

ретушь совы

синкопа темного пятна
встревожившийся мозг ночи



ретушь почты

о письма под дверь
напоминания о простынях, смешках и крови

когда вы вместе
белозубая смерть
в темноте притворяется мертвой

ретушь благопристойности

страж весов
аптекарь обходит город
тонкие пальцы несущие душу в пробирке с водой
такой же мутной как в лесу брошенные бутылки
где к вечеру оживают
огоньки зародыши света

ретушь бриза

сферы счастья вращаются
одна внутри другой
в движении противоположном и нежном
птицы это разноцветные брызги солнца

Перевод с французского
ТАТЬЯНЫ ЩЕРБИНЫ

О ПРОЗЕ АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО



При упоминании имени Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881—1925) в читательском сознании обычно возникает фейерверк неподдельного юмора, порожденный балагуром и острословом, «который не нашел в себе сил под конец жизни сделать верный выбор между сытым партером и разночинной галеркой» (А. Аверченко, «Юмористические рассказы». М., 1964, с. 22). Многие годы этот усеченный образ писателя не допускал возможности существования второй его ипостаси — сатирика. Между тем в традиционное для русской литературы противостояние художника и власти Аверченко внес собственные и неожиданно свежие для сегодняшнего дня акценты.

В июне 1918 года в специальном «пролеткультовском» номере «Нового Сатирикона» он поместил заметку, предсказавшую скорую судьбу редактируемого им еженедельника: «Ясная Поляна — товарищу Льву Толстому. Получили вашу рукопись «Не могу молчать». Если не можете молчать — товарищ Володарский (тогдашний председатель петроградской ЧК, убитый вскоре эсером Канегиссером. — Р. Я.) научит. Завед. почтов. ящиком Малютка Скуратов».

А незадолго перед тем как навсегда покинуть Россию писатель решил напомнить соотечественникам об одной, не слишком громкой, дате революционного календаря. «А ведь мы даже при большевиках смеялись, — писал Аверченко. — Но 18 июля 1918 года, ровно 2 года тому назад, красный большевистский кулак поднялся над нами и тяжело опустился на наши головы... большевики, «представители» самой свободной страны в мире, дунули во всю мочь своих пролетарских легких на еле мерцающий огонек русской сатиры, и сатира погасла... И живет теперь огромная Совдепия без сатиры, без смеха... Сатира — это глаза страны, юмор — улыбка на ее румяных щеках. Мертво теперь лицо огромной страшной Совдепии: безглазая, безрогая страна» («Юг России», Севастополь, 21 июля — 3 августа 1920 г.).

Писателю уже нечего было делать на Родине. Он уезжает в Константинополь, а затем перебирается в Прагу. По стереотипу, уже в те годы старательно насаждавшемуся в общем сознании, русского писателя за границей ожидает творческое бесплодие и безусловное забвение на Родине. Но эмиграция не убила таланта «короля» русского смеха. Напротив, она напитала его рассказы глубоко

трагическими мотивами ностальгии, далекими от привычного зубоскальства. Одна за другой вплоть до самой смерти писателя выходят его книги, посвященные, по сути, одной, занимавшей его с некоторых пор теме: «*За что они Россию так?*» Обращенные прежде всего к отечественному читателю, они не остались без ответа.

Сразу после издания в Париже сборника рассказов Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», в ноябре 1921 года, на страницах «Правды» появилась небольшая рецензия под заголовком «Талантливая книжка». Этот вполне заурадный эпизод литературной жизни сыграл между тем особую роль в формировании контактов метрополии с русской диаспорой в новейшую эпоху.

Автором рецензии выступил ведущий партийный теоретик и публицист, известный нелюбовью к открытому выражению своих художественных вкусов. Многие годы текст, вышедший из-под его пера, почитается образцом советской литературной критики, служит примером идеологической и эстетической толерантности. Стоит сегодня перечитать его свежим глазом (см. В. И. Ленин, ПСС, т. 44, с. 249—250), чтобы убедиться — он не имеет никакого отношения к литературе. Автор, обычно не стеснявшийся в оценках своих оппонентов, и здесь остался верен себе. «Озлобленный до умопомрачения белогвардеец» и тому подобные характеристики, заимствованные не из филологического словаря, занимают ведущее место и лишь изредка сменяются уничижительными оценками, низводящими творчество писателя до уровня «Вещичек». За всем этим прочитывается не личная обида (Ленин, ставший одним из «героев» Аверченко, был довольно равнодушен к подобного рода уколам), но раздраженное неприятие противоположных оценок недавней социально-политической истории России. Рецензент не был бы тем изощренным политиком, каким его знают, если бы не воспользовался представившейся возможностью проэксплуатировать враждебный литературный талант в интересах защищаемой им доктрины. Рассказы Аверченко, наряду с набравшим силу «сменовеховством», стали для него знаком политического расслоения эмигрантской России, свидетельством ее идеологической капитуляции перед Россией советской. Этот феномен необходимо было широко продемонстрировать общественному мнению внутри страны и за ее пределами.

Именно этим, как кажется, объясняется неожиданно снисходительный приговор рецензии: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают переиздания. Талант надо поощрять».

Так Аверченко стал первым из писателей русского зарубежья, прорвавшимся, пусть и через кривое зеркало политики, на Родину еще при жизни. На семь-восемь последующих лет его имя вернулось в широкий обиход советских читателей, сыграв, между прочим, важную роль в формировании нового поколения русских сатириков и юмористов.

Однако все попытки продолжить «сатириконскую» традицию в условиях подцензурной печати были обречены на провал. Литературная сатира, как составная часть «общепролетарского дела», должна была формироваться за счет «метких стрелков по врагам трудящихся» и «доблестных кавалеристов слова» (Л. Троцкий), таких, как Демьян Бедный, например. Характерна история частного еженедельника «Мухомор» (Петроград), рискнувшего продолжить практику независимой сатиры: «Мы никого не боимся... Не боимся даже... впрочем, мы пока боимся сказать, кого мы не боимся...»

Ни положение, ни место не спасает от наших «стрел» того, в кого они будут направлены.

Даже Крем... крематорий не спасет виновного от нашего приговора.

Даже Смо... Виноват, что мы хотели сказать?.. Да, да... Даже сморщенное лицо старости не отвратит «ножа сатиры», занесенного над головой виновного.

Даже Че... Даже Че... Ну да, даже Черчилль...» (апрель 1922 г., № 1, с. 3).

Практика многозначительных многоточий не спасла издателей «Мухомора», через год еженедельник был закрыт. «Безглазая, безрогая страна» постепенно, но довольно решительно приучалась к «здоровому классовому смеху», к выхолощенной сатире и строго дозированному юмору «Крокодила»...

Усердно копаясь ныне в причинах и следствиях трагедий нашего века, мы не можем обойтись без сатиры Аверченко. Он один из первых высмеял «бронзовеющий» лик воплощенной утопии, и его горький смех, втиснутый когда-то в обертку «классовых» интерпретаций, возвращается к нам через годы в своей внутренней силе и правоте.

Предисловие и публикация
Р. ЯНГИРОВА

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

РАЗВОРОЧЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК

Разговор в Беженском общежитии:
— Здравствуйте, я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи?
— Вот она, на стенке.
— Ага, спасибо! А почему она вся флажками покрыта?
Гм... для линии фронта флажки, кажись, слишком не-
решливо разбросаны...
— Родственники.
— Ага, родственники это сделали?
— Какие родственники! Это я сделал.
— Родственникам это сделали для забавы?
— К чорту забаву! Для собственного руководства
сделал.
— В назидание родственникам?
— Плевать хочу на назидание! Выдерните флажок из
Екатеринослава. Ну, что там написано?
— «Алеша» написано.
— Так. Брат. Застрял в Екатеринославе.
— Позвольте, а где же ваша вся семья?
— А вот следите по карте. Отправный пункт Петербург.
Застряла больная сестра. Служит в продкоме, несчастная.
Москва — потеряли при проезде дядю. Что на флажке
написано?
— Написано «дядя».
— Правильно написано. Дальше. Курск — арестована
жена за провоз якобы запрещенных двух фунтов колбас-
сы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд,
потому что там остались дети. Теперь ищите детей...
Станция Григорьевка — Люся. Есть Люся? Так. Потеря-
лась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехово — нападение
махновцев, снова давка. Коку толпа выносит на перрон
вместе с выломанной дверью. Три дня искал Коку.
Пропал Кока. Какой флаг на Орехове?
— Есть флаг: «Кока на выломанной двери».
— Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея. От-
правный пункт бегства — Псков. Рассыпались кистью,
в роде разрыва шрапнели. Псков — безногий паралитик
дедушка, Матвеевка — Грися и Сеня, Добронравовка —
свояченица, Двинск — тетя Мотя. Сам Сергей — Ковно,
его племянник — где-то между Минском и Шавлями; я так
и флажок воткнул в нейтральную зону. Теперь гроздь
флажков в ростовском направлении — семья дяди Володи.
Тонкая линия с перерывами на сибирское направление —
семья сестры Лики. Путь флажков по течению Волги...
Впрочем, что это я все о своих да о своих! Прямо невежли-
во. Вы лучше расскажите, как ваша семья поживает!
— Да что ж рассказывать? Они, кроме меня, все
вместе, все девять человек.
— Ну, слава богу, что вместе.
— Вы думаете? Они на Новодевичьем кладбище в
Москве рядышком лежат...

СЛАБАЯ ГОЛОВА

Позвонили мне по телефону.
— Кто говорит? — спросил я.
— Из дома умалишенных.
— Ага! Здравствуйте! Я ведь ничего. Я только так.
Хи-хи! Ну, как поживают больные?
— Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали
Павла Гречухина?
— Ну как же, приятелями были. Да ведь он, бедняга,
в 1915 году с ума сошел...
— Поздравляем вас. Только что совершенно выздоровел.
Просится, чтобы вы его забрали отсюда.
— Павлушу-то? Да с удовольствием.
Заехал за ним, привез к себе.
— Ф-фу, — сказал он, опускаясь в кресло. — Будто я
снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за
это время был совершенно отрезан от мира. Рассказывай
мне все, как Вильгельм?
— Ничего себе, спасибо.
— Ты мне прежде всего скажи: кто кого победил — Гер-
мания России или Россия Германию?
— Союзники победили Германию.
— Слава богу, значит, Россия — победительница?
— Нет, побежденная.
— Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники
допустили?
— Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову
не поймешь.
— Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.
— Нету спичек. Не курю.
— Позови горничную.
— Ма-а-а-ша!
— Вот что, Машенька, или как вас там... Вот вам три
копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.
— Хи-хи...
— Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?
— А видишь ли, у нас сейчас три коробочки спичек стоят
дороже.
— Намного?
— Нет, на пустяк, на пятьсот рублей.
— Только-то! Что же это оно так?
— Да знаешь ли, в последнее время много много поджогов
бывало. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.
— Эва, как ботиночки-то мои разлезлись... Слушай,
ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?
— На что тебе?
— Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю,
пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из белья.
— Нет, таких денег у меня нет.
— Неужели же пяти катеринок не найдется?
— Теперь этого мало. Два миллиона нужно.

Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.
 — Что ты вдруг умолк?
 — Так, знаешь . . . Ну, дай мне хоть сто рублишек, поеду в Питер, там у меня родные.
 — Они уже умерли.
 — Как, все?
 — Конечно, все.
 — Ну, я все-таки поеду, хоть наследство получу.
 — Опоздал. Оно уже получено.
 Взор его сделался странным, каким-то чужим.
 Он посмотрел на потолок и тихо запел:
 — Тра-та-та, тра-та-та,
 Вышла кошка за кота.
 Мне почему-то сделалось жутко.
 — А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме совдепа.
 Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо спросил:
 — Ду-ю спик англиш? Хай ду-ю-ду. Кис ми квин. Слушай . . . Ну, я в Москву поеду.
 — Да не попадешь ты туда, чудак!
 — Почему, сэр?
 — Доедешь ты до Михайловки, а за Михайловкой начнется страна махновцев; проехал, если тебя не убьют махновцы, — начнется страна петлюровцев. Ну, там тебя возьмут, поставят к стенке.
 — Ну, что же, что поставят! Я постою и пойду.
 — Да, уйдешь, как же! Они в тебя стрелять станут.
 — За что?
 — Здорово живешь.
 — Да я не военный.
 — Да видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат Реввоенсовета или Совнархоза . . .

Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, напевая:
 — Чикалу, чикалу,
 Не бывать мне на балу.
 — Знаешь что, Павлуша, — предложил я, — поедем прокатиться. Заедем по дороге в сумасшедший дом. Я там свой портсигар забыл.
 Он посмотрел на меня лукавым взглядом помешанного.
 — Ты же не куришь.
 — А я в портсигаре деньги ношу.
 — Пожалуй, поедем, — согласился он. — Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь два-три месяца — и, глядишь, все будет хорошо.

Поехали.
 Он был уверен, что везет меня, а я думал, что везу его.
 Когда мы вошли в вестибюль, Павлуша спрятался за колонну и закричал:
 — Берите этого, он с ума сошел.
 Ко мне подошел главный врач.
 — Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.
 Я махнул рукой.
 — Опять готов.

Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и сказал:
 — Простите, сэр, что я до сих пор не успел поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я постою у стенок.
 Взяли Павлушу. Повели.
 Слава богу, хоть одного человека я устроил как следует.

КАК Я УЕХАЛ

— Ехать так ехать, — добродушно сказал попугай, которого кошка тащила из клетки.

Осенью 1920 года мне пришлось наблюдать в Севастополе редкое климатическое явление. Именно, когда насту-

пили прохладные дни, обещавшие с каждой неделей делаться все прохладней и прохладней, пока вся эта вереница суток по исконным правилам календарей не закончилась бы зимой, — в эти осенние дни ко мне пришел знакомый генерал и сказал:

— Вам нужно отсюда уезжать.
 — Да мне и тут хорошо, что вы!
 — Именно вам-то и нельзя оставаться. Скоро здесь будет так жарко, что вы не выдержите . . .

— Жарко, но ведь уже осень, — удивился я.
 — Вот-вот. А цыплят-то по осени считают. Смотрите, причтут и вас в общий котел . . . Говорю вам, очень жарко будет.

— Я всегда знал, что климатические условия в Крыму чрезвычайно колеблются, но, однако, не до такой степени, чтобы в октябре бояться солнечного удара.

— А кто вам сказал, что удар будет солнечный? — тонко прищурился генерал.

— Однако . . .
 — Уезжайте, — сухо и твердо сказал генерал. — Завтра же рано утром чтобы вы были на борту парохода.

В голосе его было что-то такое, от чего я поежился и только заметил:

— Надеюсь, что вы мой пароход подадите к Графской пристани. Мне оттуда удобней.

— И в Южной бухте хороши будете.
 — Лысiec, — засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только-что купленной за три тысячи. — Хотите кусочек?

— Э, не до кусочков теперь, лучше на дорогу сохраните.
 — А куда вы меня повезете?

— В Константинополь.
 Я поморщился:

— Гм . . . я, признаться, давно мечтал об Испании.
 — Ну, вот и будете мечтать в Константинополе об Испании.

В тот же день я был на пароходе, куда меня приняли с распростертыми объятиями. Это действительно правда, а не гипербола, насчет объятий, потому что, когда я, влезши на пароход, сослепу покатился в угольный трюм, меня сразу поймали чьи-то растопыренные руки.

На пароходе я устроился хорошо (в трюме, на угольных мешках). Потребовал к себе капитана (он не пришел). Сделал некоторые распоряжения относительно хода корабля (подозреваю, что они не были исполнены в полной мере) и, наконец, распорядился уснуть.

Последнее распоряжение было исполнено аккуратнее всего.

Путешествие было непродолжительное, но, когда мы подошли к Константинополю, меня ни за что не хотели спускать на берег.

Я сначала думал, что команда и капитан так полюбили меня, что одна мысль расстаться с таким приятным человеком была им мучительна, но на самом деле случилось наоборот: не пускала на берег союзная полиция, а команда не прочь была бы выкинуть нас всех за борт, только чтобы развязаться с беспокойным и непоседливым грузом.

Не желая быть в тягость ни команде, ни полиции, я ночью по-тихоньку перелез на стоявший рядом русский пароход-угольщик, где старые морские волки приняли меня как родного.

Милые вы люди! Если вы сейчас в плавании где-нибудь по бурному океану, пусть над вами ярко и ласково сияет солнце, а под килем нежная морская волна пусть нежит вас, как колыбель, — крепко желаю вам этого!

О ГРОБАХ, ТАРАКАНАХ И ПУСТЫХ ВНУТРИ БАБАХ

Как-то давно-давно мне рассказали презабавный анекдот.

Один еврей, не имевший права жительства, пришел к царю и говорит:

— Ваше величество, дайте мне, пожалуйста, право жительства!

— Но ведь ты же знаешь, что правом жителя пользоваться только ремесленники.
— Ну, так я ремесленник.
— Какой же ты ремесленник! Что ты умеешь делать?
— Укус умею делать.
— Подумаешь, какое ремесло, — скептически усмехнулся царь. — Это даже и я умею делать укус!
— И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жителя.

Прошли идиллические времена, когда рождались такие анекдоты; настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли не имеют права жителя.

Некоторое исключение представляет собой Константинополь. Искусство делать укус в той или другой форме все-таки дает право на жизнь.

Вот мои встречи с такими «ремесленниками, имеющими право на жительство», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

Они сидели на скамье в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом: бывший журналист, бывший поэт и бывшая... чуть по привычке не сказал, бывшая сестра журналиста. Нет, сестра журналиста была настоящая. Дама большой красоты, изящества и тонкого шарма.

Всем трем я искренно обрадовался, и они обрадовались мне.

— Здорово, ребята! Что поделяете в Константинополе? — приветствовал я эту тройцу.

Все трое переглянулись и засмеялись.

— Что мы поделяем... Да вы не поймете, если мы вам скажем.

— Не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял.

— Я, например, — сказал журналист, — лежу в гробу.

— А я, — похвалился поэт, — хожу в женщине.

— А я, — деловито заявила журналистова сестра, — состою при зеленом таракане.

— Все три ремесла — довольно странные, — призадумался я. — Делать укус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?

— Одна гадалка приняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

— А вот вы, который «ходит в женщине»? Каким ветром вас туда занесло?

— Не ветром, а голодом. Огромная баба из картонки и коленкора. Я влезаю вовнутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

— Поистине ваши профессии изумительны! — сказал я. — Но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане.

— Смейтесь, смейтесь! Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он носит на себе, — зеленые. И поэтому я обязана иметь на плече огромный зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу по записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется.

— Очень все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

«Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит!»

— Рабочие какие-то пришли.
— Пусть войдут. Что вам угодно, господа?
— Так что мы рабочий контроль над производством. Выборные.

— Контроль? Над каким производством?

— Над вашим.

— Какое же у меня производство? Я пишу рассказы, фельетоны. Это контролю не поддается.

— Все вы так говорите! Мы выборные от типографии и артели газетчиков, и мы будем контролировать ваше производство.

— Виноват... Как же вы будете осуществлять контроль?

— Очень просто. Вот мы усаживаемся около вас и... вы, собственно, что будете писать?

— Еще не знаю: темы нет.

— А вы придумайте.

— Хорошо, когда вы уйдете — придумаю.

— Нет, вы эти старые штучки оставьте! Придумывайте сейчас.

— Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонние физиономии...

— Простите, мы вовсе не посторонние физиономии, а рабочий контроль над вашим производством! Ну?..

— Что «ну»?

— Думайте скорей.

— Поймите же вы, что всякое творчество — такая интимная вещь...

— Вот этого интимного никак не должно быть! Все должно делаться открыто, на виду и под контролем.

Писатель задумался.

— О чем же это вы призадумались, позвольте узнать?

— Не мешайте! Тему выдумываю.

— Ну, вот и хорошо. Только скорей думайте! Ну! Придумали?

— Да что вы меня в шею гоните?

— На то мы и контроль, чтобы время зря не пропадало. Ну, живей, живей!..

— Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристааете!

Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя.

А писатель в это время тер голову, почесывал у себя за ухом, кряхтел и, наконец, вскочил в отчаянии:

— Да поймите же вы, что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота.

Рабочий контроль переглянулся.

— Замечаете, товарищ? Форменный саботаж! То ему не разговоривай, то не смотри на него, а то он еще, пожалуй, и дышать запретит! Небось, когда нас не было — писал! Тогда можно было, а теперь нельзя? Под контролем-то, небось, трудно! Когда все на виду, без обмана, тогда и голова не работает?!.. Хорошо-с!.. Так мы и доложим куда следует!

Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души, топоча ногами, вышел.

От автора.

В доброе старое время подобные произведения кончались так:

«... на этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом».

Увы! Я кончить так не могу.

Потому что хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись.

МУРКА

КОНТРОЛЬ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ

Один из краугольных камней грядущего рая на земле Третьего Интернационала, это:

— Контроль над производством.

Твердо знаю, во что эта штука выльется.

Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили:

— Что это за учреждение, и что оно обслуживает, — признается откровенно Ларин, — я так и не мог ни у кого добиться...

Есть в Москве Мурка, а что такое Мурка — и сам Ларин не знает.

А я недавно узнал. Один беженец из Москвы сжалился над моим мучительным недоумением и объяснил мне все.

— Что такое, наконец, Мурка? — спросил я со стоном. — Спать она не дает мне, проклятая!

— Ах, Мурка?! Можете представить, никто этого не знает, а я знаю. И совершенно случайно узнал...

— Не тяните! Что есть — Мурка?

— Мурка? Это мурашовская комиссия. Сокращенно.

— А что такое Мурашов?

— Мой дядя.

— А кто ваш дядя?

— Судебный следователь.

— А какая эта комиссия?

— Комиссия названа по имени дяди. Он был председателем комиссии по расследованию хищений на Курском вокзале.

— Расследовал?

— Не успел. На половине расследования его расстреляли по обвинению в сношениях с Антантой.

— А Мурка?

— Чего Мурка?

— Почему Мурка осталась?

— Мурка осталась потому, что тогда еще дело не было закончено. Потом оно закончилось несколько неожиданно: всех заподозренных в хищении расстреляли по подозрению в организации покушения на Володарского.

— А Мурка?

— А Мурка существует.

— Я не понимаю, что же она делает, если и родоначальника ее расстреляли?..

— Теперь Мурка окрепла и живет самостоятельно. Здоровая сделалась: поперек себя шире. Видите ли, когда моего дядю Мурашова назначили на расследование, он сказал, что ему нужен секретарь. Дали. Жили они себе вдвоем, поживали, вели следствие, вдруг секретарь говорит: «Нужна мне машинистка». Нужна тебе машинистка? На тебе машинистку. Машинистка говорит: «Без сторожа нельзя». На тебе сторожа. Взяли сторожа. А дядя мой предобрый был. Одна дама просит: «Возьмите дочку, пусть у вас бумаги подшивает — совсем ей есть нечего». Взяли дочку. И стала Мурка расти, пухнуть и раздвигаться влево, вправо, вверх, вниз; вкривь и вкось...

Однажды захожу я, вижу — Муркой весь дом занят... Всюду на дверях дощечки. «Продовольственный отдел», «Просветительный отдел».

— Позвольте... Неужели Мурка сама кормила и просвещала этих вокзальных хищников?!

— Что вы? Их к тому времени уже расстреляли... Для себя Мурка завела и продовольственный, и просветительный отдел, и топливный... К тому времени уже служило в Мурке около семидесяти барышень, а когда для этой оравы понадобились все отделы, пригласили на каждый отдел новый штат — и число служащих вместе с транспортным и библиотечным возросло до ста двадцати человек.

— Что ж... все они так и сидели, сложа руки?

— Почему?

— Да ведь и дядю расстреляли, и вокзальных воров расстреляли... Ведь Мурке, значит, уже нечего было делать?

— Как нечего? Что вы! Целый день работа кипела, сотни людей носились с бумагами вверх и вниз, телефон звенел, пишущие машинки шелкали... Не забывайте, что к тому времени всякий отдел обслуживало уже около полутора десятка служащих в Мурке.

— А Мурка кого обслуживала?

— Служащих.

— Значит, Мурка обслуживала служащих, а служащие Мурку?

— Ну, конечно. И все были сыты.

— А не приходило когда-нибудь начальству в голову выяснить: на кой черт нужна эта Мурка и чем она занимается?

— Приходило. Явился один такой хват из ревизоров, спрашивает: «Что это за учреждение?» Ему барышня резонно отвечает: «Мурка». — «А что такое — Мурка?» Та еще резоннее: «А черт его знает. Я всего семь месяцев служу. Все говорят — Мурка, и я говорю — Мурка!» — «Ну, вот, например, что вы лично делаете?» — «Я? В отпускном отделе». — «Какие же вы товары отпускаете?» — «Не товары, а служащих в отпуск. Регулирую отпуска». — «И для этого целый отдел?» — «Помилуйте, у нас до трехсот человек служащих!» — «А это что за комната?» — «Продовольственный отдел. Служащих кормим». — «А это — ряд комнат?» — «Топливный, просветительный, агитационный, кульминационный — работы по горло». — «И все для служащих?» — «А как же! У нас их с будущего месяца будет около пятисот. Прямо не успеваешь». — «Так, значит, так-таки и не знаете, что такое Мурка?» — «Аллах его ведает. Был тут у нас секретарь, старожил, — тот, говорят, знал, да его еще в прошлом году за сношения якобы с Деникиным по ветру пустили». — «Ну, а вы сами как лично думаете, что значит: «Мурка?» — «Гм... разное можно думать. Может быть, морская канализация?» — «Ну, что вы? Тогда была бы Мурка, или Мурская канализация... И потом, какая канализация может быть на море?» Постоял еще, постоял, плюнул, надел шапку и ушел. И до сих пор Мурка растет, ширится. Говорят, скоро под Сестрорецком две колонии открывает: для служащих инвалидов и для детей служащих.

Помолчали мы.

— Вы помните, — спросил я, — песенку «Мурочка-Мяурочка»?

— Еще бы. Сабинин пел.

— Так вот там есть слова:

Стала Мурка соержанка

Заправили банка...

— Ну?

— Так разница в том, что заправила банка содержал Мурку на свои деньги, а Советская Россия содержит сотни Мурок на народные!..

ХОМУТ, НАТЯГИВАЕМЫЙ КЛЕЩАМИ

Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба и с вазелином вместо масла.

Постучались.

Вошел оруженосец из комиссариата.

— Так что, товарищ, пожалуйста по наряду на митинг. Ваша очередь слушать.

— Ишь ты, ловкий какой! Да я на прошлой неделе уже слышал!

— Ну, что ж. А это новый наряд. Товарищ Троцкий будет говорить речь о задачах момента.

— Послушайте... ей-богу, я уже знаю, что он скажет. Будет призывать еще годика два потерпеть лишения, будет всех звать на красный фронт против польской белогвардейщины, против румынских империалистов, будет обещать на будущей неделе мировую революцию... Зачем же мне ходить, если я знаю?..

— Это меня не касается. А только приказано набрать тысячу шестьсот сорок штук, по числу мест, — и я набираю...

— Вот тут один товарищ рядом живет — Егоров его фамилия, — кажется, он давно не был! Вы бы к нему толкнулись.

— Нечего зря и толкаться. Вчера в Чека забрали за пропуск двух митингов. Так что ж... Записывать вас?

— У меня рука болит.

— Чай, не дрова рубить! Сиди, как дурак, и слушай!

— Понимаете, сыпь какая-то на ладони, боюсь застудить.

— Можете держать руку в кармане.
— А как же аплодировать? Ежели не аплодировать, то за это самое...

— Хлопай себя здоровой рукой по затылку — только всего и дела.

Хозяин помолчал. Потом будто вспомнил.

— А то еще в соседнем флигеле живет один такой: Пантелеев. До чего любит эти самые митинги! Лучше бы вы его забрали. Лют до митинга! Как митинг, так его и дома не удержишь. Рвется прямо.

— Схватились! Уже третий день на складе у нас лежит. Разменяли. Можете представить — заснул на митинге!

— Послушайте... А вдруг я засну?

— В Чеке разбудят.

— Товарищ... Стаканчик денатуратцу разрешите предложить?

— За это чувствительно благодарен! Ваше здоровье! А только ослобонить никак невозможно. Верите совести: целый день гайдаю, как каторжный, все публику натягиваю на эти самые митинги, ну их... к этому самому! У всякого то жена рождает, то он по службе занят, то выйти не в чем. Масса белобилетчиков развелось. А один давеча как дитя плакал, в ногах валялся: «Дяденька, говорит, увольте! С души прет, говорит, от этого самого Троцкого! Ну, что, говорит, хорошего, ежели я посреди речи о задачах Интернационала в Ригу вдруг поеду?!» Он плачет, жена за ним в голос, дети вой подняли, инда меня слеза прошибла. Одначе, забрал. Потому обязанность такая. Раз ты свободный советский гражданин — слушай Троцкого, сволочь паршивая! На то тебе и свобода дадена, чтоб ты Троцкую барщину сполнял! Так записать вас?

— А, чорт! А что, недолго будет?

— Да нет, где там долго! Много ли — полтора-два часа! Чорт с ними, идите, господа, не связывайтесь лучше! И мне, и вам покойнее. Речь Троцкого, речь Бухарина, речь венгерского какого-то холуя — да все равно. Ну, потом, конечно, лезорюция собравшихся.

— Ну вот видите — еще резолюция! Это так задержит...

— Котора задержит? Лезорюция? Да она уже готовая, отпечатанная. Вот у меня и энзеплярчик есть для справки.

Оруженосец отставил ружье, пошарил в разносной сумке и вынул серую бумажку...

Москвич прочел:

«Мы, присутствующие на митинге Тов. Троцкого, подавляющим большинством голосов вынесли полнейшее одобрение всей советской политике, как внутренней, так и внешней; кроме того, призываем красных товарищей на последний красный бой с белыми польскими панями, выражаем согласие еще сколько взлетит терпеть всяческие лишения для торжества III Интернационала и приветствуем также венгерского товарища Бела-Куна! За здравствует Троцкий, долой соглашателей, все на польских панов! Следует 1639 подписей!»

Прочел хозяин. Вдохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица.

— Ну, что же... Ехать так ехать, как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в воду.

КОСЬМА МЕДИЧИС

Бродя по Большой Морской, остановился у витрины маленького «Художественно-комиссионного» магазина и, взглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я тоже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ».

«... Стоял сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бу-

мажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка, совершенно пожелтевшая, а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посредине...

Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

— Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

— Где? — удивился он. — Это? Помилуйте! Да это картина. Мы это продаем.

— Как продаете? Да кому ж это нужно? ..

— Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указывающего перстом на сверкающую калошу, и поднес это произведение к самому моему носу.

— Вот она, картинка-то! Купите, господин!

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Реми, Александром Бенуа, — и рассмеялся.

— А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает дикарская жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей; снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

— Что же вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показали этой штуки? Занятно!

— Купите! Замечательная вещь, — захопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. — Настоящая олеография! Это не то, что масляные краски... Те пожухнут и почернеют... А это — тряпкой с мылом мойте — сам чорт не возьмет!

— Цена? — уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уника для своей галереи.

— Четыре тысячи!

— Ого! И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку — «Дюбек лимонный» — шесть тысяч.

— Та ж больше. И потом на картон наклеена. Возьмите это во внимание.

— Ну, заверните. А фигур нет?

— То есть, скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: Диана с луком.

— Садит, что ли?

— Чего?

— Лук-то.

— Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слове) — настоящий, неподдельный гипс! Вещь — алебастровая! ..

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой, удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

— Скажите, фамилия этого нового покровителя искусства не Косьма Медичис?

— Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут у портного в мастерских служат и агромадные деньги нынче выработывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда, — вот они в валюту все перегоняют — вещи покупают. И, опять же, искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса постарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри Бердслеями, Ропсами, Билибинными и Александрями Бенуа.

Шире дорогу! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой — «Покупайте калоши «Проводник!»

ВОЛОДЬКА

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

— Что за фрукт? — осведомился я.

— Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?

— Да я уже все поделал.

— Ну, чорт с тобой! Стой себе. Да, так на чем я остановился?

— Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским ощутительная разница, — подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

— Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

— Каркнул Ворон: «Никогда!»

— Ого! — рассмеялся я. — Мы даже Эдгара По знаем... А ну дальше!

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

— Адский дух или тварь земная, — произнес я, замирая —

Ты — пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор

Занесли тебя, крылатый, в дом мой, Ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор,
Говори: пройдет ли рана, что нанес его топор?

Каркнул Ворон: «Никогда».

— Оч-чень хорошо, — подзадорил я. — А дальше?

— Дальше? — удивился Володька. — Да дальше ничего нет.

— Как нет? А это:

Если так, то вон, Нечистый!

В царство ночи вновь умчись ты!

— Это вы мне говорите? — деловито спросил Володька. — Чтоб я ушел?

— Зачем тебе? Это дальше По говорил Ворону.

— Дальше ничего нет, — упрямо повторил Володька.

— Он у меня и историю знает, — сказал с своеобразной гордостью приятель.

— Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя себя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

— ... Способствовал тому, что мало-по-малу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора...

— Постой, постой! Почему ты с середины начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?

— Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

— Какой странный мальчик, — удивился я. — Еще какие-нибудь науки знаешь?

— Знаю. Гипертрофия первого желудочка развивается при нормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сморщивающих плеврите и пневмонии, при кифосколиозе...

— Чорт знает что такое! — даже закачался я на стуле, ошеломленный.

— Н-да-с, — усмехнулся мой приятель, — но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли!

— Это, которое на обороте «Восточные облака»?

— Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

— Нам были так сладко желанны они,

Мы ждали еще, о, еще упоенья

В минувшие дни

Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем

Минувшие дни.

И как мы над трупом ребенка рыдаем,

И муке сказать не умеем: «Усни»,

Так в скорбную мы красоту обращаем

Минувшие дни.

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

— Чорт вас подери, почему вы меня дурачите этим вундеркиндом? В чем дело? Объясните просто и честно!

— В чем дело? — хладнокровно усмехнулся приятель. — Дело в той рыбе, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка?

А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбак скупает у букиниста старые книги, учебники — издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на заvertку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории Государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая...

Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

— ... Но Кочубей богат и горд
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей! ..

И то сказать...

Дальше оторвано...

— Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот.

У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

— А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

— То не Золя была, — деловито возразил Володька. — То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька...

— Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БРЕД

Это я не выдумал.

Это мне рассказал один приезжий из Петербурга. И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе...

Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая маленькая бредовая история.

Ежедневный большой прием наркома по просвещению.

Время уже подползало к концу приема, когда наступают сумерки и у наркома от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого дрызга опускает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки. Смотрит нарком на последних посетителей остолбенелыми оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью нагруженную голову.

— Ф-фу, кажется, все, выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный нарком.

И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом.

— Кто вы такие? — испуганно спросил нарком. — Что нужно, товарищи?

— Так что мы насчет березовых дров... — ответили серые фигуры. — Это дело нужно разобрать, товарищ!

— Какие дрова? Что такое?..

— Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана Всеотопом нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят: вам осталась сосна. Нешто этой сыростью протопишь?..

— Кто свез лучшую березу?

— Как кто? Трепетун!

— Да вы-то кто такой?

— Я от Перпетуна.

— А этот товарищ кто?

— Говорю же вам: Трепетун! Ну, вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали.

Нарком потер рукой пылающую голову и несмело повторил:

— Расскажите еще. Яснее.

— Да что ж тут рассказывать: раз Всеотоп выдал реквизиционную квитанцию Перпетуну, так при чем тут Трепетун? Он будет лучшую березу захватывать! Нешто это дело? Не Трепетуний это поступок.

Нарком уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун, но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю пролеткульта, показывать такое невежество...

Он только неуверенно спросил:

— Да как же так Трепетун мог захватить?

— А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил для склада и сторожей нашел, а Трепетун — на тебе! Изпод самого носа. Да я вам так скажу, товарищ, что у Перпетуна и склада нет. Все одно на улице будут лежать, разворуют.

— Нет, ты, брат, извини, — хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна, — Перпетун-то по бумажке получает, а Трепетун еще легось обращался в Всеотопу, и ему лично, без бумажки, ответили, что береза ему в первую голову.

— Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?

— А, по-твоему, кто же — Трепетун должен сосной топиться?

— Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!

— А Трепетун без квитанции, зато раньше...

И снова схватившись за пылающую, раскаленную голову, выбежал бедный нарком в канцелярию.

— Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?

— А кто его знает. По-моему, так: трепетун — это трус, который, так сказать, трепещет...

— Так-с. А кто же, в таком случае, Перпетун?

— Может быть, перпетуум? В роде перпетуум мобиле — вечное такое движение.

Вернулся нарком снова в кабинет в полном изнеможении.

— Так как же нам быть, товарищ?

— Кому — вам?

— Да вот: Перпетуну и Трепетуну.

— Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?

— А мы делегированы!

— Ке-ем?

— Перпетуном же и Трепетуном.

— Ну, так вот что я вам скажу, — простонал нарком, хватаясь за пульсирующие виски. — Пока они сами не придут, ничего я разбирать не буду.

— Кто чтоб пришел?

— Да вот эти... Перпетун и Трепетун.

— Шутите, товарищ! Как им, хе-хе, с места сдвинуться?

— Кому-уу?..

— Да опять же Перпетуну и Трепетуну.

— Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, та-

кие, эти проклятые Трепетун и Перпетун?.. Скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?..

И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:

— Неужто ль не знаете, товарищ? Я от Первого Петроградского Университета, а я от Третьего Петроградского Районного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.

РОМАН СО ВСЕМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Кроткая, доверчивая, золотоволосая мисс сидела у окна своего коттеджа и, грызя пуддинг, запивала это лакомство сода-виски...

Мимо окна уж несколько раз проходил совдепский комиссар Митька Перегрызи-Горло, но воспитанная мисс всем своим изящным личиком делала вид, что не замечает Митькиных авансов.

А Митька был, что называется, парень на загляденье, кровь с молоком: кожаная куртка, за поясом — два маузера, на ногах — новые высокие желтые сапоги-гетры на шнурках, в руках — гармония-двухрядка, которую Митька так растягивал, что она фыркала, сипела и задыхалась без воздуха... Занятный был игрок, каналья!

«Какой приятный кавалер», — думала мисс Альбион, глотая сода-виски и скромно потупляя в то же время глазки, чтоб Митька ничего не подумал.

Но знаток женских сердец, Митька, был уж тут как тут.

— Приятная погодка, — приостановился он у окна, ласково подмигивая, и рывкнул, в виде аккомпанемента своим словам, гармонией, — так рывкнул, что у мисс Альбион сжалось сердце.

— Да-с. Но мне нельзя с вами разговаривать. Мамаша заругается.

— Это уж их старушечье дело, чтоб ругаться. А наше дело — молодое: выходите за ворота, я вам на гармонии третий интернационал изображу...

— Ой, прилично ли? Что моя бонна-француженка скажет?

— Плюньте, мисс, с высокого дерева на бонну. Выходите, я вам такой подарок преподнесу, что, как говорится в ваших аристократических кругах, глаза на лоб полезут.

— А вы себе ничего лишнего не позволите?

— Я-то? Да ежели что, примерно, там, а никак, альбо еще что, то никоим образом, ежели что, вот оно что.

Эти полные глубокого благородства слова убедили добродушную мисс.

Она вышла за ворота и, сразу же обхваченная могучей рукой, прижалась к своему кавалеру:

— Ну, что вы мне хотели показать, покажите...

Митька полез в карман своего кожаного френча, вынул роскошный фермуар алого бархата и быстро раскрыл его перед восхищенными глазами мисс Альбион: на белом атласном фоне ослепительно засверкало русское сырье.

— Сырье? — восторженно воскликнула мисс Альбион. — О, как вы добры! За это я вас буду очень любить.

— А раз такой антиресный сердечный разговор и любовная дорога, то не зайтить ли нам в Вестминстерское аббатство. Выьем по чашке чаю, того-сего, я вам третий интернационал на гармошке ушкварю.

— О, мой любимый! За тот подарок, что ты мне сделал, я хоть пятый интернационал буду слушать.

Митька обвил талию мисс Альбион и, наигрывая одной рукой на гармошке «Вы жертвою пали», повлек свою мисс в Вестминстерское аббатство...

В этом месте скромный автор должен умолкнуть. Если он что и может сделать, это — передать перо в умелые руки своего старшего коллеги — Михаила Лермонтова. О, всего на четыре строки:

Сплетались горячие руки,

Уста прилипали к устам...

И страстные дикие звуки

Всю ночь раздавались там.

Спустя некоторое время старая мистрис Альбион стала замечать, что дочь ее просыпается не в духе, ходит одетая кое-как, носит чуть не до вечера широкие матине. А один раз старуха даже застала ее за портняжьем делом: дочь распустила пояс в юбке.

— Что ты делаешь? — подозрительно спросила она.

— Ах, мама! Ты же сама говорила, что Англия должна расширять свои границы.

— Да разве так? Постой, постой, встань-ка, что у тебя с платьем? Почему у тебя Индия на боку? Что это у тебя спереди? Египет покраснел и вверх полез? А Персия и Афганистан? С каких это пор ты стала таскать их на левую сторону?

Дочь заплакала.

— Мама, прости меня! Он ведь с благородными намерениями. Обещал содержать меня, сырьем, говорит, сколько угодно. Кормить, говорит, буду.

Заругала мать.

— Накормил! Энтот накормит! То-то после его корму и платье себе перешиваешь.

Плакали обе.

— А я думала: расширю немножко границы — никто и не заметит. Если б ты видела, какой он мне фермуар с сырьем поднес...

Все подлецы мужчины одинаковые.

Доверчивая мисс Альбион лежала бледная, обессиленная, совсем больная, когда раздался первый крик младенца...

Она слабо улыбнулась и спросила акушера:

— В сорочке родился?

— В кожаном френче. И за поясом два маузеренка.

— Он, кажется, кричит. Как приятно матери слушать первый писк ее сына... Что он кричит?

— Отречемся от старого мира... Долой буржуев! Вскрывай сейфы! На фонарь буржуя и соглашателя Ллойд Джорджа!

— Коммуненок! — взвизгнула мать, падая в обморок.

И тут только заметили, что ребенок рос не по дням, а по часам.

Но было уже поздно.

УСАДЬБА И ГОРОДСКАЯ КВАРТИРА

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последние три года повального, всеобщего, равного, тайного, явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств!

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками.

Да что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его сколько ни ташут, все растащить не могут?..

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное!

Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награбленное, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила — она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий ворота, и уже несут меня кони по длинной, без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи по русскому обычаю и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной ска-терти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудом на смородиновке, настоенной на молодых, остропахнувших листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ, и пыжится, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибков — домашние. И вот рыбки этой — из собственного пруда... А квасом прямо могу похвастаться: в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за липовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песнь косарей.

— Эй, — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. — По случаю приезда дорогого гостя выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вам вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым коврикам, а взор так и тянется к свежим, холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого кваса — вдруг ночью пить захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрины холодные... Нет? Ну, господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги. Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский...

Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что когда ты погасишь, за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на самом непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно поенная и кормленная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного, домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе — все спит, — плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит. Ясно, что когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет: голые стены с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... Выбитое окно тянет сырým ветерком, на полу — обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу — проломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Приехала сюда новая «власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызки засохшей колбасы, в угол поставили утащенный

откуда-то роскошный шелковый диван с ободраным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу — обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые, полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и ноги все время наталкиваются то на пустую консервную коробку, то на расплюснутую голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевшей от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые, с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел — и слава Интернационалу. День на ночь — сутки прочь.

Никто и не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеем...

Так и живут. Зайдет этаким в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стенке клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционеров и пить спирт-сырец.

Неприятно живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин новой России.

ТАЙНА ГРАФА ПУРСОНЬЯКА

В одном из московских кинематографов показывают картину: «Тайна графа Пурсоньяка».

Еще до начала сеанса в кинематограф набивается масса скучающей, угрюмой, полуголодной публики.

Топают ногами, как косяк лошадей, нетерпеливо дожидаясь той минуты, когда можно будет, забыв окружающую прозу, с головой окунуться в сладкий, одуряющий мир волшебной грезы, красоты и чарующего вымысла.

Электричество гаснет.

Темнота.

Чей-то голос, спотыкаясь на длинных словах, громко читает надпись на экране:

— «Тайна графа Пурсоньяка», или «Отцвели уж давно хризантемы в саду». «Граф Пурсоньяк потерял свою жену два года после свадьбы».

— Вишь ты, — раздался в темноте сочувствующий голос. — Отчего же это она так скоро скапутилась?

Другой, тоже невидимый, отвечает:

— Мало ли? Сыпнячок или просто соседи на мушкету взяли... «После жены у графа осталась дочь, которую убитый горем отец отвез учиться в монастырь».

— Вот тебе!.. И отец, оказывается, убитый! Не повезло семейке.

— Дубина! Нешто это совсем убитый? Сказано тебе: убитый горем. Значит, не до конца. А только почему это он дочку учиться сдал в монастырь? Нешто в монастырях учат?

— И очень просто: монастырь реквизируют, монахов по шеям, а вместо этого — школа! Штука проста. А это что? «Когда дочь выросла, граф поехал, чтобы взять ее из монастыря»...

— Ах ты, чтоб тебя... Граф-то, товарищи, оказывается, комиссар!

— Тю на тебе! Откеда высосал?

— На автомобиле ж едет! «В лесу он встречает дочь дровосека, Генриэтту»... Во, братцы, лесу-то

сколько, видали? Всю Москву обтопить можно! Хи, хи... Об чем это он с ней?

— Видимое дело, об дровах... Не может ли, дескать, ваш папаша нам возика два дров предоставить... Гляди, гляди — душит ее. Ай да граф!

— Дурень ты не нашего бога, где душит? Обнищает он ее, а не душит...

— Ах ты ж, империалист проклятый! Туда же!.. Хи, хи... До слез девку довел. А это чего? «В это время бедный дровосек сидел за своим скромным ужином»... Чего это он?.. Ах, чтоб тебя переехало! Ей-богу, винище трескает и сыром заедает! Вот те и скромный! А сбоку говядина и булка. Ай да скромный! Картинка-то французская? Ну и брехло ж эти французы! Дровосек, а? Хорош дровосек!

— А где же жена евонная?

— Надо полагать, в очереди стоит.

— И то. Этакое брюхо набить — в десяти очередях настоишься. Ага! Ружье со стены снимает... Ну, теперь баста! Сейчас же графа к стенке...

— Где же ты в лесу стенку найдешь?

— Ну, так, может, заборчик какой...

— Именно вот. Для тебя, дурака, построили.

— Мне не требуется.

— А не требуется, так и не лезь со своим заборчиком! Не знаешь ты французского поведения, так и молчи. У них первое дело: «Позвольте вас пригласить, мусью, на дуэль...» — «Благодарю вас, хоша я и не стреляю, ну, да уж только для вас!» А ты со своим забором, деревня!

— Нет, брат, тут другое... Ишь ты: «Заблудившись в лесу, на графа нападает волк, но дровосек убивает волка. Первый горячо благодарит второго».

— А что, товарищи, волков едят?

— Отчего же... Та же собака, только формат побольше.

— Да что же это они от волка уходят, даже не оглянувшись? Эй, товарищи! Съестное забыли!

— Чего кричишь, дура! Думаешь, услышат?

— Ты б ему по-французски крикнул, может, и обернется...

— «Часть вторая. Приехав в город, ничего не подозревающий отец заходит в магазин»...

— Это чего же такое? Ах, чтоб ты провалился! Ведь это он, товарищи, мануфактуру покупает.

— И без очереди.

— Без ордера от Совнархоза!

— Да, может, он сам ее реквизирует!

— Дровосек-то?

— А дровосек-то не может быть комиссаром?

— «... А в это время старый фермер, крестный Генриэтты, сидя у себя в саду, попивал вино»... Эк их распяствовало!.. Все тянут! Интересно, откуда этот старый чорт вина достал?

— Самогон, я думаю.

— Темный-то? Орясина! Самое настоящее красненькое.

— Ну, значит, реквизировал.

— Да ну вас всех к чертям! Пойдем, ребята!..

При выходе.

— А что, товарищи, смотрели вы картину? Стоящая?..

— Не особо чтобы. Дело, видите ли, в том, что у комиссара жена от сыпнячка кончилась, а он, осерчавши, всех монахов из монастыря повыкидал, а дочку туда и втисни. Реквизировал автомобиль, да и давай его по дровосековым дочкам ездить. Не стерпел этого сйный папенька, уложил съедобного волка и реквизировал всю мануфактуру. Как говорится: завей горе веревочкой! Только всего и видели!

Н
ЖВНЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тарас тут же, при самом съезде в Сечь, встретил множе-

ство знакомых лиц . . . Только и слышались приветствия: «А, это ты, Печерица!» — «Здравствуй, Козолуп!» — «Здорово, Кирдяга!» — «Здорово, Густый» . . . — «Думал ли я видеть тебя, Ремень».

И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?»

И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кивикирменом, что Пидсышкова голова послана в бочке и отправлена в Царьград . . . »

Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уже скоро побегут красные, что падет скоро Москва и сдастся Петроград.

Без толку, зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи — все сплошные Керенские, Черновы и Гоцлиберданы: «Приближается конец! Бьет двенадцатый час». Им ли, выращенным в затхлом кабачном воздухе швейцарских кофеен и пивных, было дано учуять двенадцатый час нашей родины? Без толку, как попугаи, картавили они: «Бьет двенадцатый час! Бьет двенадцатый час!»

И вовсе не бил он . . . Это шел пятый, шестой, седьмой час . . .

И вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце почуяло этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек: «Бьет двенадцатый час! К расчету! . . . »

С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пыхтящая от натуги, понесется как бешеная на север вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну, набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес: «Что там? Что там? Что там? . . . »

Там у них все! Жены, оторвавшиеся от мужей, мужа — от жен, дети — от родителей, там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминания — там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито и о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу:

«Что там, что там, что там? . . . »

Поймете ли вы ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца, когда он впервые спрыгнет с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами, оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III, выбежит на ступеньки вокзала и . . . поползет кверху бровь его:

— Где же памятник? Его нет! То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет — исчезло!

Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом и видит с ужасом, что у этого друга нет носа! Провалился нос!

Вот такое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий, осмеянный, в свое время облитый ядом очередной петербургской иронии, но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой дани царя-«миротворца», как неотделимая часть нашего прекрасного колдовского, волшебного Петербурга! . . .

Нет памятника. Провалился нос на лице.

И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду.

И пойдут тут же поцелуи и взаимные приветствия: «А что Парфентьев? Что Николай Иванович? А где Полосухин? А что поделывает Горбачев?»

И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба, что расстрелян Полосухин за саботаж, что умер Парфентьев, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсякова — все, все «сошли под вечны своды».

Вздохнет только приехавший петербуржец, свесит голову и тихо побредет по Невскому . . .

Батюшки мои! Да разве же это Невский?! Где его великопепные человеческие волны?! Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, вся та сложная симфония, которая слагается из людской молвы, конского топота, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс?

Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, униженные сплошь так, что и для визитной карточки нет места, обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой, шумной рекламы — лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы?

Молчит немая улица, угрюмо принахмурились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды — вывесок — дома.

И только внизу, у самой панели, виднеется белая пена декретов, постановлений и воззваний.

Ужасная улица — это быллой красавец Невский: тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде челе его.

Но идет все дальше, все дальше петербуржец — и вот уже его улица, вот уж его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался . . .

«Что там, что там, что там? . . . »

Цела ли обстановка? Осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые, грязные стекла и сорванные с петель двери . . .

Дворник встречает его в воротах, — тот же дворник: это уцелеют при всяких режимах и переворотах!

Но что это? Чудо из чудес! Сдергивает поспешно с головы шапочку этот всероссийский привратник, и в глазах его настоящая, сияющая добродушной радостью ласка и приветливость.

— Да неужто ж барин? Вот-то радость какая, господи! Заждались мы вас! Шутка ли — сколько лет! . . .

— А что . . . моя . . . квартира? — с тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая как родного, как кровного брата сияющего дворника.

— Цела-с, пожалуйста! Сохранили! Пианино, правду говоря, маленько «яблочком» расшатало, да абажур в гостиной разбили . . . Вот-с ключик.

Сладостное, чудесное ощущение!

Моя старая квартира! Мои картины, мои книги, на страницах которых, может быть, остались следы неуклюжих жирных пальцев, но тем дороже вы мне, мои книги, потому что этим самым вместо одной две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать, прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом уцелевшее под откидным сиденьем оттоманки.

А когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали: «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьеры», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу, в которой так призрачно, еле намеченно светят матовые шары фонарей, когда окунется он в этот суетливый гомон огромной столицы, — схватится он за голову и подумает громко:

— Сон то был или явь? Наваждение, бесовское действие или . . . на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное «моменто мори»? . . .

НИКОЛАЙ ЖУЗ (МЛ.)

Концептуаль автобиографическая

Имя тебе?

А на кой? И провести по какой
жеваной, слезной, рыжей, как ржавь, статье?
Если осмелишься, выверни прямо к судьбе, как те,
что безоглядно этим гулким берегом шли,
подобны — в пыли, маячившей за двумя холмами зиме,
и последний,

молодой еще, только тысячелетний
сквозь ждущее, навзничь брошенное пространство,
презираем законами постоянства¹

(«Чем ночь ночней, тем день рассветней!»)
к коленям от губ через выпуклости и завитки
бросился, Ироду равный во тьме,
донною глиною рваной реки,
как по колени в дерьме.

И так все 593 км.

Ну, а если твой лик сейчас обращен к Тургаю²,
и прописанный в складне³ житель верблюду,
перебравшись к самому краю
наконец-то нащупавшего равновесие метромоста,
пепельным ветром сакраментально⁴ продут,
еще не послал тебя складно и просто
куда-нибудь мимо Фроста⁵ ближе в Прусту⁶
или далее — к Малларме⁷,
расположись поудобнее, скажем, вон там впереди — на

разворачивающемся судна (в просторечии «сухогруз»),
и следи, что не трудно:

освободясь от пристрастий и уз, —
точь-в-точь мурена, уставшая соблазнять пирайю,
сопровожаемый робким пиликаньем муз,
протяжно парит меж золой и глаголом «сгораю»
младший, стало быть, «киши» Жуз⁸.

Смутно

под комариное соло,
колотящееся об углы,
исчезали во мглу, появляясь из мглы.

И ты, слушавший исправно, заполнявший к сроку,
осознавший: тем — инородец, тем — иноверец,
с подкупающей грацией шкафов дверец
доверяясь востоку, то бишь полуденному керогазу
в тени каучукового кок-сагыза
над облысевшим створом Иргыза⁹

по слогам сложил говоримое: «... пожелаю!

Только поклонись угоднику Николаю,
пожалую — дам имя тебе».

Узкоока, нага... И ее нога по утрам
перетянута лентой, светлой, как шрам
на грядущей судной трубе.

¹ См. ниже

² Тургай — река в Казахстане, теряющаяся в бессточной впадине Шалкартениз.

³ Складень. Здесь — не «складной предмет, состоящий из частей, соединенных шарнирами» (по С. Ожегову), а некое произведение, возможно поделенное на главы.

⁴ Здесь ближе к выражению «традиционно», «по обыкновению».

⁵ Роберт Фрост — американский поэт, трудно перенесший утрату живого контакта между человеком и природой.

⁶ Жозеф Луи Пруст — французский химик, сформулировавший в прошлом веке так называемые законы постоянства соединений.

⁷ Стефан Малларме — французский поэт-символист, автор драматических фрагментов «Иромана».

⁸ «Киши Жуз» — такое название («Младший Жуз») носила группа казахских племенных объединений. В 1731 году казахи «Младшего Жуза» добровольно вошли в состав Российской империи.

⁹ Иргыз (Иргиз) — правый приток Тургай, длина его 593 км.

Концептуаль апокалиптическая

Направо-налево по штрафке
печально бродили они,
читатели Кафки,
иные — радетели бриджа и ралли,
чьи скромные справки,
оттиснутые по спирали¹
на тонких былинках, что к небу уютно взлетали,
покорны ветрам, убывающим в степь под Херсон,
гудя в унисон
щебечущим птицам, по лицам, прошедшимся грозно²,
гласили:

«Не поздно! Не поздно!

Любите! Пусть каждый сыграет заглавную роль,

Пока новоявленный Моль³

еще не вернулся обратно —

оставить повсюду, возможно, научные пятна».

А то бы увидели все,
как, впрягшись опять в пополамный скелет виадук,
предчувствием звука
за станцией сразу, а может поближе к шоссе,
пугая привычным отсутствием альтернативы,
хотя и красив, как на воинских картах красивы
стерильные стрелы⁴,
за кортами в спелом овсе
взойдет, погасив на мгновение свет,
тот страшный предмет —
из черной дыры, из материи, после сдвиганья
понятия «молния», из глубины подсознания,
застынет, живым пятипалым отростком согрет,
являя собою и вечный вопрос, и ответ,
но сам-то по виду решительный, пенный,
дрожащий и кривоколенный.

Сказать ли о сути предмета? . . .

Он желто-телесного цвета,

нежна оболочка его,

а ножка упруга, раздвоенна и лиловата,

тупая головка сияет,

как перстень в четыре карата⁵,

как черное солнце потопы . . . Когда

зальет эту скушную землю большая вода,

которая не извиняет,

а гибель читателям Кафки несет,

радетелям бриджа и ралли, —

кто их пожалует и кто их спасет?!

Печальную дань собирая,

прими ж и меня, переростка, судьба роковая!

И я, задохнувшись в густом аммиачном чаду,

уйду, умоляя⁶:

¹ Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты состоит из двух полинуклеиновых цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль. Она и составляет основу генетического кода у всего живого.

² Образ лишь внешне сообщается с хичкоковскими птицами (см. «Птицы», 1963 г.).

³ Гуго Моль — германский ботаник, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1854 года. Ввел понятие «протоплазма», деление клеток и предложил классификацию растительных тканей.

⁴ За каждой из таких стрел — моря крови, но на картах они выглядят очень стерильно и импозантно.

⁵ Имеется в виду, понятно, только драгоценный камень, украшающий перстень. Но выражение «перстень во столько-то каратов» сделалось идиомой.

⁶ Так у автора. Конечно, не принято оканчивать произведения двояточием. Правда, в пушкинские времена столь же неприкрытым выглядело поставленное заключительной строкой «Но если . . .»



Концептуаль лирическая

О чем ты молчишь, изумляющий странник,¹
 ночью, пустой, как ведро опрокинутое?
 Не надо бояться!
 Пора до шестой² прогуляться
 по следу подошв афродитной знакомой
 в неведомый нашему миру предбанник —
 гнездо родовое, покинутое,³
 где ползают кучно кирпачные⁴ веники,
 а вдаль по решеткам хохлатые скачут оленихи.
 Плечом отирая упругия перья,
 поет: «Вас, конечно, узнала навеки теперь я,
 в обманное счастье не веря . . .»
 Их славные ноги колонной длины,
 а в зеркале сложные складки видны и не тают,
 невинны, как ласточек прочие сны,
 и две боевые малины под лампой волнисто летают.

Отметь рождество на субботнем воскреснике.
 Постучи по доске роково на воскресном субботнике,
 коль обстанут тебя шалапутные твои крестники,
 баламутные твои работники.
 И еще помолчи, чтобы лучше взялось, изумляющий

гнездо родовое, покинутое,
 где шестой⁵ мотылек упорхнул за грибной подоконник
 и на травы прилег, и айва доцветает, покоя пока не тая,
 где совиное рыло и кувшинное рыло
 над отвестной аллеей парят сизокрыло,
 и атлет с веслом
 поражает числом —
 пламенный взгляд уставя,
 каменный зад отставя,
 он взмахнул театральным мослом,
 беспросветно гордясь непростым своим ремеслом.

Домолчи, изумляющий странник,
 изначально, долгой судьбою положенное,
 из сердечной сумы доселе не вынутое —
 и вспомнится: с кудрявой иглой в плоскодонном гербе
 гнездо родовое, покинутое,
 на шестом осциллографе по шкале к запятой отложенное.
 Расскажу лучше сказку тебе:
 «Это в путь выбирался с приватным Пушком⁶
 на презрительной кольской губе . . .»
 «Это кто ж расстарался скользким броском:
 от банд МУРа⁷ в Фонд мира?! . . .»
 Это чувство шестое рассудительного пассажира —
 среди увечных, калечных, всегда остроносых
 жареным шурином⁸ пахнет разительный деверь⁹.
 Босх желанный восходит в заплатах и розах.
 С акватории горькие айсберги тянут на север.

¹ По аналогии с некоторыми полотнами Босха, где среди многочисленных персонажей вдруг видишь некоего странника, отстраненно следящего за изображаемым действием.

² «Шестая» — на блатном жаргоне «опасность».

³ Исключительно для непосвященных или забывших: Петр I, ссылая на Кольский полуостров провинившихся офицеров, ставил визу: «К е . . . матер!» Екатерина II по скромности сократила сей текст до трех букв: «К е. м.». Отсюда название города Кемь — так, во всяком случае, гласит одно из преданий. Здесь образ употреблен почти в аналогичном смысле.

⁴ Кирпачные — курносые.

⁵ А здесь числительное употреблено в своем обычном значении.

⁶ Это просто собачья кличка.

⁷ Московский уголовный розыск.

⁸ Брат жены. «Жареный шурик» — выражение Юрия Смирнова.

⁹ Брат мужа.



Концептуаль живописаная

Акварель: «Отыщи заменитель жиров
 и в меню это место отметить»¹. Без смущенья
 проводи инженеру через все помещенье
 до купе на законное место.
 Лестно жечь симбиозуку жил вместо дров?
 Обходились и ею, известно . . .
 Ты ведь жил, сколько помнишь, у случайных костров.
 А вагон — это все-таки кров.
 Жилы тоже становятся чутче и — параллельно — старше.
 «Шагом арш!» — прокурлычет вдогон заместитель Петров
 и крылами перрон укрывая, потянется к югу.
 «Будь здоров! — огибая Калугу,
 подмигнет полчас полумесяцу, — будь здоров!»
 Прямо сквозь предгорье, угрюмо неся околесицу,
 самомненье пахнет с inferнального севера
 гарью п/я² и свежестью клевера.

Там, где дремлет любовное полубабы³
 нагишом на дешевых оборках,
 где царит инженеру, и пред ней отраженье ее —
 платье, распятое на чистых, но чуждых подпорках,
 там, где она сама, словно обесструенная лира,
 утратив кофточку, юбку и нечто в кружевном инее,
 предназначенное для обеих половинок голландского сыра,
 а последним — кроссовки и трикотажно-шелково-синее,
 окаменела,
 не удосужась прикрыть дикой розою треугольник,
 соблазняющий, хотя и лишенный прав, —
 ты, доклевав неизбывный рассольник
 и серьезную ногу задрав,
 все равно поникаешь слепой головой:
 «Я не прав?»
 Ну, конечно, не прав!

Освищи освежающий марш, заместитель Петров!
 Улыбнувшись в стальные усы «а ля Верди»⁴,
 остальные часы компенсируй!
 Наиболее прав напрямиком спешащий к кассиру
 и на тверди паркета грассирующий:
 «Возмести, дорогой, заменитель жиров!»
 Наважденью иных миров,
 нам бы, вестимо, сделав знак полубабыей немой толпе,
 скользнуть из купе в коридор, как в качанье палуб, но
 ждущая инженеру столь же праздно, жадно и жалобно
 требует и т. п.
 Все же пока эта страшная кисть над листком,
 как над краем предназначенной для Р-400⁵ аппарели⁶
 не взорвалась привычно-кривым мазком,
 у нас есть еще время достичь ползком
 следующей акварели.

¹ Еще не все живописцы перешли на номерное обозначение своих полотен. Некоторые предпочитают длинные, все расшифровывающие и поясняющие названия.

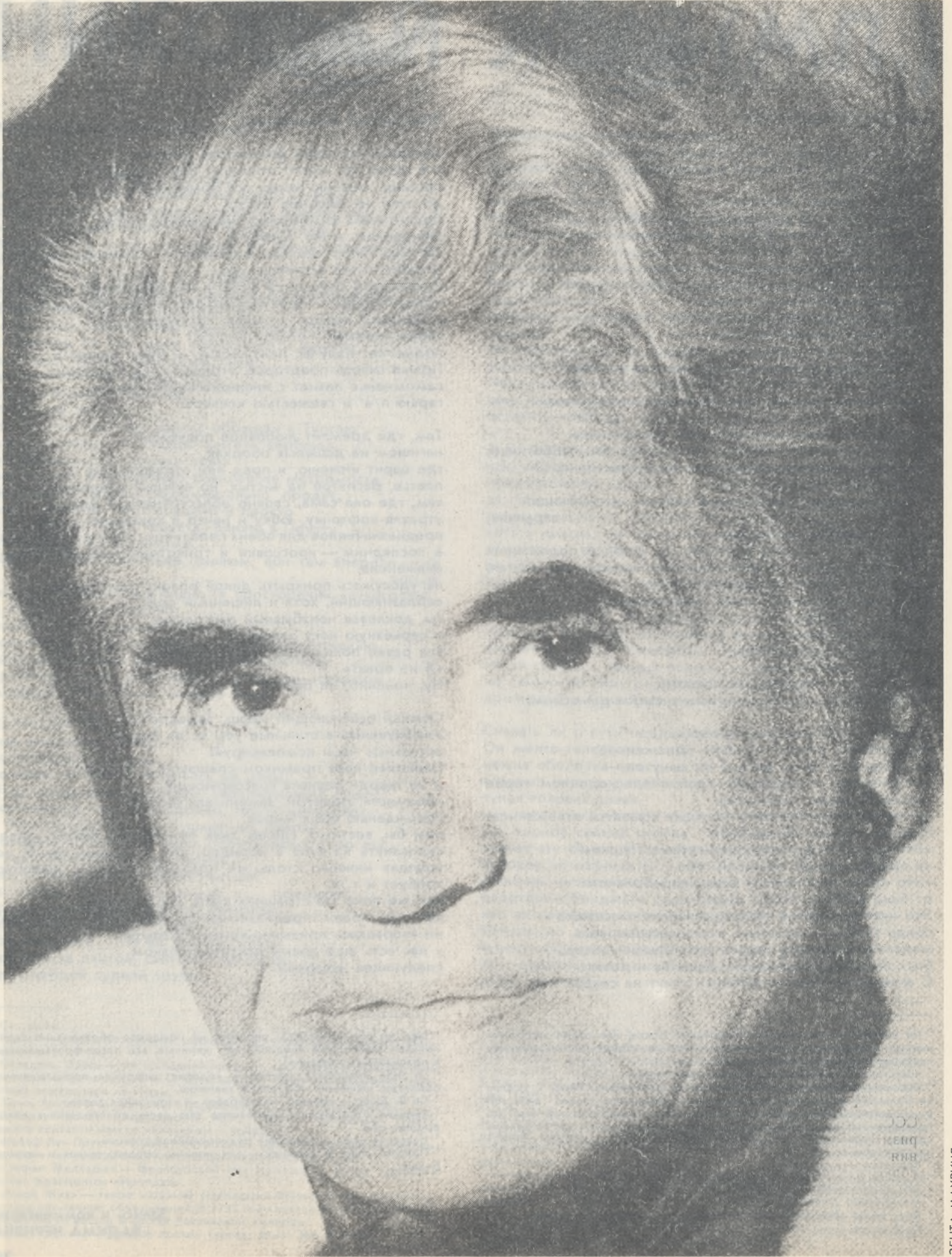
² То есть «почтовых ящиков» — кодовая шифровка промышленных объектов, имеющих оборонное значение.

³ По В. Далю — «девки». «Полубаба» — зарученная девка.

⁴ Великий итальянский композитор всю свою долгую жизнь носил пышные усы.

⁵ Название ныне устаревшей радиорелейной станции.

⁶ Пологий спуск в траншею — для укрытия орудий, танков и автомобилей.



СССР
КЕНО
ЛНН

ЗЕНТА МАУРИНЯ

ДВА КОРНЯ КУЛЬТУРЫ

Я пропутешествовала по столетиям, побывала в гостях у гениев, наблюдала жизнь вблизи и издалека, и все в поисках ответа, чем отличается человек от животного, ведь сходство человека с животным ужасающее. Эпохи войн и катастроф обнажают сущность человека; его величие, равно как и никчемность, выступает вполне рельефно. В дни решающих испытаний во весь свой сверхъестественный рост встают герои. Еще вчера это были обыкновенные люди, а сегодня народ взирает на них с гордостью, как на своих подлинных сыновей. Но рядом с геройством обнажаются и ничтожество людей, и зло, столь уродливое, что порой кажется — мы не жизнь наблюдаем, не страницы Жизни перелистываем, а «Капричос» Гойи, где монахиня принимает облик ведьмы, монах — вид развратника, и ослы, свиньи и бараны уже неотличимы от людей. «Человек по сути своей дикий, ужасный зверь. Мы знаем его главным образом в состоянии самообладания, именуемого цивилизацией».¹ Шопенгауэр называет человека единственным животным, которое доставляет другим боль без причины, без необходимости (ор. cit. 219). А Гобино именует человека злым животным по преимуществу — *l'animal méchant par excellence*. Если пойти еще дальше в прошлое, можно было бы упомянуть Софокла, выдающегося знатока людей, сказавшего: «Кто человека копнет поглубже, тот всегда обнаружит зло».² И Сервантес, который в поисках человека-рыцаря составил календарь людских пороков, заставляет своего мудрого философа, пса Сипиона произнести: «Тяга к причинению зла заложена в нас с рождения, и потому обучиться этому нам ничего не стоит».³ Наконец, из современных писателей в качестве одного из тех, кто защищает учение о радикальном зле в человеке, упомянем немецкого поэта и философа Э. Юнгера.

Мы, пережившие уже вторую мировую войну, претерпевшие год удушья, мы знаем, что так оно и есть: человек крайне дурное животное. Но наперекор объяввшей его тьме в нем есть зачатки того корня, из которого вырастает древо культуры, купно ветвясь в искусстве, науке, религии, любви и дружбе. Что это за корень?

Одно время я разделяла мнение Паскаля, который вслед за Плотиним утверждает, что лучшим украшением человека служит мысль, она придает ему величие: «*La pensée fait la grandeur de l'homme*». Прожив какое-то время в его угарном и аскетическом мире, я не смогла в нем остаться: если мысль и отличает человека, осознающего свое положение, от всех прочих созданий, то она еще не делает его добрым существом, этически ценным, пользуясь латышской терминологией, — белым, то есть прекрасным, человеком. Мысли могут быть божественные, но могут быть и дьявольские. Мефистофель тоже мыслит и думает,

что все сущее стоит лишь того, чтобы погибнуть. Разум, этот данный человеку небесный свет, еще не оберегает человека от животного состояния: «Он эту искру разумом зовет / И с этой искрой скот скотом живет».⁴ Укрепляя в человеке разум, мы отнюдь еще не развиваем в нем этические ценности. Фауст окончил не один факультет, Мефистофель еще более искушен в знаниях, но кто скажет, что Мефистофель — этически ценное, культурное существо?

Одно время, отрешившись от внешнего мира, я жила в сумеречно мерцающем монастыре русского христианского мистика Соловьева. Соловьев именует человека животным, которое стыдится. По его мнению, важно не то, что человек испытывает стыд, а то, чего он стыдится: человек стыдится своей скотской сущности, животной функции, тем самым доказывая, что возвысился над своей животной природой, над биологическими функциями, связывающими его с животными. Это глубокий вывод. Но он чересчур уж отрицает сущее, натуральное, обращая биологические потребности в стыд и самого человека в постоянного грешника. Беспреданное чувство стыда культивирует в человеке самую опасную из всех бактерий, вредителя всякого вольного и цветущего бытия — ощущение неполноценности.

Покинув Соловьева, устав от мистического дурмана, я стала искать прибежище у кенигсбергского великана, в самой что ни на есть отрезвляющей философии. Кант в качестве отличительного признака человека упоминает достоинство, указывая, что любая вещь имеет цену, а именно относительную ценность, и лишь человек имеет свое достоинство, а именно внутреннюю, абсолютную ценность: «Что имеет цену, может в то же самое время обладать еще и другой, относительной ценностью, и напротив — что выше всякой цены и таким образом преодолевает свою относительную ценность, обладает достоинством...»⁵ Эта мысль, буквально завораживающая в первый момент, при дальнейшем, углубленном рассмотрении не удовлетворяет. Для Канта достоинство человека зиждится в морали и мораль — в человеческом достоинстве. Получается мыслительный порочный круг.

Побывав на самых разных континентах, я вернулась в мир латышских народных песен. Там нашла я гелиоцентрическую силу — первичную клеточку этического человека, корень культуры: благоговение, которое наш многовековой мир дайн роднит с «символом европейской культуры» Гете.

Попробуем заглянуть в сущность благоговения.

Благоговение — это вера в то, что в людях и вещах присутствуют божественная сила и порядок, все взаимосвязывающий и всех себе подчиняющий.

Благоговение — это сила деликатная, которая способна

¹ Шопенгауэр Артур. *Parerga und Paralipomena*.

² Гобино Жозеф Артюр де. О неравенстве человеческих рас.

³ Сервантес Мигель де. Назидательные новеллы.

⁴ Гете Иогани Вольфганг. Фауст, ч. I. Пер. Б. Пастернака.

⁵ Кант Иммануил. Обоснование метафизики нравов.

к молчаливому почитанию. Оно сокрыто в ощущении того, что силы нашего разума, какими бы утонченными они ни были, имеют предначертанные пределы: тайна жизни, смерти и любви заключена в глубинах, на которые не удалось нырнуть еще никому.

Животное ведает страх, только человек — благоговение. В страхе животное дрожит перед наказанием, в благоговении человек затаивает дыхание от восхищения. Человеческому, уподобляющемуся естественному, примитивному животному, любая власть, знакомая и неведомая, внушает страх, от которого он пытается отвязаться, а культурный человек, переживающий благоговение, чувствует только недоступные ему богатства.

Кому знакомо благоговение, тот знает, что самые прекрасные вещи не купишь за деньги и самые глубокие — не выразишь в словах. Настроение благоговения — это торжественно-ликующая серьезность. Символически благоговение выражается в склонении головы, противоположность благоговению — в пожатии плечами или засовывании рук в карманы.

Благоговение следует отличать от респекта. Респект, уважение вызывается авторитетом и законом, благоговение лелеется в душе. Приказами его добиться невозможно, точно так же, как нельзя заставить полюбить.

Сущность благоговения — почитать и беречь не только полезное, не одно лишь доставляющее нам практическую пользу. Где в почете одно лишь полезное, там рушится культура. Опираясь на принцип полезности, мы никогда не поймем, почему пустующие по будням церкви нельзя использовать под гастрономы, а просторные кладбища — как спортплощадки. Культура коренится в сознании, что нам необходимо и то, что пользы не имеет. Греческая амфора должна храниться несмотря на то, что каши в ней не сварить, и памятник Свободе неприкосновенен, хотя на мощение дорог и возведение домов не хватает камня.

Где исчезает благоговение — воцаряются хаос и нигилизм.

Благоговение проистекает из ощущения дистанции. Природа не по справедливости оделяет своими дарами людей, и смысл культуры в том, чтобы те, кто лишен выдающихся способностей, помогали беречь их тем, кто этими дарованиями наделен. Сама природа пожелала, чтобы известная дистанция отделяла одно существо от другого. Сама природа против нивелирования. Какая дистанция в пчелином улье между пчелой и маткой! Матка неприкосновенна. Рабочая пчела использует свое жало против трутней, паразитов, но никогда не обращает его против матки. Энтомологи говорят, что рабочая пчела никогда не осмеливается стать убийцей матки. Две матки в одном улье жить не могут, одна из них должна его покинуть или умереть, но только матка имеет право убить матку. Пчелы потому лишь могут возводить свои восковые постройки, что они признают иерархию. От машин можно требовать скрупулезной одинаковости делаемого, но от живых существ — нельзя. Загляните в пчелиный улей: пчелиная матка то лишь и делает, что позволяет себя кормить и рождает потомство. А рабочие пчелы, — символически говоря: творящие свет, — вырабатывают воск, другие опять же собирают мед, третьи — архитекторы, строящие математически рассчитанные ячейки. Энтомологи установили, что половые органы матки развиты за счет мозга; напротив, у рабочих пчел мозг развит за счет половых органов. Что важнее? Рожать потомство или собирать мед и вырабатывать воск? Абсурдный вопрос. Важно, чтобы каждый выполнял ту задачу, к которой он лучше всего приспособлен.

Кому ведомо благоговение?

Есть люди с тонкой нервной организацией, которые уже рождаются с чувством благоговения в душе, но многие умирают, никогда не испытав его. Точно так же, как появляются на свет люди с естественным стремлением воздеть руки в молитве, так есть и люди, которые рождаются с тягой сжать пальцы в кулак. Есть люди, кто, и не посещая высшую школу, знает, что на Братском кладбище не раскладывают о ценах на сало, а у других дома на стене висит

несколько дипломов под стеклом, но они прикуривают у алтаря папиросу. Благоговение, подобно музыкальности, может быть в большой мере врожденным, это, однако, исключения. В основном благоговение прививается в семье и школе. Если мы встречаем человека, который умеет преклонить голову и молчать перед лицом сокровенной тайны, мы невольно задаемся вопросом: кто были его поводыри, где он воспитывался?

Попробуем теперь обрисовать основные качества, характеризующие человека благоговящего. Для переживания благоговения необходимо прежде всего проникнуться святостью, познать нечто более высокое, нежели человек. Есть люди, рассуждающие обо всем так, будто они стояли возле Бога в шесть дней творения. Ожидать от них благоговения — все равно что требовать от глухого исполнения «Лунной сонаты». И во-вторых: прочувствовать благоговение способен только сильный человек. Слабый, склонив голову, трусит, что упадет и больше не сможет подняться. А сильный знает, что, преклоняясь перед великим духом, он сам поднимается до высот. И третье: только благодарный человек способен испытать благоговение, человек, воспринимающий великое и прекрасное не как нечто само собой разумеющееся, а как дар. Нам уже неоднократно приходилось указывать в своих работах, что рыцарь Дон Кихот благодарный человек, а слуга Санчо Панса не ведает благодарности, в его примитивном утилитаризме невозможно нащупать тонкую струну благоговения. И в-четвертых: благоговение связано с верностью: нет смысла хранить верность тому, кто «пожимает плечами». Дон-Жуан верности не знает, и кто станет утверждать, что Дон-Жуан испытывает благоговение?

Есть два вида благоговения: в благоговении скрыто либо восхищение чем-то высшим, что мы почитаем, на кого хотим равняться, или же сострадание слабому, которого мы хотим оберегать и защищать. Культурных людей и культурные народы можно подразделить на две группы, в зависимости от того, развито ли в них по преимуществу стремление поклоняться или же стремление помогать, иными словами: либо склонять голову перед тем, кто более велик, чем мы, или же склоняться над тем, кому труднее, чем нам. Латышскому сердцу ближе второй вид благоговения. Есть в наших народных песнях и благоговение перед тем, кто выше самого человека, благоговение перед добрым орастом, защитником сирот, хранителем душевной чистоты — белым (прекрасным) Боженкой, также и перед вершительницей судеб Лаймой, перед Солнцем, чья ласковость сравнима разве что с нежностью материнской. Древний латыш, поев, попив, не забывает отдать Богу богово. Когда Бог входит в комнату, полагается встречать его молча, в ожидании Бога и счастья надо чисто подмести дорогу: «Знайте стыд, молодые девушки, / Уберите деревья с дороги. / Боженка скачет верхом, счастье едет, / Падает счастья жеребчик» (1073, 1. Подстрочник).

Но в этой и подобных ей народных песнях — дайнах нет той громадной дистанции, которая прослеживается у других народов между тем, кто благоговит, и тем, перед кем благоговит. Латыш употребляет имя Бога и Солнца в уменьшительной форме: так близки и дороги они ему в его ощущениях. К виду благоговения, почитаемому то, что выше самого человека, следует причислить и благоговение перед трудом, красотой и особенно перед жизнью. Немного найдется таких народов, которые, уходя в загробный мир, продолжали бы совершать работу, начатую на земле. Пожалуй, только древний латыш за вратами рая пасет скот, прядет, сеет и пашет. Принципы древнелатышской этики удивительно ясны: только тот человек хороший, кто трудится, но достоин восхищения тот, — сегодня мы бы сказали: личность, — кто выполняет художественную работу. Весьма велико число таких дайн, где проявляется благоговение по отношению к красоте, безразлично, красота ли это стана, одевания, песни или природы. Злые люди завидуют, а люди добрые вместе с Боженкой радуются «красивым песням» и белым чулкам, которые ярко выделяются под черными юбками. И если красивая фигура и красивая

одежда еще как-то связаны с представлением о пользе (красивая фигура свидетельствует о здоровье, красивая одежда — о прилежании и богатстве), то радость звучного пения, радость при виде серебра и золота реки, которое не превращается в деньги, недвусмысленно указывает на то, что для древнего латыша красота самоценна. Но еще более полифоничным, чем благоговение перед трудом и красотой, выступает в наших народных песнях благоговение перед самой жизнью. Сколько я знаю, только в латышском и литовском языках одно и то же понятие жизни имеет целых три обозначения: «дзиве», «дзивиба» и «мужс». Одно только это богатство выражения уже свидетельствует о том, как упорно и благоговейно цепляется за жизнь латыш: чему мы уделяем наибольшее внимание, тому посвящаем самые разные слова.

Почитание других, которое проявлялось бы в благоговении перед существом равным, в наших дайнах встречается лишь изредка, потому что для латыша, который держится особняком, однодворцем, испытывающим внутреннюю потребность жить на особицу, «крутиться вокруг себя», проблема я — ты есть нечто чуждое. Ум латыша не устремлен к ойкумене. Благоговение перед близким человеком проявляется в тех немногих песнях, где добрый человек подает доброму же человеку стул, один другому выказывает почтение, желает доброго утра и Бога в помощь: «Парень парня уважая, / Сорвал с себя шапку» (6591). Или: «Я не был таким гордым, / Как другие сыновья отца. / Я сорвал с себя шапку, / До земли поклонился» (13207).

Благоговение перед существом, равным себе, проявляется в доброжелательности брата по отношению к сестре и наоборот. Брат сам идет пешком, а сестре уступает коня, чтобы не замочилась складочки ее юбки. Выехав вместе с сестрой, он придерживает коня, чтобы сестра могла украсить себя белым черемуховым цветом. Брат сильнее сестры, поэтому он чувствует себя обязанным ее защищать и радовать. Уважение к сестре великолепнее всего передано в песне: «Знайте стыд, чужие люди, / Встать извольте, / Ведь вошла наша сестрица, / Цветущая как черемуха» (18893). Вспомнишь эту песню и невольно подумаешь: сколько сегодня таких братьев, которые приглашают чужих людей встать только потому, что вошла сестра?

Древнему латышу ведомо и благоговение перед самим собою, но не в такой степени, как народам рыцарей, где за оскорбление чести расплачивались жизнью. Есть целый ряд дайн, воспевающих собственную честь человека, которая ему дорога, воспевающих доблесть. Красна девица, блюдя свою честь, с гордостью произносит: «Говорите люди что хотите, / Я своей чести не уронию». Здесь благоговение перед собой, честь — это незримый венец, ореол красной девицы. Все это прекрасные песни, но отдельные, их мотив лейтмотивом дайн не является. Это не тот вид благоговения, который связан с восхищением или самосознанием, но тот вид его, что увязывается с состраданием, сочувствием. В тяжелых условиях жизни латышей любовь к ближнему расцвела, как прекрасный, опьяняющий цветок в глухой чаще леса. Говоря о добродетелях и пороках того или иного народа, надобно отличать изначальные качества от приобретенных в ходе истории. Пахарю присущи кротость и смирение, а нынешнему латышу, и отрицать это невозможно, — жестокость. Беспощадность латышей вызревала в частых войнах, где надо быть твердым и беспощадным, чтобы не погибнуть. Той жестокости, которую мы наблюдаем сегодня в латышском народе, не знают народные песни. Кровавые подвиги, реки крови, текущие в «Калевале», нашим дайнам неведомы. Правда, добрый молодец поет: «Лучше пусть бы меня на войне побивали, чем на обочине дороги», — но латышу известны только оборонительные войны, а не наступательные. Война для латыша — это не пестрая цепь приятных приключений, а серьезный долг. Орала перековываются на мечи, если ворог угрожает поработить отчизну, но едва он отбит, как мечи снова перековываются на орала. Время расцвета, на которое пришлось создание народных песен, завершилось

в XV и XVI столетиях, и если характеризовать латышский народ на основе дайн, то надо признать, что до той поры жестокость еще не была одним из заметных качеств латышского народа.

А теперь попытаемся глубже взглянуть на особенность латышского благоговения. Если речь идет о том, что не надо обламывать верхушку березы, то здесь благоговение тесно связано с состраданием. Трудно сказать, страдает ли народный сказитель дереву или больше чувствует уважение к его красоте. Если красна девица просит корову щипать зеленую травку, но при этом не мять ее, если она упрасивает белый клевер не расти на обочине, чтобы проезжающие мимо баре не исхлестали его кнутами, если бесстыдницей зовут красну девицу, которая бросает в воду пчелу, то относительно этих и подобных им песен еще можно сказать, что сострадание зиждется в них на принципе полезности — помятая трава, поврежденный клевер больше в пищу не очень-то годятся, а смерть рабочей пчелки уменьшает выход меда, зато бескорыстное благоговение и сочувствие, без всяких утилитарных мотивов, в чистом виде, проявляется в тех народных песнях, которые встают на защиту никому не нужного черного жучка: «Ах, черный жучок, / Уступи дорогу пахарю: / У пахаря тяжелая поступь, / На ноги песок налип».

Известна маньчжурская легенда о том, как дети сажают в сани своих непригодных больше к работе родителей и отвозят их далеко в лес. Наши народные песни — полная противоположность этому маньчжурскому сказанию. Сострадание, коренящееся в благоговении перед сиротой, нищим и старым человеком, — это наиболее часто повторяющийся мотив 60 000 дайн. Слезки сироты стоят кусочка золота, они падают на лоно Божье. Хороший человек почитает хорошего человека, а Бог не забывает нищего: «Добрый доброму стул предлагал, / Кто предложил нищему? / Бог предложил нищему, / И нищего ребеночку тоже» (31224).

До глубины души трогают своим этическим благородством те народные песни, в которых поется о том, что старого человека надо взять за руку и обойти с ним не вокруг пропасти, конечно, а лужи, чтобы не замочил старый человек ноги; что старому надо предложить самый лучший стул, что когда старый человек входит в комнату, положено вставать. Благоговение перед старым человеком сливается с чувством благодарности: «Посиди, отдохни, / Моя старая матушка, / Ведь ты утомилась, / Меня нянча, когда я мал был» (3153). «Я над старым не смеюсь, / У меня впереди эти денечки; / Я старого беру под рученьки, / Сажаю в креслице» (27276).

Если бы мне надо было назвать песню, в которой наиболее выпукло отразился латышский народный эпос, песню, которая звучала во мне, когда я писала «Очерки жизни» и создавала образы главных героев — Майи и д-ра Альниса, то вот она: «Расти, расти, сестрица, красивой, / Но другого не топчи» (5485). «Я разожгла лучину / На обочине большака, / Пусть погреться деточки, / У кого нет отца, матушки» (4008).

Когда топчут других, топчут себя, уничтожая тем самым Богом данную красоту. Эта мысль находила отзвук в сочинениях самых любимых латышским народом писателей. Грустной мелодией звучит она в поэзии Порука, живописной импрессионистской картиною предстает в сказках Скалбе, чеканным выводом — в искусстве Райниса: «Не топчи других, и сам воспрянешь». Этот мотив не исчез и в нашей новейшей лирике: в мире Зинаиды Лазды, который «нежно мерцает, словно сестра», репей, моль и дафния не исключены из поэтического круга, над мелкими, серыми, погрязшими в буднях униженными и оскорбленными созданиями сверкает крошечная радуга красоты. И Андрей Эглитис — я только упоминаю второго наиболее популярного лирика наших дней — молит в своей «Кантате»: «Не заставляй, Боже, кровью смывать кровь с латышской земли».

В латышском мировоззрении величие не сопрягается с кровопролитием.

Мы видели, что латышское благоговение так прочно связано с состраданием, что подчас от него неотделимо. Попытаемся теперь глубже проникнуть в самую сущность сострадания.

Сострадание превращает обычного человека в поэта; захваченный переживанием другого человека, он воспроизводит его в словах и красках. Если существуют врата в мир другого человека, то это сострадание, оно обогащает знание психологии гораздо больше, нежели точные наблюдения, оно открывает нам душевные процессы с непосредственностью, недоступной самым тщательным наблюдениям. Сострадание натягивает нити, по которым приходят к нам душевные переживания другого человека. Но сострадание надобно отличать от жалости: нищего мы жалеем, мученику сострадаем. Жаление пассивно, сострадание — активно. Жаление удобно, сострадание накладывает обязательства. Христос не жалел людей, Он им сострадал. Чтобы уменьшить их страдания, Он взвалил на себя крест их мук. Он не обливался слезами, придя к умершему Лазарю, а помог ему восстать из гроба, и это величайший образец подлинного сострадания. Христос нес людям радостную весть. Где проходил Он, там изывались страдания, там претворялась мысль о воскресении.

Жалость унижает. Жалея человека, мы даем ему ощутить его собственное бессилие, а сами чувствуем при этом фарисейское удовлетворение тем, что беда нас миновала. Но, сострадая, мы восхищаемся силой того, кто несет свою ношу, благоговейно вопрошая: а смогли бы мы сами взвалить ее на свои плечи? На того, кого жалеют, смотрят свысока, перед тем, кому сострадают, склоняют голову. У жалеющего такое мягкое сердце, что он не может без содрогания смотреть на кровь и гной, по нему, пусть лучше раненый изойдет кровью, чем он перевяжет его раны. А страдающий склоняется над больным, чтобы помочь ему, будь это даже заразный больной. Жалостливые с мягким сердцем обольются слезами над фильмом, рассказывающим о крестном пути Рембрандта или какого-либо другого гения, но, придя домой, накрепко запрут двери свои, чтобы изголодавшиеся прохожие ненароком не узрели их ломающиеся от яств столы.

В Природе нет сострадания. Птицы, отправляясь на юг, не откладывают перелет из-за больного товарища. Бенгт Берг, тонкий знаток природы, поэт и философ, любящий птиц больше людей, рассказывает, правда, в своей книге о диких гусях случай, когда самка, прожившая со своим самым счастливым летом, отказалась улетать на юг из-за его болезни, но это исключение. Природный закон сострадания не знает. Интересные примеры из жизни пчел приводят Лангстрот, Дж. Лебок и Метерлик: если рабочая пчела возвращается в улей столь тяжело раненной, что больше она для сбора взытка не пригодна, ее, лишнюю, без жалости изгоняют из улья. Рабочие пчелы и трутни — дети одной матки, выросли в одном улье, но когда трутни выполняют свое предназначение, рабочие пчелы попросту их убивают. Трутень, сделавший свое дело, должен умереть. Такова пчелиная этика: принцип полезности возведен в закон — животное очень обостренно чувствует то, что угрожает или, наоборот, способствует его благу. Собака тотчас заметит колбасу или кнут в руках хозяина, но не обратит внимания на траурное одеяние, в которое он облачен.

Только человек способен к переживанию сострадания, и то не всякий. Чтобы сострадать боли другого человека, душа, во-первых, должна быть исполнена благоговения. Во-вторых, должна быть активной, готовой объявить войну страданиям и мукам. Она должна быть готова принять на себя часть этой ноши, дабы облегчить муки другого. Наделенные состраданием писатели не боялись идти за свои убеждения в тюрьму и ссылку. Самый известный у латышей страдающий герой — Антиньш (аналог Иванушки-дурачка. — *Прим. пер.*): он не рыдает у подножья горы над муками, выпавшими на долю Саулцерите, а взваливает на себя невероятные тяготы, скачет верхом на стеклянную гору ради ее, Саулцерите, освобождения. В-третьих: необходимы фантазия, способность представить то, что физи-

чески не ощущаешь, способность к переживанию того, что физически не испытывает твоя собственная плоть. Люди, лишенные фантазии, подобны незаконченному дому, окна и двери которого забиты досками: никто сюда не войдет, и луч света не проникнет ни днем, ни ночью. На человека без фантазии действует лишь то, что можно пощупать руками, взвесить и измерить. Одна из причин, почему современная жизнь стала такой бетонированно-голой, как не обсаженное деревьями шоссе, — это недостаток фантазии. Напрасно полагать, что фантазия нужна одним лишь художникам. Наука и практическая жизнь прозябают без крыльев фантазии. Хорошему астроному она нужна не менее, чем отличному повару и изрядной портнихе. Уже потому хотя бы, что животное напрочь лишено фантазии, оно неспособно к переживанию сочувствия. Может, будет правильным сказать, что настоящий человек — это существо, наделенное фантазией. И в-четвертых: для того чтобы почувствовать сострадание, необходимо ощущение общности, заставляющее человека солидаризироваться с подобными ему существами. Когда муравейнику грозит опасность, тотчас объявляется тревога, муравьи со всех сторон сбегаются на помощь, но, заведя на пути мертвого или изуродованного муравья, живой и здоровый муравей не задержится ни на секунду: он преспокойно переступит через труп своего собрата, словно это соломинка. Такова муравьиная этика.

Духовно не изощренный, примитивный человек, подобно животному, ощущает лишь ту боль, что угрожает его личному существованию. Человеку — ничтожному существу приятно, сидя в теплой комнате, в мягком кресле, читать нечто об ужасах в чужом королевстве:

«По праздникам нет лучше развлечения,
Чем толки за стаканчиком вина,
Как в Турции далекой, где война,
Сражаются друг с другом ополченья.
Подходишь у трактирщика к окну
И смотришь — по реке идут баркасы,
И после, дома отходя ко сну,
Благословляешь миролюбие часа».

Какое ему дело до тысяч погибших, если собственному благополучию ничто не угрожает:

«Я тоже так смотрю, сосед,
Пусть у других неразбериха,
Передерись хотя весь свет,
Да только бы дома было тихо».

(«Фауст», I. Пер. Б. Пастернака)

Противовесом этому мещанскому суждению разумника звучит фанфара Фауста: «Я грудь печалю их открою», — и находит отзвук в словах Райниса: «Я мира часть, за все держу ответ».

Средний человек воспринимает боль, грозящую его семье, его друзьям, и чем дальше он ушел от своего греха — животного, тем острее чувствует эту боль. Человек-творец, поэт, художник чувствует боль народа как рану на собственном теле. Незадолго перед тем как пойти путем страдальца, Атис Кенинг писал:

«И все, о чем тоскую я и плачу,
В миллионном человечестве болит».

(«Пути и судьбы»)

Кто чувствует в себе всю боль своего народа, тот поэт, кто чувствует боль всего человечества, тот гений.

Было бы неверно связывать сострадание с христианским вероучением. Как я уже говорила, дайны, независимо от христианской веры, проникнуты состраданием. Среди пяти основных добродетелей древних китайцев есть и сострадание (см. Шопенгауэр, «Parerga und Paralipomena»). В греческом эпосе воспеты ужасающие жестокости, но сама жестокость нигде не прославляется. В «Моралиях» Плутарха мы читаем, что даже тягловую скотинку, верно служившую человеку, нельзя продавать по старости, ей надо дать положение на старости пропитание.

Ученики Сократа, прощаясь со своим великим мастером

в его смертный час, рыдают навзрыд. И вполне правдоподобно, что Гете под влиянием Федона написал эти известные строки: «Позвольте мне плакать, плачущие люди добры». Слезы плаксивого пьяницы отвратительны, но слезы сильного человека прекрасны.

Еще до того, как христианство укоренилось в Финляндии, была сочинена «Калевала», финский национальный эпос, насыщенный мужественностью, героизмом, милосердием и беспощадностью. Но главный герой «Калевалы», олицетворение положительных сил финского народа — старый провидец Вяйнемейнен, песня которого обладает такой мощью, что от нее срываются скалы, и который исключительно своим духовным превосходством, и пальцем не пошевелив, побеждает врага — плачет, и не раз. Он плачет от тоски по родине (7-я руна), плачет от избытка чувств при собственном пении, и его слезы, смешавшись с водой, превращаются в чудесные синеватые жемчужины (41-я руна), он плачет при утрате своей величайшей ценности, части своей души, своего чудесного инструмента — кантеле (41-я руна). Слезы эти отнюдь не свидетельствуют о его немужественности и жалостливости, но о способности к внутреннему глубокому сопереживанию.

Глубочайшим благоговением исполнены гении. Творить может лишь тот, кто сохранил в себе способность изумляться, кто в мир выходит, как Адам в райские кущи, впервые замечая каждый предмет и давая ему название. Тупым карандашом писать невозможно, если душа отупела — тем паче. Творить способен тот, чью душу переполняет священный трепет перед вещами и явлениями, до того уже тысячи раз виденными и описанными. А священный трепет — это просто другое название благоговения, и его равным образом могут внушить песчинка и звезда, дитя в колыбели и создатель Девятой симфонии.

Всюду, где мы имеем дело с культурой, благоговение выступает как центральное переживание. Изучая биографии великих людей, мы убеждаемся, что они росли в атмосфере преклонения перед другими великими людьми: так, Достоевский преклонялся перед Пушкиным и Бальзаком, Гете — перед древними греками, наш Порук — перед Вагнером, Гете и Шекспиром, Райнис вырос на активном восхищении фигурой Гете, а наша молодая поэтическая поросль — на восхищении Поруком и Райнисом.

Писателей и философов, как и вообще всех культурных людей, можно разделить на две группы, в зависимости от того, является ли солнцем созданного ими макрокосма сострадание или же благоговение. В философии Шопенгауэра основой этики служит сострадание. «Сострадание... истинный источник настоящей справедливости и любви к людям» (ор. cit, 221). В человеке таится хищный зверь, который только ждет случая, чтобы разбушеваться и распотать все, что встанет у него на пути. Этого хищного зверя можно укротить, только храня в себе свет сострадания. Прав Шопенгауэр, который советует при встрече с человеком не спрашивать о его ценности и достоинстве, о том, ловок ли он разумом и каковы его успехи, но чтобы правильно судить о человеке, надо разузнать, какие страдания он перенес, какие беды, какой страх, какую боль, какое одиночество испытал. Так вопрошая, мы ощутим в человеке родственное нам существо, и вместо презрения в нас проснется сострадание, и стена, отделяющая человека от человека, рухнет (ор. cit, 206).

Философ Паульсен (Paulsen) придерживается противоположного взгляда. В своей этике («Система этики», том II, Берлин, 1906) при рассмотрении добродетелей, на которых зиждется здание культуры, он отрицает, что среди них могло бы быть и сострадание. «Сострадание является естественной базой, основанием для социальной добродетели, активной, деятельной доброжелательности, но ни в коем случае не добродетелью самой по себе». Паульсен указывает на опасность сострадания, утверждая, что оно затемняет ясность суждения, угрожает уверенной хватке рук хирурга. Говоря об опасностях сострадания, Паульсен ведет речь о «жалостливости» и «слезливости», действительно представляющих собой отвратительнейшие явления

нашего быта; исполнившись ими, люди бросаются ниц и рыдают над гробом усопшего, но когда покойник был еще жив, они что ни день взваливали на него все новую и новую ношу.

Гете, принципиально признававший смертную казнь, был чужд культу сострадания. Из бесед с Эккерманом мы узнаем, как равнодушно воспринял он весть о смерти любимого человека. Он и глазом не моргнул, получив известие о том, что его единственный сын внезапно скончался в Риме. Но спустя три дня его рвет кровью, и он тяжело заболевает, потеряв шесть фунтов крови. Тот, кто написал песнь Арфиста, кто изведаль бессонные ночи отчаянья, кто заставил Фауста воскликнуть: «Я грудь печалюм их открою», — не мог быть лишен сострадания, но это не лейтмотив его искусства в той мере, в какой он был в книгах Достоевского.

Как известно, Гете высшим счастьем дитя человеческого считал личность, то есть существо, которое не столько сострадает, сколько чувствует тройственное благоговение и наполняет себя в узких формах земного. В «Вильгельме Мейстере» Гете, обсуждая сущность благоговения, выстраивает культ благоговения. Он различает три рода благоговения. Во-первых, благоговение перед тем, кто выше нас, этот вид благоговения внушают нам родители, учителя и, наконец, Бог. Во-вторых: благоговение перед тем, кто ниже нас. Этот вид благоговения Гете считает наиболее трудно достижимым. Это, по его мнению, возможно лишь для подлинного христианина, который и нищету, беду, страдания и насмешку воспринимает как богоугодный гнет. Посреди этих двух видов благоговения стоит третий вид благоговения — благоговение перед тем, кто нам равен. В этом виде благоговения соединены все добрые, вещи и мудрые люди, все философы — для Гете философом был тот, кто умел отыскать равновесие между небесным и земным. Если эти три вида благоговения, без которых немислима ни одна религия и культура, достигнуты, то высшей целью каждого человека является благоговение перед самим собой. Это ядро учения Гете о благоговении, солнце его искусства. Мы здесь можем только в самых общих чертах указать на то, каким богатством отличалось переживаемое Гете благоговение: он чувствовал благоговение перед Древней Грецией, особенно по отношению к Сократу, который казался ему более чем человеком, божественным. Он чувствовал благоговение по отношению к современникам, как это с документальной четкостью проступает в письмах, адресованных Гердеру. Он благоговел перед гениями других народов: «Что бы мы ни говорили о Шекспире, все это недостаточно». Гете испытывал благоговение к природе, искусству, любви, смерти, боли. Разве в ином случае он написал бы: «Позвольте мне плакать, плачущие мужи добры». Он чувствовал благоговение перед прошлым, непонятным роком, непреодолимым пределом. С глубокой благодарностью вспоминает Гете на старости лет все объекты своей любви и дружбы, безразлично, доставляли они ему больше страданий в жизни или радости. В восьмидесятилетнем возрасте он посвящает фрау фон Штейн, которая высмеяла его и публично воздвигла на него хулу, прекрасное стихотворение — «Стихи Лиде». Рассматривая гетевское благоговение, надо отдельно отметить силу и мужество благоговящего Гете. Он благоговел даже перед тем, что сам не признавал полноценным: Эккерману он говорит, что Фридрих Шлегель несносно написал о Еврипиде: мол, Еврипид так велик, что ему может указывать на ошибку или недостаток лишь тот, кто встанет перед ним на колени. Переживание благоговения столь могуче и прочно в мире Гете, что, не углубляясь в недра этого мира, может показаться, что состраданию там нет места.

Толкователи, не воспринимающие все здание какого-либо философа в совокупности, а проникшие лишь в одну из комнат и считающие ее по недомыслию всем зданием, прибегающие к цитатам, не заботясь о том, представляет ли отдельно взятое предложение мировоззрение философа, — эти толкователи окрестили Ницше философом жестокости. Говоря о проблеме сострадания в трудах Ниц-

ше, прежде всего надо выделить два периода: молодость, когда под влиянием Шопенгауэра он восславляет в своих трудах сострадание, и позднейший, когда лейтмотивом его работ становится: «Будь тверд, лишь самый возвышенный тверд». И второе: кто хочет понять Ницше, должен знать, что в его сочинениях каждой высказанной мысли можно найти противоположную ей мысль. И только тот, кто смог уравновесить в себе противоречия Ницше, может сказать, что прочувствовал его величие и особость, как это сделал Эрнст Бертрам в своей великолепной книге. Ницше прославляет дионисийскую радость, но он же самый глубокий истолкователь боли германской культуры. Ницше, правда, говорил, что сострадание ведет к нигилизму. В «По ту сторону добра и зла» читаем: «Почти все, что мы именуем высшей культурой, зиждется на одухотворении и усугублении жестокости — таков мой тезис; тот дикий зверь вовсе не умерщвлен, он жив, он здравствует, он обожествляется» (§ 229). Но Ницше выступает не столько против жалости и жаления, сколько против мягкотелости, действительно подрывающей всякое благородство. Его жестокость — это прежде всего беспощадность к самому себе. Это безжалостные поиски правды: ради истины и восхождения к вершинам следует отринуть все, к чему прикипела душа, отстраниться от всего, к чему с охотой привязываешься. Восхваляющий алмазную твердость, Ницше в 1870 году пишет Деусену (Deussen): «Сострадание перерастает в наше дружеское и подлинное чувство». Это письмо ясно показывает, какого рода жестокость прославлял Ницше: к отдельному человеку следует относиться с состраданием и уступчивостью, но, выстраивая свое мировоззрение, надобно быть столь же суровым, сколь суров был древний римский обычай: «По отношению к отдельному человеку мы сострадательны и уступчивы, в выражении нашего мировоззрения — непреклонны, как древнеримские нравы». И шестью годами позже, 14 апреля 1876 г., он напишет Мальвиге фон Мейзенбург, что мужчина при чтении ее мемуаров устыдится своей немужественности, ибо редкий мужчина наделен тем, что присуще в избытке ей, «лучшей подруге», — любовью, всегда готовой к служению. Он благодарит ее за то, что она раскрыла ему один из самых возвышенных мотивов: материнскую любовь, не основанную на физической связи. Эту биологически не обоснованную любовь он именует одним из великолепнейших откровений чувства любви.

Не против сострадания, а против извращения сострадания во весь рост выступает Ницше, ополчаясь на стенания, сетования, бесхребетность и лицемерие. Ему были ведомы священность великих жертв и мистический свет сострадания. Вскоре после того, как закончился самый продуктивный год его жизни — год 1888-й, когда вспыхнули ярким светом все его творческие потенции, чтобы испепелить и окунуть во мрак самого факелоносца, — он, чья жизнь была одной непрерывной жертвой, пишет Буркхардту (6 января 1889 г.): «Надо идти на жертвы, где бы мы и как бы мы ни жили». Жуткой символикой веет от часа его духовного распада: 3 января 1889 г. Ницше выходит из своего дома в Турине, отправляясь на самую обычную длительную прогулку. Очутившись на площади Карло Альберто, он становится невольным свидетелем того, как некий грубый извозчик беспощадно хлещет свою старую, уставшую клячу. Он подбегает к лошади, обливаясь слезами, обнимает ее за шею и падает без чувств. В этой страшной сцене действительность оборачивается видением и притчей. Враг праха, глена, паутины, волглого полумрака и гниения, Ницше сжег в очистительном огне своей жизни все старые алтари, чтобы в ярком полуденном свете истины воздвигнуть новые — смелому и величественному человеку, у которого не кружится голова, когда он ступает по краю пропасти, и который и в миг отчаянья знает, что ему принадлежит нечто, что ни найти, ни утратить невозможно: это благоговение перед самим собой — «возвышенная душа страшится за себя» («По ту сторону добра и зла», § 287).

Именно те писатели, которым хорошо известна безжалостность жизни, — все равно, по личному ли опыту или игре воображения, — с наибольшей силой прославляют сострадание. Одна из самых беспощадных эпох в истории человечества — это Ренессанс, и две самые могучие фигуры Возрождения — Сервантес и Шекспир — одновременно являются и самыми яркими живописцами чудовищнейших жестокостей, и знаменосцами сострадания. Сервантес, борец за человека-рыцаря, а именно за человека — защитника слабых и жестоких по отношению к насильникам и угнетателям, не только своего Дон Кихота, но и своих мудрых псов — Берганса и Сибиона — заставляет стать на сторону униженных. Беспощадное искусство Сервантеса каждую вещь называет ее настоящим именем, не чураясь натуралистических описаний. В его «Назидательных новеллах» разврат, жестокость, злоязычие мешаются с трусостью, тупостью и корыстью, и все же — «Назидательные новеллы», как и все классическое искусство, есть искусство идеалистическое: по-над болотами пороков летает сострадательный дух Сервантеса. Его Дон Кихот знает, что из двух данных человеку добродетелей — правды и сострадания — сострадание в глазах Бога имеет более драгоценный блеск.

Нет более кровавой трагедии, чем «Ричард III». Шекспир был так могуч, что не закрывал глаза перед жестокостью, как это делают трусливые псевдоидеалисты и истерические радатели о мировом благе. Одно из чудеснейших мест не только в «Гамлете», но, может быть, во всем творчестве Шекспира — это встреча Гамлета с актерами во второй сцене второго акта. Актер, декламируя стихи о страданиях Гекубы, плачет. Вообразив себе боль Гекубы, ее отчаянье, актер бледнеет, голос его надламывается: «И все из-за чего? Из-за Гекубы! Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» (пер. М. Лозинского). Сравнивая с этим актером, Гамлет называет себя трусом и низким рабом. Его отец убит, а он спокойно себе живет, говорит, смеется и улыбается, как обычно, — здесь сострадание есть термометр внутреннего благородства.

Чтобы не замыкаться в кругу философии и литературы, упомяну один пример из живописи: классический автор «Танца мертвецов» Ганс Гольбейн (Младший) беспощаднее всех изобразил Христа. Видно, это единственный живописец, кто осмелился писать Христа во власти тлена. «Мертвый Христос» в Базеле — эту картину великий мастер беспощадной кисти Достоевский считал лучшим творением, подвигнувшим его на многие сочинения. Лишь ради того, чтобы насладиться этим полотном, Достоевский во время своего путешествия посетил Базель. В романе «Идиот» мы читаем: «На картине этой изображен Христос, только что снятый с креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого с креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут при самых страшных муках... В картине же Рогожина о красоте и слова нет, это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки... лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скопились...» Но тот же Гольбейн, не менее чем своим натуралистически, беспощадно изображенным Христом, знаменит своей «Мадонной с семьей бюргермейстера Якоба Мейера» из Дармштадта, нежной молодой матерью, хрупким цветком среди людей.

Да, есть писатели, в творчестве которых больше акцентирован мотив сострадания, а есть и такие, у которых больше акцентирован мотив благоговения, и есть также немногие писатели, в которых и благоговение и сострадание звучат с одинаковой силой. Тверд, как скала, и горд, как храмы его родины, Данте Алигьери. Он, кто лучше уж карабкался по крутым ступеням изгнания и ел горький изгнаннический

хлеб, лучше уж умирал на чужбине, чем предавал свое мировоззрение, — виртуоз сострадания и благоговения. Своими глазами видел это тот, кому посчастливилось взглянуть на фреску Андреа Орканьи в церкви Сан Мариа Новелла: Данте, молитвенно воздев руки, откинув голову, смотрит в даль, к вечному источнику света устремлен его взор. Великие мучения изрезали его лицо морщинами. В больших, темных глазах, кажется, отразились все страдания этого мира, твердые, резкие черты лица свидетельствуют о том, что эти муки не миновали его, и однако он находит в себе силы благоговейно сложить руки в мольбе. В нем была врожденная склонность к поклонению и почитанию. Он преподавал самый грандиозный пример почитания. Даже в аду он возблагодарил своего учителя Брунетто Латини, своего духовного отца, который приобщил его к богатствам духовного мира. Данте верил в абсолютную справедливость Бога, Богу положено наказать Брунетто Латини за содомский грех, но сам Данте испытывает по отношению к своему учителю одну благодарность. По-видимому, Данте единственный был способен и в аду преклонить колена. В божественной песне он поминает всех своих друзей и учителей, даже в аду он благоговееет перед ними, теми, кто был ему дорог в жизни.

И столь же горячо, как благоговение, чувствует он сострадание к ближнему. В классической пятой песне он так интенсивно страдает любовным мукам Франчески, что теряет сознание: «И я упал, как падает мертвец» (пер. М. Лозинского). Это исключительно изощренное сострадание. Надо было быть ценителем лейловского стиля вседозволенности в любви, чтобы так интенсивно сочувствовать боли Франчески и Паоло. Франческа и Паоло, совершив прелюбодеяние, попали в ад. На них не возложены чрезмерные муки, они не разлучены друг с другом, они летят во мраке ада, тесно прижавшись друг к другу. Но одна мысль о том, что такие прекрасные и чистые существа могут очутиться в аду, потрясает Данте до глубины души — Данте рыдает не только встретив самоубийц в седьмом круге ада, не только при виде гадалщиков, чьи лица повернуты назад (19-я песня), он рыдает даже завидев чревоугодника, обжору Чакко, который в земной жизни

пировал за луколловыми столами, а теперь обречен умирать среди слякоти. Увидев его, Данте восклицает: «Чакко, слезы грудь мне жмут / тоской о бедствии твоём загробном!» (6-я песня). Слезы выступают на глазах у Данте не столько при виде самих грешников, сколько от мысли о том, что человек — венец творения — может очутиться в таком бедственном положении. Одна мысль высветляет общую картину для Данте: «... чем природа совершенней в сущем, / тем слаше нега в нем и боль больней». Глядя на грешников в аду, Данте охвачен не отвращением или злорадством, а глубоким состраданием. Он не избегает натуралистических красок при описании ужасов, и тех, что видел он вочую, и тем более тех, которые предстают перед его мысленным взором, но он всегда выше этих ужасов, и нет силы, которая была бы способна лишить его человечности. Адский мрак освещается обожествляемыми Данте звездами, восходящими в конце каждой части: «Любовь, что движет солнце и светила». В душе Данте был целый собор, где гудели два могучих колокола: благоговение и сострадание. Эти колокола воспламенили его душу, придали божественность его песне, сделали его великим учеником и большим мастером. Этот колокольный звон сопровождает его во мраке ада, в чистилище и возносит к вершине небес.

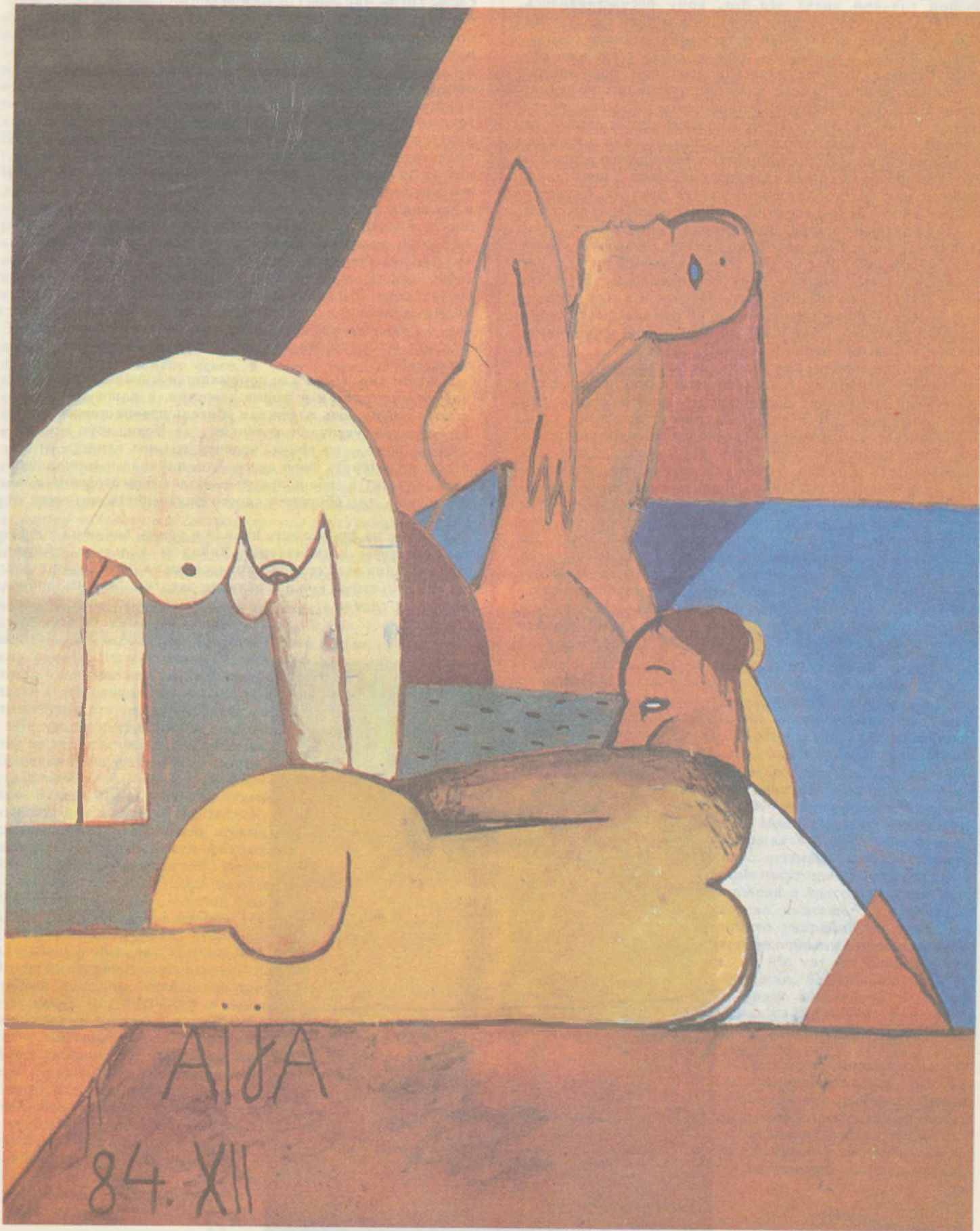
В наши дни, когда зло прорывается в людей как в виде никчемности, так и в форме зверства, в наши дни, когда подчас в одну ночь надежная обитель превращается в груду развалин, увенчаный венком — в Иова, друг — в предателя, брат — во врага, человек должен глядеть в оба, чтобы не потерять свою душу. Кто, начиная и кончая свой день, слышит в себе колокольный звон благоговения и сострадания, тот оборонил своего внутреннего человека от гибели.

У войны на фронте есть начало и конец, война на попроще культуры нескончаема. Война в культуре требует мобилизации всех гелиоцентрических сил. Чтобы защитить корни культуры, нужны великие жертвы, нужны добровольцы и герои.

Перевод ЛЕОНИДА ГУРЕВИЧА



Могила Зенты Маурини и Константина Рудиве в ФРГ.



АЙЯ ЗАРИНЯ.

«У них для правды нет границ»*

Кто они, эти художники, — новые «дикие»? И их выставка, что это — пощечина общественному вкусу? Программный эпатаж? Граничащая с вызовом дерзость? Или эстетическая провокация?

Быстро проходит состояние ошеломления и почти рефлкторного протеста. Незаметно ломается стереотип восприятия, сознание раскрепощается. Художники притягивают в свой мир, который, несмотря на необычность и подчас агрессивность формы выражения, не плод манифестации интеллектуалов, а — «живая вода» искусства.

Первая выставка «посттрадиционалистов» состоялась в Риге в 1983 году.

По случайному ли совпадению или по императиву выбора в группу вошли семь молодых художников. Число семь имеет символический смысл. Семь — магическое число в системе всех культур. Число семь выражает абсолютное единение. В данном, художественном, случае — абсолютное единение против традиции сводить роль искусства к фальшивой служебно-дидактической.

Нет ничего более несовместимого с искусством, чем норматив. Но ведь нормы и шаблоны, извортливо называемые традицией, в нашей культуре не редкость.

«Посттрадиционалисты» (к этой выставке их стало больше) говорят решительное «нет» такому традиционному официозу: «Прошли времена — и безграмотно».

Сверхинтенциями своего духа они утверждают связь с традициями подлинного искусства. На выставке царит атмосфера высокого духовного напряжения.

Когда-то замечательный поэт и мудрейший критик-эссеист М. Волошин назвал традицию в искусстве почвой, а творческую индивидуальность — семенем. Одно без другого немислимо.

Ну разве не традиционно, в лучшем смысле этого слова, кредо Айи Зарини: «Я раскрываю идею на плоскости цветом и линией»? С... незапамятных времен до Матисса, Леже и более близких к нам по времени художников эти живописные средства были приоритетными.

Хроматическая свобода художницы превращается в цветовую символику. А вызывающие цветоформы неотделимы от драматургического подтекста, что дает возможность адекватно-словесного прочтения картин.

Грандиозность цвета Зарини особенно оттеняет благородство и какую-то «кастальскую» чистоту Гиртса Муйжниекса.

В грохочущем сознании сегодняшнего человека он умеет услышать музыку бытия. Его своеобразная живописная графика вмещает сложные психологические арабески.

Экскурсы в историю Франчески Кирке, может быть, самой интеллектуальной из художников группы, не знают временных пределов. Исторический диапазон безграничен: от библейских сюжетов до совсем недавнего прошлого, но не менее адского, чем во времена братоубийства Каина. Ширма «Культ личности», вопреки своему предметному назначению, не заслоняет, а распахивает пресподню. Эпизоду истории придает художница космический характер. Историческое развитие — это в ее понимании «Пути Каина». Кроважидные «игры» босховских тапжей накренили мир, бытие, угрожают всеобщим распадом. В трагических переживаниях художницы — не страх, а приговор, предупреждение. Живописная ткань пульсирует энергией чувства. Мрачная тревога столь интенсивна, что исключает безысходность. Подлинное вхождение личности в трагедию оборачивается, по законам



ЯНИС МИТРЕВИЦС.

искусства, просветлением, которое веет уже не внутри, а за пределами сюжета и отзывается в зрителе жаждой преобразования.

Трагическое мироощущение свойственно всем художникам группы. Но части расколотого мира — не последняя реальность, утверждает Иева Илтнере. Есть еще дух творчества, который производит дивные метаморфозы с его обладателем. Демону разрушения противопоставляется аполлоническое начало творческого человека. Художница материализует самую стихию творчества, созидания, духовного экстаза. Голубой одухотворенный цвет лепит легкую, воздушную форму, столь легкую, что она становится знаком иных сфер, сияющих и вечных.

Как бы ни была суха теория, а «древо жизни пышно зеленеет». В этом убеждают вечные темы искусства: противоборство добра и зла, любовь и материнство, пугающая хрупкость жизни. Они обостренно и прямолинейно воплощены Сандрой Крастиной. В особом взгляде на мир — умном, тонком, слегка ироничном, глубоко сострадающем — мне видится родство (может быть, неосознанное) с великим Домье.

В публицистической хлесткости и лапидарности формулировок произведений Эдгарса Верпе скрыта рациональ-

* Максимилиан Волошин



Фоторепродукция ОЯРСА МАРТИНСОНА

ИЕВА ИЛТНЕРЕ.

ная сила художника, его безапелляционность. «Ворота» — в черную неизвестность, безжизненная «Весна», «Дверь», распаивающаяся в тупик, — это иллюстрации к антиутопиям Оруэлла, к нашему антимиру, жуткие своей гиперреалистической подлинностью.

Мегалитические герои Яниса Митревица абсолютно, физически величественны. Наследник экспрессионизма, он доводит до апогея выразительность издерганной формы, конвульсии пастозных мазков. Убийственная галерея человекообразных монстров превращается в Монбланы зла, столь очевидного в своей кромешности, что оно теряет безграничную власть, перестает быть фатально опасным.

Живопись Даце Лиелы, безусловно элегантная, с реминисценциями из Сальвадора Дали, привлекает иератической загадочностью жизни. Тайна, художественно сформулированная, дает импульс к ее постижению. Смысл головоломных коллажей ее картин не за семью печатями. Ее произведения открывают драматический смысл нашей действительности, многомерную полноту будней.

Классичность манеры Валдиса Рубулиса являет уникальное в наши дни ощущение устойчивости миропорядка. Едкий сарказм, констатация мрачного или позорного явления чередуются со светоносными вспышками чувств и

состояний, что вместе составляет идеальное равновесие личности.

Миервалдис Полис своеобразным фотодокументализмом вводит в контекст жизни и истории единицы человеческого существования, утверждая непреходящую и абсолютную ценность каждой.

Откровенная ретроспективность не порабощает искусство Илзе Авотины. Ее произведения, тяготеющие к примитиву, кажутся самыми простыми, понятными. Историк искусства как-то заметил, что есть таинственная связь примитивов с весной. Действительно, ее бесхитрое искусство — самое тихое, умиротворенное на выставке. Радость начала жизни, жаркая, как ее краски.

Слышится:

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Илзе Авотиня напоминает нам о молодости своих единомышленников — художников, поразительно состоявшихся. В известной поэме А. Блок проповедовал:

Познай, где свет, — поймешь, где тьма.

Художники, наши современники, начинают с познания тьмы — она очевиднее! — чтобы потом прорываться к свету, и свет сделать возмездием мрака.

ТАТЬЯНА МАКАРОВА.

ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

О ГЕОРГИИ МИХАЙЛОВЕ

Свой путь в ГУЛАГ Георгий Михайлов начал, ступая по цветам. Это не метафора, так было на самом деле. Как ни хитрили устроители этого процесса, им все же не удалось тайно переправить осужденного из здания суда в «Кресты», ленинградскую тюрьму. Друзья готовы были ждать часами и дождались, когда конвоиры вывели Михайлова, и тут со всех сторон к его ногам полетели цветы и зазвучали последние слова благодарности.

Суд над коллекционером превратился в культурное событие большого масштаба. Пройдут годы, но материалы по делу Георгия Николаевича Михайлова не утратят своей исторической ценности, их будут изучать исследователи этого периода русской культуры. Стенограмма процесса уже тогда широко ходила по рукам, потом попала на Запад. Была даже написана документальная пьеса, и она распространялась в самиздате. Пьеса называлась «Процесс» и напоминала Кафку не одним своим названием: все, что происходило тогда в здании суда, не могло произойти ни в одном цивилизованном государстве мира и носило вполне сюрреалистический характер.

Советский режим, провозгласивший основой основ своего искусства социалистический реализм, на самом деле в течение десятилетий стремился мифологизировать не только подвластное ему искусство, но и саму действительность. Попробуйте-ка принять за реальность советские лозунги того времени: «Советский народ — авангард человечества!» Попробуйте применить это к другой стране, ну скажем, хотя бы так: «Немецкий народ — авангард человечества!» Или еще более известное утверждение: «КПСС — ум, честь и совесть эпохи!» Попробуем прочесть это по-английски — «Партия консерваторов — ум, честь и совесть эпохи!» Вам становится смешно, но у нас никто тогда не смеялся. Большинство бездумно проходило мимо этих, в общем даже довольно страшных по сути, лозунгов, а затем так же бездумно их повторяли на собраниях, писали в докладах и в предисловиях к научным работам.

Сюрреалистическая сущность режима откровеннее всего проявлялась тогда, когда лозунги полностью устаревали, опровергались жизнью, но идеология еще не успевала наштамповать новых. Пока наверху неспешно решали, какой такой новый миф спустить в массы, сами массы были обязаны с энтузиазмом повторять ложь, уже ставшую очевидной ложью. Например, когда стало совершенно ясно, что обещанный Хрущевым коммунизм к 80-му году что-то уж очень опаздывает, а догнать-перегнать США по выпуску продукции тоже не получается и получиться не может, студенты в вузах все еще должны были изучать Программу, по которой обещанное благоденствие должно было уже вот-вот наступить. Кстати, именно хрущевская программа построения коммунизма и стала, как мне рассказывал Георгий, основой его самого первого, если я не ошибаюсь, или одного из первых столкновений с мифологизированной идеологией. Эпизод, который стоит рассказать.

Георгий Николаевич Михайлов был в то время одним из наиболее заметных преподавателей специальной школы для «вузовских» талантливых ребят, отобранных по всей стране и занимающихся по особой программе. Это были дети с незаурядными способностями к математике и физике. Как во всяком педагогическом заведении, в школе проводились политзанятия не только для учеников, но и для преподавателей. Зная уровень пропагандистских мероприятий, Михайлов их попросту игнорировал, ссылаясь на формальную добровольность участия в них. Добровольность такого рода массовых действий — тоже один из советских мифов, обыгранный в народе: «добровольно-принудительными» зовут такие собрания, митинги, демонстрации и субботники. Когда же дирекция стала настаивать на его участии в политзанятиях, Михайлов согласился, но поставил условием свое реальное участие в них. И первое, в чем это участие проявилось, это были вопросы к очередному лектору по устаревшей, но все еще формально действующей Программе КПСС. Михайлов спросил, что произошло с конкретными планами этой программы и кто будет отвечать перед партией и народом за срыв этих планов. Я очень смеялась, когда Георгий рассказывал в лицах, как реагировали на его выступление коллеги, между прочим, люди образованные и ответственные за воспитание талантливейшей части нового поколения. «Для него нет ничего святого!» — восклицали партийные дамы по поводу раскритикованной им «Программы» и, оглядываясь на начальство, всплескивали в ужасе поднятыми руками. А через самое короткое время правление Хрущева было

уже сверху объявлено «волонтаристским», а его «Программа» — утопической. Но ни для начальства, ни для коллег никакой роли не играл тот факт, что критика Михайлова таким образом была признана правильной с самого что ни на есть «верха». В насквозь мифологизированной и театрализованной общественной жизни сущность его правоты ничего не значила: он все равно оставался тем, кто «не согласен», «не понимает», «не руководствуется». Неважно, что весь хор фальшивил, а один Михайлов взял правильную ноту, — важно было лишь то, что он отказался петь и фальшивить вместе со всем хором. И сегодня, когда раетели «перестройки» повторяют то, что задолго до них твердили и писали в самиздате героические приверженцы реализма, все те же «любители хорового пения» им дружно подпевают, но продолжают считать, что Михайлов и ему подобные подвергались репрессиям справедливо и по закону.

Я прошу прощения за то, что в заметках о личности коллекционера и любителя живописи довольно много места уделила его общественным и политическим взглядам, но мне кажется, что без этого отступления очерк о Михайлове будет неполным. Романтик или реалист Михайлов? При всем героизме его непреклонного сопротивления, давящей и обволакивающей действительности я называю его реалистом, а не романтиком. Более того он был носителем того реального отношения к жизни, которое много позже было названо «новым мышлением».

Сегодня в СССР с искусства начинают снимать партийно-идеологические наручники, художникам предоставляются некоторые творческие свободы. Возникают и растут неформальные объединения художников, литераторов, проводятся выставки «неконформистов», выставлялись даже работы некоторых художников-эмигрантов. Я убеждена: в том, что Ленинград в этом направлении значительно опередил Москву, есть несомненная заслуга Георгия Михайлова. Для того, чтобы два года назад смогло быть организовано ТЭИИ — Товарищество экспериментального изобразительного искусства, — нужно было, чтобы кто-то в течение многих лет объединял вокруг себя талантливых одиночек-неконформистов, устраивал выставки для тех, кто не мог тогда выставляться официально. Нужен был кто-то, кто видел бы ценность их работы, кто бережно и с профессиональным пониманием коллекционировал это искусство, сохранял его для будущего. Михайлов, пожалуй, активнее всех занимался этой культуртрегерской деятельностью и добился в ней наибольших успехов. Он же больше всех за нее и пострадал...

Творческая дружба Михайлова с художниками-неконформистами начинается в самое для них время, когда после прогрома на «бульдозерной выставке» в Москве ленинградские власти, испугавшись повторения этой неприятности на вверенной им территории, разрешают провести первую официальную выставку неофициальных художников. Она состоялась 22—25 декабря 1974 года. Под усиленным надзором КГБ и милиции с привлечением огромного числа «народных дружинников» тысячи зрителей знакомились с совершенно новым для них искусством. На голодной декабрьской улице стояла километровая очередь, люди часами ждали, когда их наконец пропустят в тесные и неважно освещенные залы — на весь осмотр полагалось 20 минут, после чего залы освобождались и пропускалась «очередная партия посетителей». Но за эти двадцать минут у большинства совершенно переворачивалось представление о современном искусстве — перед зрителями открывался новый мир. И мало кто представлял себе, через какое трагическое подполье, через сколько лет изоляции, нищеты, непонимания прошли эти художники. Некоторые из неконформистов «не дотянули» до этого дня и умерли в одиночестве, не известные никому, кроме нескольких друзей и близких. Уже уехал на Запад один из самых талантливых, Михаил Шемякин, другие добивались выезда, не веря в возможность свободного творчества на Родине. И надо было обладать не только большой любовью к новому искусству, но и огромной долей прозорливости, чтобы понять тогда, что этот неожиданный выход, этот прорыв не был закономерным для режима, случайным совпадением всплеска энергии художников и всплеска трусости местных функционеров. В том числе функционеров от официального искусства, от кого зависела организация этой выставки. Георгий Михайлов понял, что борьба за сохранение нового изобразительного искусства только началась, вышла на первый этап, а впереди еще предстоит много неизвестного и не одну только выставки ожидают художников: недаром в КГБ к этому моменту

начал функционировать целый «Отдел культуры», а число искусствоведов в штатском» во Дворце культуры имени Газа, носящего имя знаменитого тюремного врача-гуманиста, было огромно. Пожалуй, с этого года началась своего рода перекалфикация многих сотрудников КГБ в сторону их приобщения к современному искусству. Говорят, некоторые из них настолько приобщились, что стали собирать собственные коллекции нонконформистов. Это неудивительно, если, забегая вперед, вспомнить, сколько арестованных картин из коллекции Михайлова пропало бесследно...

Г. Михайлов с этого времени становится не просто другом художников и знатоком современного изобразительного искусства, но и одним из тех, благодаря кому оно пережило многие глухие времена впереди и дожило до наших дней. В своей небольшой даже по советским стандартам (всего 28 квадратных метров) кооперативной квартире он одну комнату выделяет под постоянную экспозицию нонконформистского изобразительного искусства. В течение пяти лет, вплоть до первого ареста Михайлова 21 февраля 1979 года, каждое воскресенье в эту квартиру на шоссе Революции группами и поодиночке шли и шли люди. Это были художники, желавшие познакомиться с работами известных им и еще неизвестных коллег, любители живописи и просто любопытные. Среди ленинградцев часто появлялись приезжие из других городов и республик, появлялись и иностранцы.

Меня всегда поражала атмосфера, царившая на этих домашних выставках. Доброжелательный и очень скромный хозяин негромко давал пояснения и очень корректно спешил уступить первую роль присутствующим художникам, даже если это не были авторы картин. Абсолютный порядок, ничего напоминающего дурную богему, серьезный, даже академичный тон бесед, негромкая музыка, создающая особую атмосферу теплоты и дружелюбности. Помимо вывешенных работ, посетители могли познакомиться с состоянием современного искусства по альбомам фотографий и слайдам, лежащим тут же на столе. Что бы ни происходило за пределами этой квартиры — шла ли очередная выставка, «пробитая» энтузиастами на одной из официальных площадок города, или это было очередное затишье, или даже вспышка преследований, угроз и репрессий, — в этой комнате продолжалась своя жизнь. Ни праздники, ни плохая погода, ни самочувствие хозяина роли не играли. И именно это постоянство, эта стабильность создавали у художников столь необходимое им чувство уверенности.

Ленинградский искусствовед Ирина Баскина так писала о миссии Георгия Михайлова:

«Когда эти художники оказались доступными публике, Михайлов был одним из немногих, кого потрясло богатство возможностей, молодая сила этих людей. Он познакомился со многими из них лично, узнал чудовищные условия жизни и нужду некоторых. И все свое свободное время, включая и выходные дни, а часто и ночи, он стал отныне отдавать этим художникам, которых он сам подчас находил, открывал, поддерживал, защищал, пропагандировал, устраивал их экспозиции в комнате своей небольшой квартиры. Стоически огромный труд и огромное время он вкладывал в эту миссию. Никакой личной выгоды, кроме удовлетворения гражданского и эстетического, он от этой деятельности не имел. Напротив, постоянные неудобства, затраты времени, сил, средств, — он шел на это добровольно. Совсем не всегда были блестящими художники, которых он поддерживал. Это были и совсем молодые живописцы, однако проявившие одаренность такого характера, которая обещала им здесь трудную участь, но в них Михайлов видел творческие ресурсы русского искусства, и он им помогал. Мог ехать для этого в другой город, другую республику, только чтобы увидеть и сфотографировать эту живопись. Некоторые художники были спасены им, можно сказать, и творчески и физически. Они подчас просто жили в квартире у Михайлова, находя здесь помощь, понимание и возможность выставляться».

К сожалению, Михайлов оказался прав в предвидении, что общий творческий подъем не раз еще сменится усталостью, неверием, а терпение властей — до поры. На его глазах из Ленинграда эмигрировали многие из «стариков», участников и организаторов первых выставок неофициального искусства: Александр Арефьев, Юрий Жарких, Юрий Галецкий, Борис Рабинович, Игорь Тюльпанов, Владимир Бугрин и, увы, многие и многие другие. Остающиеся горевали об их отъезде, а иногда — это возможно понять — упрекали их за уход от борьбы, за бегство, еще не зная, что на Западе художник сталкивается с трудностями другого рода, чем тотальная и одинаковая для всех несвобода. Свобода — это тоже труд, и он не всем под силу. Страдает же всегда искусство. Георгий Михайлов первым понял, что возникает новая опасность — разделение русского неподцензурного искусства на «зарубежное» и «домашнее». Решив противостоять этому искусственному разделению (Шагал и Малевич в это время были еще недоступны советскому зрителю и томились в запасниках музеев),

Михайлов устраивает в своей квартире персональную выставку Михаила Шемякина. Это была первая выставка такого рода, и состоялась она в 78-м году. Вскоре на идеологическом совещании в Смольном Георгий Романов кричал на своих подручных: «Сколько лет мы можем терпеть это осиное гнездо? Так он протащит всех эмигрантов!»

Сегодня Романов снят и вычеркнут из списка политических фигур современности, Михаил Шемякин представлен официально. Пришло время, и Михайлов опять оказался прав, но зачем же было опережать события на целых десять лет?!

Судебный процесс, с которого начинается этот очерк, открылся в Ленинграде 27 августа 1979 года. Сфабрикован он был настолько грубо, что превратился из гнусной расправы, что было запланировано на следствии, в некое публичное подведение итогов деятельности Г. Михайлова, в его творческий отчет. Поскольку дело «закручивалось» вокруг попытки обвинить Михайлова в незаконном изготовлении и продаже фотографий, слайдов с картин, а также в спекуляции работами художников, волей-неволей пришлось всех этих художников привлекать в качестве свидетелей на суд. Более полусотни художников, стоя перед судьями, говорили о бескорыстной деятельности Михайлова на пользу искусства, а еще самым сердечным образом благодарили его за все добро, которое он им сделал, включая те самые слайды и фотографии, вокруг которых вертелось дело. Перед каждым очередным заседанием, когда подсудимого вводили в зал под конвоем, присутствующие вставали и стояли до тех пор, пока он не занимал место на скамье подсудимых, на «позорной скамье». И еще одна «кафкинская» деталь. Среди присутствующих было, конечно, множество сотрудников КГБ в штатском и дружинников — обычное явление на таких процессах. Но поскольку их задачей было ничем не выделяясь, приходилось вставать и им, таким образом поневоле отдавая вместе со всеми дань уважения Михайлову.

Разумеется, приговор был заранее предreshен, и в задачу судей входил не поиск истины, а придание некой видимости законности происходящего. Приговор — четыре года лагерей с конфискацией имущества. Особый пункт — картины, как не представляющие художественной ценности, уничтожить. Михайлова отправили по этапу на Колыму, а вокруг приговоренных картин завязалась борьба, которая, по существу, не окончена и по сей день. Ленинградские художники создали Фонд спасения коллекции Михайлова. Художники, в том числе уже живущие в эмиграции, обращаются за помощью к общественности Запада и находят такую помощь. Невозможно перечислить все инстанции в СССР и организации за рубежом, куда направляются письма протеста. Под давлением общественного мнения следующая судебная инстанция получает приказ изменить пункт приговора в отношении картин, теперь они должны быть возвращены авторам-художникам. Но это решение суда остается невыполненным. А когда Михайлов, отбыв полностью свой срок в Магаданской области, возвращается в Ленинград, выясняется, что его опечатанная квартира, где хранились картины, разграблена...

Зная советские порядки и почерк КГБ, нетрудно догадаться, что в исчезновении части коллекции был обвинен ее хозяин. Художников-авторов КГБ пытается принудить обвинить его в утаивании их работ. Разумеется, это не удается. И тогда 18 сентября 1985 года Михайлова снова арестовывают. 10 июня 1986 года заканчивается и этот абсурдный процесс: ограбленный коллекционер обвиняется в хищении картин из своей коллекции, хотя каким образом он мог произвести эту «операцию», сидя в колымском лагере, — этому даже в КГБ не сумели сострять более-менее убедительного объяснения. Но очевидность очевидностью, а приговор — приговором: на этот раз 6 лет лагерей строгого режима. Понадобилось вмешательство уже на самом высоком уровне, чтобы расправа, грозившая уже самой жизни Михайлова (первый срок унес немало здоровья), была сорвана: 30 октября, после переговоров между Горбачевым и Миттераном, на которых последний вступился за русского коллекционера, Георгия Михайлова освобождают.

Весь мир, кто с сочувствием, кто с недоверием, следят за происходящими в СССР реформами, носящими кодовое название «Перестройка» (дань мифологизированному сознанию или просто неумение от него отказаться?). Сегодня высокопоставленные деятели искусства, а также его официальные идеологи повторяют те истины, которые открывались людьми типа Георгия Михайлова, опередившими свое время. Сегодня «героический реалист» Георгий Михайлов почти в одиночку организует передвижные выставки русского свободного искусства, показывает Западу, уже хорошо знакомому с творчеством художников-нонконформистов периода «бульдозерных выставок», творчество самых новых художников. Пожелаем ему успехов, пожелаем ему еще одного: чтобы в этом его новом забеге наперегонки со временем он не был одинок.

Ноябрь 1987, Мюнхен



Бригада лесоповала, июнь, 1982 г.



Участок «Осадочный», лесоповал, 97 км от Арарата (Георгий Михайлов в центре).



Вид на пос. Арарат вблизи



Жилище бомжей.



Квартира в Ленинграде перед разгромом. 1985 г.

Фото Георгия Михайлова

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КОЛЫМЫ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Когда начинаешь говорить что-либо о Колыме, нужно прежде всего помнить: там 9 месяцев в году зима, и зима, пожалуй, самая свирепая во всем полушарии, и три месяца лето.

Здесь не гуляют при луне; зимой мороз перебивает дыхание, летом — полчища комаров и мошки. Поэтому большую часть времени все местное население проводит в помещениях, сидя перед телевизором в тех случаях, если в данном поселке есть возможность приема, а это далеко не во всех поселках Колымы. Из-за сопок прием телевидения очень затруднен, и, хотя почти у всех есть возможность приобрести любой телевизор, во многих домах он так и стоит мертвым ящиком.

У местного населения по сравнению с жителями европейской части страны заработки большие, и возможности приобрести вещи есть тоже. Другое дело, что большинство жителей — это приезжий народ, в основном с Украины, считающий свое пребывание на Колыме явлением временным, ради заработка, ради стажа, поэтому живут и работают здесь для того, чтобы все заработанное могло потом обеспечить безбедное существование «на материке». Аборигенов здесь почти нет, по крайней мере это исчезающий процент от общего населения. Поэтому говорить о развитии какой-то национальной культуры бессмысленно. Правда, я слышал о каком-то эстрадно-танцевальном ансамбле, который даже выступал за рубежом и произвел большое впечатление на западную публику, но сам я его никогда не видел.

Один раз в наш сусуманский лагерь приезжала агитбригада из Магадана. И все. Все остальное приобщение местного населения к культуре осуществляется через кино. В лагере, например, посещение кино было обязательным, и для того, чтобы хоть немного позаниматься самому, всякий раз приходилось спрашивать специальное разрешение на непосещение кинофильма. Должен сказать, что на Колыме кино не очень значительно запаздывает по сравнению со столичными центрами. Задержка обычно не более двух-трех месяцев для советских фильмов. И в этом отношении колымчане не очень отстают от жизни. Но, конечно же, все разговоры о культурной жизни они связывают с «материком». Редко когда колымчане регулярно, т. е. каждый год, берут отпуск. Обычно же они накапливают по несколько месяцев отпуска сразу за несколько лет. И тогда в качестве обязательной программы — выезд к морю, посещение родных мест, а иногда туристские поездки по стране и даже за рубеж. На Колыме довольно легко можно заказать себе путевку за границу, правда, такой возможностью мало кто пользуется. Вся же культурная программа также отводится на отпускное время. На Колыме много подделок под народные промыслы. Почти в каждой зоне, почти в каждом поселке и при больших предприятиях есть цехи «народных промыслов». Изготавливаются изделия из кости и шкур, режутся камни, шьется национальная одежда и обувь. Обычно все это малоинтересно и к искусству отношения не имеет.

Несмотря на то, что Колыма — это золотая кладовая всей страны, здесь, как и по всей стране, полностью запрещены всякие промыслы, связанные с ювелирными изделиями.

Думаю, что стоит специально упомянуть единственный курорт, существующий на Колыме с давних пор, еще со сталинских времен. Это курорт Талая. Он построен зеками во времена «позднего репрессанса» и в стиле, почитаемом «вождем всех народов». Но нужно сказать, что сделан он очень добротно. Курорт расположен рядом с горячим источником какой-то целебной воды. В настоящее время он прекрасно оборудован современной (по советским, конечно, понятиям) медицинской техникой, располагает и спортивными залами, и бассейном, и теннисными кортами. И теперь даже установлен телефонный аппарат для прямой связи с Москвой. Отдыхающие во времена морозов могут вообще не выходить за пределы отдельных корпусов, ибо все корпуса связаны друг с другом подземными переходами с оранжереями.

Среди лачужек и бараков Талой и соседних поселков

этот курорт выделяется своей помпезностью и роскошью. Должен еще отметить важное преимущество колымского снабжения: сюда поступает много хороших книг, о которых в столицах можно только мечтать или доставать на «черном рынке».

Удивительным для меня было празднование на Колыме праздника Нептуна. Этот праздник проводится для детей после окончания учебного года. Я дважды присутствовал на этом празднике и дважды фотографировал его. Эти фотографии я потом использовал на выставке фотографий в Магадане.

Вообще за время моего пребывания на Колыме мне удалось дважды устроить выставки. Первую выставку картин художников Вяземского, Брусовани, Убяго и Исачева, картин, которые они прислали мне в мою ссылку, я устроил в июне 1981 г. в поселке Арарат, куда я был помещен. Эффект от выставки был просто огромный. В книге отзывов было написано много добрых слов. До самого окончания выставки я не говорил никому о том, что это были те самые картины, которые суд приговорил к уничтожению. Я просто боялся, что местное начальство спохватится и немедленно запретит выставку. Случилось так, как я и предполагал, только о судьбе моих картинок информировал руководителем Арарата магаданский КГБ.

Под формальным предлогом о начале учений по гражданской обороне мне было приказано немедленно разобрать экспозицию.

И тем не менее выставка просуществовала целую неделю. Она сослужила не только художникам, но и мне добрую службу: теперь я мог демонстрировать жителям поселка то, за что я был осужден, то, что в наше просвещенное время оказывается приговоренным к уничтожению. Это сразу и резко изменило в мою пользу отношение ко мне местного населения. Кроме того, сразу после выставки в клубе я этими же картинами завесил все стены моей комнаты в общежитии. И пригласил всех желающих навещать меня.

Вторая выставка состоялась в Талой на частной квартире одной из местных жительниц. Она началась в июле 1981 г. и продолжалась почти полгода. Там были представлены те же самые работы, что и в Арарате. Здесь у КГБ руки оказались коротки, и воспрепятствовать этой выставке не удалось.

Мне удалось организовать еще одну выставку, но теперь уже моих собственных цветных фотографий Колымы. В условиях Колымы заниматься цветной фотографией очень трудно, т. к. вообще нет никаких фотоматериалов, и все мне присылали из Ленинграда или из Москвы. Тем не менее фотографии у меня получились вполне удачными, и местный книжный магазин предложил мне сделать постоянную выставку в помещении магазина. Работникам магазина пришлось выдерживать неоднократно атаки сотрудников КГБ, требовавших немедленного закрытия «незаконной» выставки, но к шести работников магазина следует сказать, что они не только не уступили наглым требованиям, но сами, самостоятельно избрали для меня и для выставки версию, по которой я якобы подарил эти фотографии магазину и поэтому работники магазина, обещавшие развесить их в магазине для всеобщего обозрения, из чисто этических соображений не могут снять их. Тогда ГБ потребовало по крайней мере убрать книгу отзывов. Ее убрали, но ненадолго. Через некоторое время книга была на прежнем месте по той причине, что ее требовали покупатели и посетители магазина.

Еще одну выставку мне удалось организовать даже в самой спецкомендатуре № 5 г. Хабаровска, но она существовала всего один день, 6 апреля, т. к. именно в этот день я был схвачен сотрудниками КГБ, возглавляемыми Сульдиным, и насильно доставлен в аэропорт и отправлен на Колыму.

Вообще в Хабаровске я пробыл только полгода, из которых более двух месяцев — в больнице. Но именно в Хабаровске произошли наиболее яркие и прямые конфликты между мной, КГБ и спецкомендатурой, которые были расформированы после моей депортации из Хабаровска. Именно в Хабаровске у меня неожиданно появились верные, смелые и самоотверженные друзья, открыто выступившие против произвола КГБ, несмотря на самые жестокие репрессии, свалившиеся на их головы за то, что они помогали мне, верили в меня, поддерживали меня.

О них должен быть особый разговор, и я надеюсь, что

в дальнейшем я смогу воздать должное всем этим честным и порядочным людям, ибо в тех условиях, в которых они находились, они повели себя просто героически.

КОЛЫМА, ПРОБЛЕМЫ ПЬЯНСТВА

На всей огромной Колыме, где раньше были сотни лагерей, теперь их осталось только семь. И одна колония-поселение. Из них один лагерь особо строгого режима, на Омчаке, два других — под самым Магаданом, один — усиленного, на Талой, один «общак» в Сусумане и, наконец, — сразу два ЛТП, т. е. лечебно-трудовых профилактория: один на Ареке, другой в Арарате. Первый — для лиц, ранее не судимых, второй — для тех, кто уже побывал на зонах.

Я не располагаю точной статистикой, но почти с уверенностью могу сказать, что мало где в Советском Союзе имеется еще такая ситуация, при которой 30% заключенных — это лица, находящиеся на принудительном лечении от алкоголизма, и в этом отношении Колыма занимает одно из первых мест, если вообще не первое.

Срок заключения по этой статье Уголовного кодекса РСФСР не превышает двух лет, однако этот срок может быть продлен, если заключенный будет заподозрен в пьянстве внутри лагеря, т. е. во время прохождения так называемого «лечения».

Мне много приходилось сталкиваться и с самими заключенными в ЛТП-1 в Арарате, и с врачами-наркологами, лечащими алкоголиков.

От всех от них я всегда слышал одно и то же: в настоящее время не существует никакого сколько-нибудь эффективного лечения алкоголизма. Да не нужно было и слушать кого-то: все, что происходило прямо у меня на глазах, было ежедневным подтверждением правильности этих слов.

Почти два года я провел в ссылке (вернее, на «химии») в поселке Арарат Магаданской области, работая каждый день с заключенными, то в самой зоне, то на лесоповале.

Формально в самом поселке Арарат — «сухой» закон. Единственный магазин в этом поселке, в котором живет 300 человек «вольных», не торгует ни вином, ни водкой, ни даже пивом. Торгует, правда, одеколоном, который здесь покупают иногда ящиками.

В двадцати пяти километрах от Арарата находится крупный центр — Талая. Здесь уже нет «сухого» закона, и автобус, который три раза в день курсирует между Талой и Араратом, перевозит детей в школу, все три рейса обычно ломится от водки. Для этой цели на Талую чаще всего откомандировываются специальные «гонцы». Кроме этого, водка завозится в ЛТП официально, т. к. ее применение при «лечении» алкоголиков входит в программу этого «лечения».

Большую часть из 300 человек — жителей поселка составляют военные из числа охраны лагеря и их семьи. Вторая часть — это «химики». Их немного, около 30 человек. И, наконец, третья часть — это те лица, которые после освобождения из лагеря остались работать в нем на правах вольных рабочих, мастеров или шоферов. Именно эти люди задают основной тон алкогольной славе Арарата.

Удивительным бюрократическим казусом Арарата, его явным нонсенсом является то, что именно в Арарате можно напиться до полнейшего бесчувствия, до белой горячки и — совершенно безнаказанно. В любом другом поселке Колымы два-три таких выступления, и милиция оформляет тебе «путевку» на принудительное лечение в зону, но... в Арарате нет милиции. Вернее, есть один старшина, но он приставлен к «химикам», являясь начальником спецкомендатуры. Кроме того, в Арарате нет вытрезвителя (ведь — не забудьте! — у нас «сухой» закон). А бюрократическая машина требует при оформлении направления на принудительное лечение: первое — задержание органами милиции, второе — вытрезвитель, третье — медицинское освидетельствование, но... и врача в Арарате тоже нет. Вернее, их много, очень много, целая больница для алкоголиков, но нет ни одного гражданского врача. Есть только медсестра, которая не имеет права на освидетельствование.

Таким образом, вся существующая в Арарате система — это наглядный пример бюрократического абсурда. И поэтому, я думаю, мало на Колыме мест, где так пьют и где так напиваются, как в Арарате с его «сухим» законом.

Конечно, в зону водка попадает редко, кроме той, которая «для лечения». И любой случай пьянства в зоне — это действительно ЧП. Но за пределами зоны, среди «воль-

ных», это обычное и массовое явление. Пьют все: начальство и подчиненные, «химики» и милиция, прапорщики и капитаны; даже школьники.

Давно доказано, что пьянство и алкоголизм имеют корнями социальные причины, главные из которых — это бездуховность, бескультурье, отсутствие нравственных принципов. Много десятков лет пропаганда убеждала нас, что социализм в нашей стране уничтожил социальные корни пьянства и алкоголизма, которые, как нас учили, были связаны с эксплуатацией человека человеком, и вдруг... Страна победившего социализма оказывается буквально за несколько лет на первом месте в мире по потреблению алкоголя, а Колыма, ее «золотая кладовая», добивается золотой награды по числу пораженных этим недугом.

Я не знаю, какие перемены принесла Колыме новая политика Горбачева по борьбе с пьянством, т. к. я уехал оттуда в 1983 г. Хотелось бы надеяться, что, как и в целом, она принесла свои несомненно положительные перемены и в жизнь этого региона.

В заключение я хотел бы всего несколько слов сказать о том, как отличается ситуация на Колыме от того, что происходило в те годы в Хабаровске.

На Колыме, как я уже говорил, практически не было проблем со снабжением края водкой: она была постоянно и в достаточном количестве.

В Хабаровске все было иначе.

За всю свою жизнь я видел всего три очереди, поразившие мое воображение: это километровая очередь за билетами на концерт Бенини Гудмэна в Ленинграде в 1962 г., очередь на несколько километров на выставку художников в ДК «Невский» в 1975 г., и третья очередь была... за водкой. В Хабаровске. В центре города, на его центральной магистрали — пр. Карла Маркса. Я помню, что ехал из аэропорта на автобусе и проезжал мимо этой очереди в течение нескольких минут. Никогда и нигде потом мне уже не доводилось видеть такого величия, хотя за те полгода, которые я провел в Хабаровске, приходилось видеть километровые очереди неоднократно.

Хабаровск снабжался спиртным плохо, и это, по-видимому, все-таки следует отнести в заслугу «отцам города».

Да, и в Хабаровске пьяных было полно, но все же сравнить ситуацию на Колыме и в Хабаровске, по-видимому, не стоит, в этом соревновании все лавры печального первенства останутся за Колымой.

О ПОЛОЖЕНИИ КИТАЙЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СССР

Все, что мне известно о положении китайских перебежчиков, проживающих сейчас в СССР, мне известно от Ху Пина, с которым я провел в Сусуманском лагере вместе полгода, а также от Николая Николаева, заключенного лагеря в Арарате; с ним мы неоднократно беседовали о судьбе Ху Пина.

О самом Ху Пине. Шестнадцатилетним подростком Ху Пин со своей старшей сестрой бежал от «культурной революции» Мао в «страну подлинного социализма», каким в те времена считал Ху Пин СССР. Сестра его также считала СССР воплощением подлинных идеалов социализма. Они вдвоем переплыли Амур, причем плохо плававший Ху Пин едва не утонул, и его сестра спасла его, тонущего и выбившегося из сил. На советском берегу их обоих подобрали пограничники и первое, что сделали, это надолго разлучили Ху Пина и его сестру.

Володя (такое имя дали Ху Пину в Советском Союзе) долго рассказывал мне в лагере о том, как органы КГБ пытались обработать его и сделать из него своего разведчика. Его и били, и запугивали. Ему угрожали выдачей китайским властям, подолгу держали в карцере без пищи. Результатом этой мудрой воспитательной работы явилось то, что Ху Пин возненавидел и то, что прежде считал идеалом.

Через полгода от него отстали. Его выпустили, и он смог встретиться с сестрой, поступил в школу и окончил одиннадцатилетку. Он и его сестра были помещены в совхоз «Победа», который находился неподалеку от станции Волочаевка, что рядом с Хабаровском.

В этом совхозе Ху Пин и его сестра прожили вместе довольно долго. Сестра вышла замуж за такого же, как и она, беглого китайца, живущего в «Победе». Сам Ху Пин работал на ферме. Построил свою теплицу, свой дом. Это вообще было очень работящий и способный молодой человек.

Работая в «Победе», он окончательно укрепил себя в мысли, что допустил глупейшую ошибку, считая родину

социализма единственной страной, где реально восторжествовали идеи Ленина. Выхода из создавшегося положения он не видел. Совхоз «Победа» китайцам покидать за-прещалось, связи с внешним миром не было никакой, кругом были доносчики и осведомители. Разговаривать с кем-либо, делиться своими соображениями было опасно. И Ху Пин решает на весьма опасный и опрометчивый шаг: он пишет о положении китайской резервации, и этот текст, рукописно размноженный в 47 экземплярах, он, начитавшийся жюль-верновских романов, запаивает в 47 бутылок и эти бутылки пускает в Амур в надежде, что найдется какой-нибудь Гленерван и на его, Хупиново, счастье. Но все, естественно, оказалось гораздо более прозаическим.

Уже через несколько дней несколько хупиновских текстов находилось в руках органов госбезопасности, а Ху Пин был схвачен, подвергнут допросу и избиениям, после чего отправлен в поселение Эльген Магаданской области.

Поселок Эльген находился примерно в пятистах километрах от Магадана в сторону Сусумана, и в нем также находилось спецпоселение для китайцев. Но в отличие от «Победы», где китайцев было несколько сотен, в Эльгене содержалось только несколько человек, что-то около десятка. Это были в основном в чем-то провинившиеся, вроде Ху Пина, китайцы. Какого-то специального отдельного формирования они не образовывали, а жили среди местного населения без права покидать пределы поселка.

Те, кто хоть немного знает Колыму, могут понять, что бежать с Колымского края невозможно: даже бригады заключенных иногда оставляют в лесу без всякой охраны, ибо побег немалым.

Вся Колыма пересечена одной, разветвляющейся на две и снова сходящейся, трассой. Ни вправо, ни влево дорог нет (о колымских дорогах особый разговор в дальнейшем — это целая поэма!). Сама же колымская трасса из-за того, что по ней перевозится золото, находится под сверхусиленным контролем органов милиции и госбезопасности. Выходить на Магадан или прибрежные Армань или Олу невозможно, поскольку это погранзоны, где все население на учете, и скрыться там невозможно, но, главное, и оттуда-то некуда податься: не переплыть же Охотское море! Существует иллюзорное представление, что если добраться до Усть-Неры или Хандыги, то там уже проще: до Якутска «каких-нибудь» 700 километров, и иногда ходят машины. Мне много приходилось слышать от заключенных такую мысль: только бы добраться до Якутска! И никто не думал о том, а как же дальше, ведь и от Якутска всего одна трасса до Тынды, и с нее ни вправо, ни влево не свернешь, но об этом никто не думал: только бы до Якутска!

Так же, видимо, думал и Ху Пин, наслушавшись «бывалых» колымчан. То, что удалось ему, видимо, не удавалось никому ранее: несмотря на немедленно объявленный все-союзный розыск, Ху Пина арестовали только спустя две недели, и он сумел добраться до Усть-Неры.

Он долго готовился к побегу, и, как он считал, очень тщательно. Он наивно предполагал, что сможет оказаться не обнаруженным и раствориться в толпе большого города, каковым он считал Якутск.

На что он рассчитывал дальше, мне так выяснить и не удалось. Я многократно выпрашивал у него: «Володя! Ну, давай предположим самое лучшее, самое благоприятное для тебя! Итечение обстоятельств, и ты добрался до Якутска и даже — пусть не до Якутска, а до Читы или даже Иркутска. Что дальше! На что ты рассчитывал! Что собирался делать!»

Ответа какого-нибудь вразумительного я так и не получил. Основная идея его заключалась в том, что он намеревался перейти через границу, но где, как и куда, об этом он, по-видимому, действительно не задумывался, зачарованный одной идеей: только бы до Якутска!

В сусуманском лагере он оказался после побега. Он был помещен туда без суда, без следствия, без статьи и без срока. Он был в лагере в этом отношении совершенно на особом положении.

Мы оказались с ним в одном отряде и работали тоже вместе, а через некоторое время, сдружившись, стали держаться вместе. И это было немедленно использовано лагерным начальством. Капитан Смирнов несколько раз вызывал к себе Ху Пина и предлагал ему «сотрудничество», которое должно было выражаться в том, что Ху Пин должен был сообщать Смирнову или Масалину (операм) подробности всех наших бесед. В качестве «платы» Смирнов предлагал Ху Пину «ходатайствовать» о предоставлении

ему, Ху Пину, советского гражданства. Дело в том, что все китайские перебежчики советского гражданства не имеют, и получение его для них большая проблема, ибо получение гражданства позволило бы им жить не в резервации, а свободно. И многие из китайцев действительно многие годы добиваются получения гражданства. Именно на это и рассчитывал Смирнов, когда предлагал Ху Пину «сотрудничество». Он не знал, что Ху Пин уже окончательно решил для себя бежать куда угодно, хоть обратно в Китай. Рассказывая мне о попытках вербовки его, Ху Пин сам не переставал удивляться, как могла прийти Смирнову такая мысль, когда ему уже было все известно о побеге Ху Пина из Эльгена.

В лагере мы занимались с Ху Пином английским языком. Наши занятия привлекали большое внимание стукачей, но прятаться было формально не к чему, и вскоре от нас отстали. Но наши занятия сослужили одну важную службу.

У Ху Пина была одна идея, приоритет которой он считал за собой. Он думал, что никому в мире еще в голову не пришла одна очень простая, но очень полезная мысль: мысль о создании ледяных городов в Антарктиде. Эту идею он под огромным секретом доверил мне, когда выяснилось, что я, возможно, сумею выбраться из лагеря. Мои попытки убедить его в несостоятельности этой идеи ни привели ни к чему, и все мои доводы разбивались о его веру. В конце концов мы договорились о том, что он подробно изложит свой проект письменно, латинскими буквами, чтобы для цензуры эти тетрадки были бы нашими занятиями английским языком, и две недели Володя все свое свободное время тратил на описание проекта ледяного города.

Мне удалось вывезти этот труд из лагеря. Через моих друзей эти тетрадки были переданы Валерию Репину. Именно они послужили основой обвинения Репина в измене Родины. Именно эти тетрадки явились объектом, на котором строились и мои допросы по делу Репина.

К счастью, я сумел в свое время сделать микрофильм с этих тетрадей, и, возможно, их можно будет найти и восстановить.

В начале тетрадки Ху Пин написал какой-то короткий текст на китайском языке. По утверждению Кондратенкова, сотрудника КГБ Магаданской области, допрашивавшего меня и мою мать на Колыме осенью 1982 г., а также по заявлению Коршунова Павла Николаевича, сотрудника КГБ Ленинграда, также допрашивавшего меня 2 сентября 1983 г., в этом тексте на китайском языке Ху Пин якобы обращается к международной общественности и лично к президенту Картеру с просьбой помочь ему. И Кондратенков и Коршунов пытались убедить меня, что такая просьба — это антисоветская деятельность, а помощь в передаче такой просьбы — это измена Родине, что и было вменено Репину. Коршунов договорился до того, что обвинение в измене Родине не было предъявлено мне официально только, дескать, потому, что я «не знаю китайского языка»! А Репину она вменялась потому, что ему кто-то перевел, и Валерий таким образом был осведомлен об этом еретическом документе.

К сожалению, я ничего не знаю о судьбе Ху Пина. Оказавшись в Хабаровске, я сразу же выполнил все, что обещал ему: написал его сестре, отправил в Ленинград тетрадь Ху Пина и написал ему в лагерь обо всем об этом. Ни от его сестры, ни от него самого я писем не получил и очень расстроился, когда узнал, что всем, кому я писал в лагерь, письма пришли. Кроме него.

Когда я снова оказался на Колыме, я расспрашивал всех, кто мог знать о Ху Пине, но его след потерялся. Из лагеря в Сусумане он был куда-то отправлен, но никто не знал, куда.

Ху Пина и всех живших с ним в Эльгене китайцев знал Николай Николаев, заключенный, работавший банщиком в Арате. Он рассказывал, что из всех китайцев, сосланных в Эльген, Ху Пин был самым работающим и, что, пожалуй, главное, непьющим. Почти все остальные китайские поселенцы спивались в Эльгене. Он утопился в проруби, сделав это сознательно и расчетливо. Рядом с прорубью он сложил аккуратно свое белье, а сверху положил все накопленные им деньги (кажется, что-то около двух тысяч рублей).

Несмотря на то, что в Эльгене китайцы без гражданства, все колымские денежные льготы распространялись и на них, и они зарабатывали довольно много.

Но, конечно, главнейший бич Колымы, да и не только Колымы, а всей брежневской державы — это пьянство.

(Продолжение следует)

ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНОГО СБЛИЖЕНИЯ С НАРОДАМИ СССР 1929-40 гг.

Конституция, которая не так давно стала увлекательным материалом для чтения, среди других свобод гарантирует советскому гражданину и свободу общения. Долгие годы эта свобода на практике означала право на свободу выбора между обществом собаководов и филателистов. Ничуть не отрицая значения этих и других официально разрешенных организаций, надо признать, что они и близко не удовлетворяют стремления всех людей к деятельности в кругу истинных единомышленников. Поэтому на самом деле нет ничего удивительного, что в течение последнего года так стремительно образуются национальные, профессиональные и др. общества и союзы — общество спешит стряхнуть путы сплошной коллективизации сознания. Примечательно то, что большая часть этих организаций не организуется заново, а именно возрождается, возобновляется. Без сомнения, эти общества обратятся не только к актуальным общественным вопросам, но и к изучению своей собственной истории, и в этом их ожидает широкое поле деятельности. А тех, кто думает, что слишком уж много развелось разных обществ, можно успокоить — далеко не все существовавшие в свое время общества восстановлены. Есть и такие, которые наверняка не восстановят. Среди таких и это, образованное 60 лет назад, Общество.

«Общество культурного сближения с народами СССР» — так красивым четким почерком написано на первой странице небольшой черной общей тетрадки. Почерк принадлежит Элине Залите — секретарю Общества с 1932 до 1940 года. Три такие общие тетради с протоколами общих собраний и заседаний правления Общества, кассовая книга, несколько папок с перепиской — это все, что сохранилось от Общества в фондах ЦГИА. Более обоснованная оценка значения требовала бы более серьезного изучения, однако пока рассмотрим в документы.

Общество основала группа латышских интеллигентов, в основном художников и писателей. В литературе часто подчеркивается, что идея необходимости создания такого общества принадлежит Райнису. Хотя в документах это прямо не отражается, это весьма реально. Среди членов-основателей есть, однако, такие работники культуры, которые позже были признаны достаточно «правильными» (или были так велики, что никак не могли быть скрытыми от народа), и такие, которых можно было вспоминать лишь с обязательным рефреном «известные недостатки», и такие, от которых в истории остались одни пятна (черные, белые и красные — кровавые). А 25 апреля 1929 года все они: Райнис, Аспазия, П. Розитис, Я. Акуратерс, В. Гревиньш, Я. Яунсудрабинь, А. Эрсс, Я. Судрабакалс, К. Линде, Т. Рейтерс, А. Амтманис-Бриедитис, Р. Сута, А. Бельцова, З. Видбергс, Ф. Варславан, П. Грузинс собрались вместе, чтобы основать общество, цель которого — «способствовать сближению народов Латвии и СССР в науке, литературе, изобразительном искусстве и туризме... а также всесторонне поддерживать все начинающиеся в Латвии и СССР, способствующие культурному сближению» (из устава Общества).

Сегодня невозможно сказать, что привязывало каждого из названных людей к Обществу, сколько там было желания строить «новый мир», сколько стремления к расши-

рению культурных горизонтов. Ясно одно: национальная ограниченность и антисоветские настроения не были распространены среди латышской интеллигенции.

В первое правление Общества вошли Райнис, Я. Яунсудрабинь, Т. Рейтерс, А. Амтманис-Бриедитис, П. Розитис, В. Гревиньш; председателем единогласно избрали Райниса.

Новорожденное Общество решило отметить начало своей деятельности широким мероприятием. Это произошло 3 июня 1929 года в Национальном театре; выступали, как ранее было решено на заседании правления, «выдающиеся художники» — и актеры рижских театров, и певцы, и музыканты — Мария Лейко, Бирута Скуенице, Адольф Каулиньш, Пауль Сакс, Пауль Шуберт, и гости из Советского Союза — солисты Большого театра Валерия Барсова и Александр Александров, солисты балета Хелена Алющенко и Александр Алексеев, актер Московского художественного театра В. Качалов. Со словами приветствия обратились Я. Яунсудрабинь и Райнис. Оно так и осталось первым и последним выступлением поэта от имени Общества — через неполных четыре месяца в папках с документами собирались траурные телеграммы, в которых всевозможные организации и частные лица выражали сочувствие Обществу культурного сближения в связи со смертью его председателя.

Председателем Общества становится Павел Розитис. Под его руководством через всевозможные трудности рождалось первое большое мероприятие — выставка графиков Советского Союза в Риге, которая и была открыта с 17 ноября 1929 года по 31 декабря. Судя по каталогу, выставка интересна и отражает еще не вытравленную многосторонность и новаторство советского искусства того времени. Участвовали 10 разных объединений художников, среди авторов были М. Аксельрод, А. Дейнека, Н. Куприянов, А. Тышлер, Д. Штеренберг, А. Лабасс и др., участвовал и Густав Клуцис со своей работой «Тучи» и иллюстрациями к поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Однако, как это и случается, эту великолепную коллекцию омрачили бытовые трудности. З. Видберг, ответственный за организацию выставки, не сумел найти подходящего помещения. В результате выставка была открыта в одном из только что отстроенных ангаров Центрального рынка, который оказался совсем неподходящим для такой цели. На заседании правления 9 декабря пришлось констатировать, что «... выставку публика посещает крайне неудовлетворительно, поэтому предвидятся большие убытки». Это мрачное предсказание сбылось, но это не было виной публики. Как сказано в заявлении Общества городским властям, «... от сырости выставленные работы портятся, и из-за холода посетителям невозможно находиться в помещении выставки». Понятно, что в огромном неотапливаемом ангаре посреди зимы находиться довольно трудно, выставку пришлось перенести в другое помещение, а это потребовало дополнительных расходов. Подводя итоги этого первого мероприятия, правление Общества было вынуждено констатировать, что неоплаченными остались векселя на 1400 лат.

С денежными делами вообще в первые годы существования Общества совсем печально. В соответствии с уставом средства Общества состоят из вступительных взносов

и годовых взносов (они не велики — соответственно 1 и 2 лата), доходов от мероприятий, подарков и пожертвований. По кассовой книге, которую аккуратно вел избранный кассиром А. Амтманис-Бриедитис, видно, что единственное пожертвование получено в то время от ВОКСа в размере 300 лат и предназначено для устройства названной выставки. На заседаниях правления время от времени высказываются жалобы на тяжелое материальное положение, и в марте 1930 года наиболее активные члены — П. Розитис, В. Гревиньш, Я. Яунсудрабинь, Т. Рейтерс, А. Амтманис-Бриедитис — дают взаймы Обществу каждый по своим возможностям от 20 до 40 лат.

Однако не только финансовые затруднения омрачают деятельность Общества. На общих собраниях неоднократно подчеркивалось, что заинтересованность в культурных связях с другой стороны могла бы быть большей. 18 мая 1931 года в своем выступлении о деятельности за предыдущий год П. Розитис подчеркнул, что Общество очень зависит от отзывчивости культурных учреждений СССР. «И она была не особенной...», — записано в протоколе. На общем собрании 3 октября 1933 года подобные трудности признает В. Гревиньш: «Культурному сближению мешают и граница и политические препоны». Поэтому и не реализовались многие интересные задумки — приезд М. Зошенко в Латвию, приглашение для постановки спектаклей в Дайле и Национальном театре Мейерхольда и Теодора Амтмана, экскурсия в Советский Союз, доставка журналов.

Несмотря на эти трудности, Общество старалось действовать в соответствии со своими целями. При участии Общества в 1929 году были организованы гастроли певцов А. Кактия и М. Брехмане-Штенгеле в Советском Союзе, в 1930 году — поездка актера Я. Приеде в Москву, где он знакомился с театрами. При поддержке Общества в это время в Москве побывали и Эйжен Витиньш, и Анна Гревиня. В последний момент перед гастролями заболела певица А. Либерте-Ребане. Все названные деятели были членами Общества со дня его основания. Кроме них, с первого года существования в Обществе Лилия Штенгеле, Л. Либерте, Тия Банга, Август Кирхенштейн, Элина Залите, Ольга Леяскалне и др. Общество в свои ряды принимало только деятелей культуры и людей творческих профессий, но этой причине было отказано одному рижскому купцу, быть может ценой осложнения своего финансового положения, но, однако, это было акцентированием того, что сближение должно быть только путем обмена культурными ценностями.

Со стороны СССР с Обществом активно сотрудничала певица Людмила Барсова, неоднократно гастролировавшая в Латвии, кроме нее и скрипач Давид Ойстрах. В сотрудничестве с Белорусским культурным обществом в 1929 году в Риге были организованы Дни белорусской культуры.

В 1931 году умирает председатель Общества культурных связей П. Розитис. Общество теряет члена, наиболее активно претворявшего в жизнь идею сближения, человека, руководившего Обществом практически со дня его основания. Председателем избирается Я. Яунсудрабинь.

В 1934 году было проведено одно из крупнейших мероприятий Общества — выставка латышского искусства в Москве. Уже в начале года образован организационный комитет, в который вошли О. Скулме, Н. Струнке, Я. Яунсудрабинь. Удалось успешно решить финансовую сторону — Министерством образования выделены 2000 лат. На этот раз поддержала и вторая сторона — ВОКС обязалась взять на себя расходы на территории СССР. Список участников внушительен — К. Миесникс, А. Цирулис, К. Убанс, В. Тоне, Э. Калниньш, О. Скулме, И. Скулме, Г. Эласс, К. Бренценс, Л. Либерт, Ф. Варславан, Л. Свемп, Н. Струнке, Р. Суга, Э. Видберге, Х. Вика, Я. Яунсудрабинь и др.; скульптуру представляли Б. Дзенис, К. Бауманис, Э. Мелдерис, Т. Залькалне, М. Скулме — всего 37 художников со 166 работами. Перед отправкой произведения искусства страхуются, наиболее ценными

были четыре картины, среди них «Хлеб насущный» К. Миесникса, две К. Бренцена и картина Г. Элиасса из цикла «Деревня», они страхуются на 2000 лат; самая дорогая скульптура, застрахованная на 5000 лат, — «Купальщица» К. Бауманиса.

Выставка имела большой успех. Лео Свемп, сопро-вождавший выставку по поручению Общества, 13 мая, накануне ее открытия, телеграфирует из Москвы: «После предварительного осмотра художники признали высокохудожественный уровень нашего искусства и высказались о мастерстве наших художников, о серьезности и глубине решения изобразительной и тематической задачи». В свою очередь телеграмма от 17 мая сообщала, что в связи с большим потоком публики выставку решено продлить до 6 июня. Действительно, блестящие успехи, учитывая, что среди художников были и такие, которые через ничтожных пятнадцать лет никак не справятся с высокими требованиями социалистического реализма.

А в Латвии тем временем происходит переворот 15 мая. Он вносит ощутимые перемены в деятельность Общества, хотя как раз в документах этого не отражается и Общество не запрещается. Однако активность работы иссякает. В феврале 1934 года Я. Яунсудрабинь прислал сообщение, что отказывается от участия в Обществе. Это, очевидно, связано с запутавшейся жизнью писателя. Сам он свой отказ мотивирует очень поэтично: «... жизнь меня заставила уйти на далекую окраину, откуда можно только наблюдать ее течение». Однако еще до 1936 года в Рижскую префектуру прислано сообщение (это примета нового времени — требование о заявке на собрания обществ и сообщение о выбранных ответственных лицах), в котором председателем указывается Я. Яунсудрабинь, хотя документы подписывает товарищ председателя Э. Смильгис. Членами правления указываются Э. Залите, О. Скулме, Р. Пелле, В. Гревиньш. До 1938 года не проводились собрания Общества, не протоколировались и заседания правления. И тем не менее этот небольшой кружок энтузиастов в 1937 году проводит в фойе Художественного театра Дайле выставку книг, посвященную 100-летию со дня смерти Пушкина, и гостеприимно принимает солиста Большого театра Ивана Жадана, гастролировавшего в спектакле Национальной оперы «Евгений Онегин».

В этом же году на 7 ноября намечено организовать концерт в честь 20-летия создания СССР, в нем согласились принять участие М. Брехмане-Штенгеле, П. Сакс, П. Шуберт, вступительное слово было поручено А. Швабу. Однако в последний момент пришло сообщение, что ожидаемые гости явиться не могут, и мероприятие не состоялось.

В 1938 году Общество решает перерегистрировать свой устав в соответствии с новым законодательством; это сделано 30 ноября того же года. По сравнению с уставом 1929 года в новом существенных изменений нет. После длительного перерыва проведено общее собрание. На следующем за ним заседании правления председателем избирается Э. Смильгис, заместителями — Янис Плауде и Арвид Григулис. Деятельность возобновляется подготовкой к первому крупному юбилею Общества — 10-летию.

Его украшают концертом и выставкой детских книг и рисунков из Советского Союза (летом 1939 года в театре Дайле). Выставка посещается сравнительно хорошо и дает доход. Билет стоит 50 сантимов, а каталог, с первой страницы которого улыбается Иосиф Виссарионович с маленькой девочкой на коленях, — целый лат.

В 1939 году по приглашению ВОКСа представители А. Кирхенштейн и В. Гревиньш посещают Сельскохозяйственную выставку в Москве, происходит обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества. Вместе с дру-гими коллективами задуманы «... гастроли Красноармейского художественного ансамбля в Риге...», которым настолько долги мы суждено было стать на сцене Рижского общества латышей.

Таким образом, натянутая атмосфера, внешне неза-метная, все-таки отразилась на работе Общества. Ее еще

более усилили дальнейшие события. В начале 1940 года после отказа Э. Смильгиса от поста председателем становится профессор Латвийского университета, бывший министр земледелия и образования Арвид Калниньш. Его, как и членов правления А. Малитиса, О. Озолина, Х. Зариня, на должность назначает министр общественных дел, таким образом грубо нарушив устав Общества. Слишком коротким был отрезок времени, чтобы сделать вывод о возможных изменениях в работе Общества под влиянием этих перемен.

Выросло и число членов, в январе и феврале в Общество вступили А. Чакс, К. Эгле, Ю. Лацис, Р. Скуиня и др., вновь принят Я. Янсудрабинь. В марте 1940 года в Общество принимаются посол СССР М. Зотов и представитель ВОКСа М. Ветров. Из протокола этого собрания: «... правление согласно с предложением посла СССР приглашать М. Ветрова на отдельные заседания правления, а также заседания по техническим вопросам». 3 июня принят в Общество посол СССР В. Деревянский.

Несмотря на эти перемены, Общество продолжает свою деятельность. Оно приобретает свое помещение (до этого все заседания правления проводились в квартирах членов, для больших мероприятий использовался зал Дайле), стали платить зарплату секретарю-делопроизводителю. Задумано издавать журнал на латышском и русском языках, уже подготовлена часть публикаций. Главное событие — близится к концу подготовительные работы к проведению в 1939 году выставки книг. Она задумана как демонстрация высших достижений латышской культуры в Москве; к работе приобщились министерства общественных дел и образования, Государственное статистическое управление, представители Государственной библиотеки и Общества книгоиздателей. Образована техническая комиссия по подготовке выставки, председатель которой — Л. Либертс. Кабинет министров выделяет ошутимое пособие — 9000 лат. 30 марта 1940 года всем издательствам разосланы просьбы о передаче этой выставке «... по одному экземпляру изданной Вами книги и периодических изданий этого года, выбирая при этом не только парадные издания, но и лучшие книги для широкого круга читателей». В результате было собрано примерно 1700 изданий. Издательство «Вальтер и Рапа» выделили примерно 250 книг, издательство А. Гулбиса — 100, «Граматы Драугс», «Граматы Зиедс», «Зелта Абеле» — примерно по 50 каждое. Различные издания в соответствии со своим профилем дают Отдел учебных пособий Министерства образования, Управление памятников, Камера ремесленничества, общества библиотекарей, фармацевтов и географов, Институт истории Латвии, Государственный архив, Институт картографии П. Мантиниека, Сельскохозяйственная камера, Общество Рериха; 30 различных нотных изданий дает магазин музыкальных изданий О. Кролла. Наиболее обширен список художественной литературы, в нем и первые тома собраний сочинений Райниса, Аспазии, Блауманиса, Бригадере, Маурини, Яусудрабиня, Плудоня, Порука, Скалбе, Вирзы, и отдельные книги — «Их коснулась вечность» А. Чака, «Сын рыбака» В. Лациса и многие другие. Более 80 томов составляла переводная литература, 82 различных периодических издания, начиная с популярных «Атпута» и «Зелтене» и кончая «Ежемесячником рыболовства» и «Журналом латвийских ветеринарных врачей». Выставку намечено дополнить портретами писателей и бронзовым бюстом Улманиса работы К. Зале.

Технической комиссии предстоит большой труд, пока все это богатство будет обработано и систематизировано. Но к этому добавились трудности с помещениями в Москве. Их дообещало найти ВОКС, но почти на каждом заседании правления звучали жалобы, что это еще не сделано. Наконец, 11 апреля 1940 года на заседании правления «М. Либертс» А. Лангин сообщает об информации, полученной от ВОКСа через посла в Москве господина Ф. Кошня: помещения для выставки еще не найдены, однако ВОКС желает, чтобы книги срочно выслали в Москву, предварительно предоставив списки» (выделено мною. Неужели уже

начинали готовить к заключению в спецфонды списки литературы? — М. А.).

Как бы там ни было, 22 мая подготовительные работы завершены, и делегация — председатель Общества А. Калниньш, директор Национального театра Я. Гринс, секретарь профсоюза книжной промышленности В. Буте, заведующий Восточным отделом Министерства иностранных дел А. Лангин и Л. Либерт — отправляется в Москву. В начале июня выставка открывается. Возвратившись 13 июня, делегаты рассказывают на заседании правления о доброжелательном приеме, и правление единогласно решает подарить все книги с выставки ВОКСу. Трудно сказать, насколько они предчувствовали свою и дальнейшую судьбу Латвии. Только сегодня можно полностью осознать этот трагизм «лебединой песни» латышской культуры — отдать книги, все лучшее, что создала нация за годы своего свободного существования, получив взамен танки.

О деятельности Общества после событий 1940 года свидетельствуют несколько протоколов заседаний правления и один протокол общего собрания. Протоколы заседаний от 26 июня, 8 и 10 июля содержат лишь списки новых членов. Желание дружить с СССР внезапно приобрело непредвиденные размеры — если до сих пор в списках было 109 фамилий, то на упомянутых трех заседаниях всего был принят 151 новый член. 10 июля 1940 года было проведено последнее общее собрание. Открывая его, председатель А. Калниньш призвал послать поздравления новому руководству Латвии и послу СССР Деревянскому «... с просьбой передать приветы государственным деятелям СССР Сталину, Молотову, Вышинскому». На собрании неоднократно высказывалась мысль, что настоящая работа только начинается. Особенно пламенно высказывался Я. Ниедре (принятый в Общество 8 июля 1940 года, за целых два дня до собрания), вещая то, что «... даже участие в выборах Сейма и голосование за блок трудящихся есть сближение с СССР».

Разумно прозвучала мысль Р. Эгле, что нежелательно допускать такой огромный приток новых членов, но никто не стал дискутировать. Собрание кончилось так же приподнято, как и началось, — было отправлено приветствие КПЛ.

Ну, могла бы начинаться настоящая работа. Однако не началась. После этого собрания провели еще два заседания правления. 11 сентября председатель А. Калниньш «... сообщил о письмах, которые направлены начальнику Управления художественными делами Х. Ликуму и в Отдел внутренних дел Наркомата, чтобы выяснить условия дальнейшей работы». Ответов на эти записки в документах Общества не находим. Можно допустить, что после «долгожданного присоединения» Латвии к СССР такое Общество теряет свое значение, однако здесь уставом предусмотрен выход — ликвидация Общества по решению общего собрания. Однако собрание не состоялось.

19 октября состоялось последнее заседание правления, которое решило «... в связи с предполагающейся ликвидацией уволить делопроизводителя». Больше вопросов не было, заседание закончилось в 13.15. Подписались А. Калниньш, Э. Смильгис, Э. Залите. Черная тетрадь осталась исписанной наполовину.

На этом и надо оканчивать просмотр документов Общества. Разумеется, многое осталось вне протоколов, много что требует исследований в более широком контексте.

«Историю латышской культуры в 1919—1940 гг.» еще надо написать, и свою страницу заполнит и Общество культурного сближения с народами СССР.

Да, это Общество, очевидно, не восстановят. Вряд ли в Латвии найдется кто-то, кто еще не узнал о достижениях СССР буквально во всех аспектах жизни. А может быть, вглядываясь в будущее, есть все-таки смысл подумать? Потому что теперь, когда с народами СССР сближены административно, политически, экономически так тесно, что не вздохнуть, начинаем осознать, насколько бедно именно культурное сближение.

Перевод ТАТЬЯНЫ РУДЯК

Судьба Рауля Валленберга волновала меня в течение многих лет. Уже сравнительно недавно, после нашего возвращения из горьковской ссылки, моя жена и я вновь предприняли несколько попыток найти Рауля Валленберга или хоть какие-то сведения о нём.

Я сознаю, трудно надеяться на то, что Рауль Валленберг ещё жив в возрасте 77 лет и после 43 лет заключения. Однако трудно и расстаться с этой надеждой.

«Никогда еще в истории человечества столь многие не были столь многим обязаны столь немногим» — эти слова Уинстона Черчилля о пилотах РАФ (Королевских военно-воздушных сил), защитивших Лондон, приложимы и к Раулю Валленбергу. Трудно смириться с тем, что его наградой стала смерть в камере или подвалах Лубянки или позднее где-то в советских тюрьмах и лагерях.

Хочу надеяться, что многолетний заговор официального молчания будет разрушен и это будет способствовать освобождению хотя бы имени Рауля Валленберга.

Однако если даже Рауль Валленберг не дожил до перестройки — мы дожили. И нам искупать вину за преступления, совершенные от нашего имени и Сталиным, и его наследниками. И сейчас самое меньшее из того, что мы можем сделать, — это ответить на вопрос, на который уже более 40 лет весь мир пытается добиться от советского правительства вразумительного ответа: «Что произошло с Раулем Валленбергом!»

АНДРЕЙ САХАРОВ.



РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ

ЛАРИСА ЛИСЮТКИНА

ПОДВИГ И ТРАГЕДИЯ РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА: ЗАГАДКА ОДНОЙ СУДЬБЫ

Имя Рауля Валленберга до недавнего времени было никому не известно в нашей стране. Кроме официальных лиц из МИД СССР, которые по долгу службы были вынуждены регулярно отвечать на многочисленные запросы иностранных государственных деятелей и общественных организаций о судьбе этого необыкновенного человека.

Впрочем, Большая Советская энциклопедия содержит некоторую информацию по этой персоналии: «Валленберги — семья миллионеров, возглавляющая финансовую олигархию Швеции. Владеют одним из крупнейших шведских банков — «Стокгольмс Эншилда Банк», являющимся их основным штабом, и занимают господствующее положение в шведской промышленности... Валленберги активно поддерживали германский фашизм и во время второй мировой войны нажились на военных поставках Германии. Валленберги являются злейшими врагами рабочего класса и демократии, возглавляют антинародные круги, подчиняющие Швецию американскому империализму и поддерживающие его агрессивную политику» (БСЭ, 2-е изд., М., 1951, т. 6, с. 574). В заключительной части статьи перечислены самые выдающиеся представители нескольких поколений семьи Валленбергов, но умалчивается о Рауле и его гуманистическом подвиге, известном всему миру: во время второй мировой войны, действуя на собственный страх и риск, он в одиночку спас около ста тысяч человек. Это были венгерские евреи, обреченные на гибель национал-социалистами. В Будапеште Валленбергу воздвигнут памятник.

*** *** ***

Рауль Валленберг родился 5 августа 1912 года в Стокгольме. По рождению он — баловень судьбы, единственный отпрыск самого богатого и влиятельного банкирского семейства Швеции. Вопреки семейной традиции он избрал профессию архитектора и вплоть до начала второй мировой войны успешно работал в этой

области. Затем наступает драматический поворот в его биографии: с июля 1944 года по январь 1945-го он находится в Будапеште с дипломатическим паспортом и с неофициальной миссией оказания помощи обреченным на гибель жертвам эсэсовцев и салашистов (так называли себя венгерские фашисты по имени лидера партии «Скрещенные стрелы» Ф. Салаши). Финал наступил в полном соответствии с неправдоподобными парадоксами истории: вернув тысячам и тысячам людей жизнь и свободу, Рауль Валленберг сам становится одним из миллионов безымянных узников ГУЛАГа и навсегда исчезает в его бездонном чреве.

Дальнейшие сведения о нем — из области легенд и мифов. Но потребность добраться до истины слишком велика. На нас лежит ответственность за судьбу Рауля Валленберга и перед собой, и перед миром, который ничего не забыл и ничего не простил.

*** *** ***

Еврейское население Венгрии составляло в 1941 году 725 000 верующих иудеев и 100 000 крещеных евреев. Антисемитизм в Венгрии никогда не достигал таких масштабов, как в других странах Восточной и Средней Европы. Тучи над головами венгерских евреев стали сгущаться после 1938 года, когда в результате аншлюса Австрии Венгрия стала соседствовать с нацистской Германией.

Когда союзники поняли, что фашисты даже в агонию последних месяцев войны готовы истребить сотни тысяч невинных людей, они по радио обратились к христианам в Венгрии, призывая их к сопротивлению. Тем, кто спасёт своих еврейских сограждан, американцы обещали помощь и поддержку после победы. Би-би-си предупредила, что британская авиация не будет шадить жилые кварталы Будапешта, если дело дойдет до массовых уничтожений евреев. Король Швеции Густав лично обратился к адмиралу Хорти, главе правительства Венгрии, и пообещал ему свою поддержку, если Хорти не уступит нажиму фашистов. Римский папа направил Хорти

письмо сходного содержания. К венгерским христианам обратился американский архиепископ Спеллмэн. Против депортаций евреев выступили аккредитованные в Будапеште представители нейтральных стран: Швеции, Швейцарии, Испании и Португалии, а также папский нунций монсеньор Анджело Ротта. Президент Рузвельт угрожал карательными мерами.

Против Хорти, объявившего по этой причине перерыв в депортациях, фашисты развернули бешеную травлю. Его называли «другом евреев», обвиняли в том, что его семья разложилась под влиянием евреев, ибо его сын женат на еврейке. Потом стали говорить (как водится), что и сам Хорти женат на еврейке. Нацисты настаивали на «окончательном решении» еврейского вопроса в Будапеште, даже ценой разрушения самого города.

В июне 1944 года Эйхман заявил, что если союзники не примут его условий выкупа обреченных евреев — 10 000 грузовиков, то «мельницы Освенцима заработают на полную мощность». К началу июля 1944 года из Венгрии было депортировано 476 000 евреев. Дипломаты нейтральных стран не смогли предотвратить их гибель.

Примерно в это время у союзников возник план спасения венгерских евреев. Они единодушно решили, что посольство нейтральной Швеции должно легализовать в качестве своего сотрудника человека не-еврейской национальности, который взял бы на себя миссию спасения. Было это не случайно: в тот период Швеция представляла в Венгрии интересы семи государств, в том числе и Советского Союза. Шведский дипломатический паспорт давал широкие полномочия человеку, посланному в Будапешт с миссией спасения. Необходимые денежные средства были готовы предоставить Соединенные Штаты.

У Рауля Валленберга в Венгрии были дружеские и деловые связи. Положение венгерских евреев его глубоко волновало. Он самостоятельно искал возможности выехать в Будапешт. Его кандидатура была единодушно принята и шведским пра-

вительством, и американской стороной. На специальном заседании кабинета его назначили секретарем шведского посольства в Будапеште. Король утвердил решение.

Никто не сомневался, что дело, за которое молодой швед взялся столь горячо и убежденно, сопряжено со смертельной опасностью, но и никто не мог дать ему инструкций и советов. Рассчитывать Валленбергу было не на кого. У него были шведский дипломатический паспорт, американские деньги да длинный список лиц, жизнь которых висела на волоске. И еще один список — людей, известных шведским властям как антифашисты. С этим багажом он прибыл в Будапешт 9 июля 1944 года.

*** *** ***

Рауль Валленберг немедленно приступил к выполнению своей нелегкой миссии. Для начала он воспользовался средством, которое еще до его приезда практиковал секретарь посольства Пер Ангер: он выдавал специальные охранные паспорта людям, попавшим в поле зрения депортационных властей. Паспорта удостоверяли принадлежность их владельцев к одной из нейтральных стран, чьи интересы представляла Швеция. Обладатели паспортов оказывались вне юрисдикции венгерских и немецких властей — посягательство на неприкосновенность граждан нейтральных стран во время войны рассматривается как грубое нарушение международного права. Нейтралитет той или иной страны обеспечивался, как правило, странами-гарантами, так что нарушение его могло повлечь за собой вполне реальные санкции.

У наших читателей история с паспортами скорее всего вызовет недоумение: неужели фашисты признавали их? Представьте себе, признавали. У нас в стране тоталитаризм был основан на беззаконии, однако это отнюдь не общее правило. Государство может быть деспотическим, даже рабовладельческим — но при этом абсолютно правовым. Самый общеизвестный пример — Римская империя. В Германии фашистский режим просуществовал всего 12 лет. За этот срок не успела разложиться воспитанная веками правовая культура. Да и едва ли можно утверждать, что фашисты были заинтересованы в её подрыве. Скорее они хотели использовать её в своих целях, и им это неплохо удавалось.

Ставшие знаменитыми «паспорта Валленберга» имели его личную подпись, официальную государственную печать со шведским гербом — тремя коронами, фотографию и личную подпись владельца. Каждый, кто попадал в беду, получал паспорт и с этой минуты оказывался под защитой Швеции. «Отдел С», который Валленберг создал и возглавил при посольстве, сразу же стал убежищем венгерских евреев. Примеру Королевского посольства Швеции последовали дипломатические миссии других нейтральных стран.

И Валленберг, и его добровольные помощники прекрасно понимали, что выдаваемые ими паспорта не соответствуют международным нормам и могут выполнить свое предназначение, лишь если венгерские власти признают их. Для этого Валленберг постарался наладить контакты с венгерским правительством.

Вопреки опасениям, ему это довольно быстро удалось. Он добился приема у адмирала Хорти и других высокопоставленных особ. В большинстве случаев

он заручился их поддержкой, на худой конец — благожелательной пассивностью. Иногда молодому шведу неожиданно удавалось обрести ценных помощников среди лиц из высших эшелонов власти.

Он был в постоянном контакте с представителями всех нейтральных стран. По его инициативе все акции и демарши предпринимались теперь согласованно. Сообща они обеспечивали Хорти поддержку в его попытках противостоять немецкому давлению. Вокруг молодого шведского дипломата создавались буквально легенды, а тем временем союзники со всех сторон штурмовали «крепость Европы».

Воодушевленный достигнутыми результатами, Рауль Валленберг удвоил свои усилия. Казалось, он находился сразу в нескольких местах.

Ему пришлось распространить сферу своей деятельности за пределы Будапешта. В провинции депортации продолжались, правда, без прежнего размаха. Иногда внезапно сгоняли в вагоны жителей какой-нибудь одной улицы и гнали состав в Освенцим. В таких случаях Валленберг бесстрашно вступал в переговоры непосредственно с командой сопровождения или с транспортной комендатурой. Среди тех, кто был им спасен, живут воспоминания об этих спонтанных акциях, которые он осуществлял, как правило, в одиночку.

*** *** ***

Валленберг не однажды повторял такие героические акции. Бесстрашие, сила ума и характера почти всегда обеспечивали ему успех. Выдача охранных паспортов была к этому времени поставлена на конвейер: штаб сотрудников «Отдела С» при Королевском посольстве Швеции, осуществлявший эту процедуру уже самостоятельно, вырос сначала до 250 человек, а в январе 1945 года — до 600 человек. А Валленберг в это время вновь работал над новой идеей: он предложил посольствам всех нейтральных стран арендовать либо покупать в Будапеште дома, которые, таким образом, приобрели статус экстерриториальности. Посол Даниельсон одобрил проект, и вскоре 30 домов стали собственностью Швеции. Наконец-то Валленберг смог разместить своих подопечных в безопасности, снабдить их продуктами и не бояться обысков.

Число тех, кто находился на его обеспечении, стремительно росло, и это создавало новые проблемы. Для подвоза продовольствия нужны были грузовики. И тут на помощь пришли не только деньги из фонда Рузвельта. Множество венгров готовы были послужить доброму делу и предлагали Валленбергу свои автомобили, грузовики, грузовую транспорт. Ему даже дарили дома, возможно, не без надежды сохранить под шведским флагом свое имущество от превратностей войны.

Война шла к концу, и положение с продовольствием становилось все хуже. По данным Швеции, в «домах Валленберга» проживало 33 тысячи человек. Как их прокормить? Рауль Валленберг и здесь нашел выход. Он стал прозрачно намекать венграм, верой и правдой служившим национал-социализму, что окончание войны принесет лично им катастрофу. И тут «паспорта Валленберга», предназначавшиеся первоначально только для преследуемых евреев, стали выдаваться как «взятка» тем венгерским чиновникам, которые тайно и явно снабжали продовольствием обитателей домов под шведским флагом. Таким путем удалось обес-

печить пропитанием тех, кто избегал гибели в концлагерях.

*** *** ***

В октябре 1944 года Валленберг стал верить в то, что его подзащитным действительно удастся спастись от немцев. Высокопоставленные друзья сообщили ему, что Хорти ведет тайные переговоры с русскими о заключении перемирия. И в самом деле — 15 октября 1944 года по радио было передано правительственное сообщение о том, что Венгрия готова сложить оружие, «дабы рейх не превратил ее в арену кровопролитных боев при отступлении». Война закончилась!

Город был охвачен радостным возбуждением. Истерзанные евреи срывали с себя желтые звезды и сжигали их прямо на улицах.

Но эта эйфория продолжалась лишь несколько часов. Немцы использовали запасной вариант: правительство оказалось свергнуто в ходе государственного переворота, и власть в стране захватили фашисты из партии «Скрещенных стрел» под предводительством Ференца Салаши. Война, желтые звезды и депортации вернулись, нацисты брали реванш за «попустительство» Хорти.

Есть версия, что старый адмирал попался в сети, специально для него расставленные. Молва связывает все происшедшее с Отто Скорцени. Он якобы похитил сына Хорти, известного своими симпатиями к союзникам, заманив его в ловушку под видом переговоров с русскими парламентариями. Потрясенный отец был готов на все, лишь бы выволочь своего сына. В целях «безопасности» старого адмирала вместе с премьер-министром, генералом Лакатошем отправили в Берлин.

17 октября 1944 года в Будапешт самолетом прибыл Эйхман. Едва ступив на землю, он отдал приказ о незамедлительной депортации всех без исключения евреев. Все защитные паспорта объявлялись недействительными. На еврейских домах были наклеены желтые звезды...

Как стая волков, салашисты обрушились на свои жертвы в первый же день. Для «удобства» погромщиков всем евреям было предписано в течение десяти дней не выходить на улицы. И все это время бандиты громили их дома. В переулках штабелями лежали тела убитых.

Дипломатия не в силах остановить погромы. Обстановка требовала перехода к сопротивлению. Валленберг уже давно сформировал своеобразную «гвардию», состоявшую из молодых евреев с «арийской» внешностью, одетых при необходимости в венгерскую армейскую форму. И форму, и оружие Валленберг доставал либо у дезертиров, либо через свои многочисленные связи.

«Гвардейцы» Валленберга, которые и раньше охраняли транспорты с продовольствием из провинции, запасались теперь мундирами СС и «Скрещенных стрел». После салашистского переворота «гвардия» серьезно усилилась и сама теперь устраивала налеты на тюрьмы, чтобы освободить арестованных евреев.

В последние месяцы, перед тем как в Будапешт вошла Красная Армия, кровожадность эсэсовцев и венгерских бандитов из «Скрещенных стрел» удвоилась. Казалось, они решили уничтожить всех, кому до сих пор удавалось избежать этой участи. Одна из самых мрачных глав в истории бесчеловечности — «марш смерти» в Освенцим: вопреки приказу

Гиммлера о прекращении депортаций, Эйхман решил все-таки добиться «окончательного решения» еврейского вопроса в Венгрии. По собственной инициативе он согнал в колонны узников, и в страшный холод толпа измученных, голодных, оборванных людей отправилась в 24-километровый путь по Венскому шоссе. Среди них было множество детей, стариков, женщин, больных. По обочинам шоссе оставались лежать трупы. Обезумевший конвой избивал узников. Даже такой садист, как Рудольф Гесс, в то время бывший комендантом Освенцима, заявил, что охрана ведет себя «как скоты» (он проезжал мимо колонны смерти).

Прибыв в Будапешт, Гесс тотчас же заявил, что неразумно выставлять мучения евреев на всеобщее обозрение и тем самым вызывать к ним симпатии населения. Он лично наблюдал, как крестьяне под ударами нагаек отважно бросались к колоннам, чтобы помочь мученикам. Вслед за колонной ехал фургон с флагами нейтральных стран, в котором находился Рауль Валленберг. При малейшей возможности он раздавал заключенным одежду, продукты, медикаменты.

В декабре 1944 года депортации окончательно прекратились.

Не теряя времени, Рауль Валленберг с присущей ему энергией и изобретательностью вербовал сторонников среди сотрудников венгерской полиции, понимавших, что дело идет к концу и скоро придется отвечать за содеянное. Полицейские агенты Валленберга передавали ему имена арестованных евреев, для которых он тут же выписывал охранные паспорта (их удалось отстоять в ходе личных переговоров с Салашем). Затем те же агенты подшивали эти паспорта в папки с личными делами арестованных. Это давало право Валленбергу, явившись в тюрьму или в участок, требовать немедленного освобождения «шведских граждан». То же самое делали представители других нейтральных стран, Красного Креста и папский нунций, который впоследствии был вынужден просить у римской курии отпущения грехов за изготовление фальшивых документов, что и было ему милостиво даровано.

*** *** ***

К Будапешту приближалась Советская Армия. По дипломатическим каналам было заранее согласовано, что Валленберг должен отдать себя под ее защиту. Список сотрудников шведского посольства в Венгрии передавался в Москву уже после прибытия Валленберга в Будапешт. И это желание Швеции было исполнено, правда, не совсем так, как это принято в международном праве.

13 января 1945 года, когда в разгаре были бои за Будапешт, Валленберг впервые встретился на окраине города с советским патрулем и представился как шведский дипломат. Ссылаясь на то, что Швеция представляет в Венгрии интересы Советского Союза, Валленберг попросил доставить его к командующему советскими войсками, и эта просьба была исполнена. Военным комендантом Будапешта был в это время генерал Черничев. Он тотчас отдал приказ о постоянной охране шведского посольства. Так здания, принадлежавшие шведской короле, оказались под контролем победителей.

Последний раз Рауля Валленберга и его шофера Виллоша Лангфельдера видели в сопровождении советской армейской ми-

лиции, когда он собирался отправиться в ставку маршала Малиновского. По словам очевидцев, он сказал, что и сам не знает, в каком качестве его примут: как гостя или как пленника. Видимо, общение с победителями давало повод для недобрых предчувствий. Это было 17 января 1945 года.

Больше Валленберга в Будапеште никто не видел. Поползли слухи, что он попал в руки салашистов. Одни в это поверили, другие нет. Говорили и о том, что слухи эти специально распускают русские оккупационные власти.

Будапешт еще находился под обстрелом русской артиллерии, а спасенные Валленбергом люди, рискуя жизнью, искали его по всему городу, чтобы выразить, наконец, свою признательность. Но он исчез бесследно...

Западные исследователи, изучившие все доступные на сегодня факты по делу Валленберга, говорят, что это история в духе Кафки. Однако у Кафки фантастическое переплетение обстоятельств коренится в специфике западной культуры и даже абсурд содержит некую жизненную правду. Писатель Г. Гольцитцер называет трагедию Рауля Валленберга историей в духе социализма. В своей книге «... И поведут куда не хочешь» он приводит яркий пример того, как надо смотреть на вещи с точки зрения советского представления об истине (по названию книги читатель может догадаться, что Гольцитцер, как и Валленберг, имел возможность лично познакомиться с ГУЛАГом): «Если вы скажете: это старая, облупившаяся стена барака, то вы метафизически зафиксируете текущий момент. Но если вы скажете; это белоснежная, сияющая, новая стена, то в этом случае вы, с точки зрения текущего момента, будете неправы, ибо пока она еще не такова. Если вы будете рассказывать в своей стране, что советские люди живут в старых бараках-клоповниках, то вы будете лгать, хотя в известной мере так оно и есть. Но если вы будете говорить, что они живут в прекрасных новых домах, то вы скажете чистую правду, хотя пока только немногие живут именно так».

Разъяснения о судьбе Валленберга, которые международная общественность получала из Москвы, были выдержаны в лучших принципах такого «социализма». Заместитель министра иностранных дел СССР В. Деканозов в официальной ноте, врученной шведскому послу в Москве, сообщал, что советская военная комендатура в Будапеште взяла под свою защиту секретаря посольства Королевства Швеция «со всем принадлежащим ему имуществом».

Александра Коллонтай, бывшая тогда послом Советского Союза в Швеции, заверяла шведское правительство, что Рауль Валленберг пребывает в полном здравии и окружен в Москве заботой и любовью. То же самое советский посол сообщила матери Валленберга, баронессе Май фон Дардель. Все эти заявления носили официальный характер, поэтому им беспрекословно верили. Каково же было всеобщее изумление, когда 12 марта 1945 года через посольство Швеции в Бухаресте вдруг было сообщено, что Рауль Валленберг бесследно исчез! Скорее всего, гласило сообщение, он был убит агентами гестапо. Действительно, гестаповцы и салашисты постоянно охотились за «неудобным» шведским дипломатом. Сообщение очень скоро выяснилось, что это была дезинформация. На самом деле Валлен-

берг уже давно проделал долгий путь в Москву. Впоследствии это было установлено совершенно достоверно.

Маркус Валленберг, дядя Рауля, лично встретился с Коллонтай 28 апреля 1945 года и попросил ее ускорить розыски своего племянника. И ему было это обеща-

но. Наконец в октябре 1945 года советское Министерство иностранных дел раскочкалось дать ответ шведскому правительству. Оно объявило, что не в состоянии впредь принимать ноты и запросы по этому делу, ибо оно находится в личной компетенции Сталина. Напоминать что-либо его канцелярии или требовать какой бы то ни было информации министерство не имело права.

В ответ на многочисленные запросы со стороны шведского правительства, общественных комитетов, в состав которых вошли ведущие деятели культуры и спасенные Валленбергом люди, 18 августа 1947 года появилась вторая советская нота, на этот раз за подписью Андрея Вышинского. В ней содержалась ссылка на сообщение по радио о якобы имевшем место убийстве Р. В. агентами гестапо, хотя затем, в лучших традициях «социализма», отмечалось, что это косвенное сообщение, не подтвержденное фактами. Однако мировая общественность имела к этому времени достаточно доказательств противоположного характера. Ответ Вышинского был признан лживым.

В 1951—1952 годах Советский Союз отпустил на родину группу военнопленных из стран антигитлеровской коалиции, и в результате на свободе оказались люди, лично встречавшие Валленберга в России. В министерство иностранных дел в Стокгольме были переданы их показания. Некоторые сидели с Валленбергом в одной камере.

Дело выглядело так, словно сталинское руководство специально хотело распространить на Западе сведения о том, что Валленберг находится в его руках. Шведское правительство направило в связи с этим еще одну ноту в Москву, требуя объяснений относительно множества свидетельских показаний о том, что Валленберга видели в качестве узника на Лубянке и в Лефортово. В официальном советском ответе от 16 апреля 1952 года в очередной раз утверждалось, что никаких следов шведского дипломата в пределах СССР не обнаружено. «Показания военных преступников не заслуживают доверия», — таков был главный довод советской стороны.

«Воркута сомкнулась с Освенцимом», — пишет в связи с этим И. Вульф. Мировая общественность хорошо помнила, что во время Нюрнбергского процесса два советских члена Международной военной судебной коллегии — генерал-майор И. Т. Никитченко и государственный обвинитель от СССР Р. А. Руденко использовали показания военных преступников в качестве доказательств.

Из показаний военнопленных, отклоненных Советским Союзом, явствует, что именно инкриминировало НКВД Валленбергу. Не надо иметь большую фантазию, чтобы догадаться, что на первом месте стояло обвинение в шпионаже. Западная общественность хорошо понимала, в какой атмосфере велось следствие по делу молодого шведа, бескорыстно спасавшего венгерских евреев, — как раз в это время НКВД с жаром и рвением фабриковало «дело врачей» и готовилось к уничтожению еврейских писателей.

Действительно, разве Валленберг не выдавал «незаконные» шведские паспорта венгерским евреям? «Для кондовых антисемитов из советских верхов было непостижимо, почему молодой швед так упорно занимался в Будапеште еврейской проблемой», — пишет в 1958 году Йозеф Вульф.

Еще более отягчающим обстоятельством было то, что Рауль Валленберг получал деньги для своих акций от американцев. С этой точки зрения весь «Отдел С» шведского Королевского посольства в Будапеште был для НКВД подозрительным.

Конечно, разведслужба в пользу антигитлеровской коалиции сама по себе не является морально предосудительной, напротив, это было бы делом справедливым и неуязвимым для любых обвинений. Однако Валленберг не был военным разведчиком. Он был личностью совершенно другого типа, которую нам почему-то трудно представить, хотя в истории России было много подвижников и праведников. Но времена изменились, и сейчас все чтут Штирлица. А попробуйте спросить наших современников, кто такие доктор Гааз, Альберт Швейцер, Януш Корчак. К сожалению, молодежь у нас воспитана на героях в армейских сапогах и кожанках, в лучшем случае — в спецовках и касках, где-нибудь «на трудовой вахте». Стремление снизить образ Рауля Валленберга, объяснить его через сетку знакомых идеологических штампов свидетельствует о вымывании из нашего сознания того фундамента, на котором стоит общечеловеческая культура.

Швеция тщательно, по крупицам собирала все сведения о Валленберге. Это была нелегкая задача: бывшие военнопленные надолго оставались «в столбняке» и не решались раскрыть рот, чтобы поведать о своих советских впечатлениях. В некоторых показаниях чувствуется, что долгое пребывание в плену либо отчасти, либо полностью лишило разума тех, кто там оказался. Разумеется, когда имеешь дело с живыми людьми, нельзя считать себя застрахованным и от сознательной лжи.

В апреле 1956 года в Москву прибыли с официальным визитом шведские министры Т. Эрландер и Хэдлунд. В это время в советской столице царил эйфория мирного сосуществования. Когда речь зашла о пропавшем шведском дипломате, Хрущев и Булганин с готовностью пообещали провести самое тщательное расследование. В совместном коммюнике от 5 апреля 1956 года содержались заверения в том, что если, паче чаяния, Валленберга обнаружат в пределах СССР, то он будет незамедлительно возвращен на родину.

Ответная нота Советского Союза по результатам проверки была подписана А. А. Громыко, который к тому времени стал заместителем министра иностранных дел. В ней говорилось, что советская сторона провела тщательную проверку всех фактов и обстоятельств, относящихся к личности Валленберга: были проверены архивы и тюремные картотеки, вновь допрошены лица, указанные в шведских материалах. Результат оказался абсолютно негативным. Правда, один документ все же удалось обнаружить — это было свидетельство о смерти заключенного Валленберга в тюрьме на Лубянке от 17 августа 1947 года.

Тогдашний главврач тюремной больницы, полковник медицинской службы Смольцов в рапорте на имя министра внутренних дел Абакумова сообщил о смерти «известного Вам заключенного Валленберга», вероятно, вследствие инфаркта миокарда.

Смольцов умер 7 мая 1953 года. Никаких других свидетелей по делу Валленберга до недавнего времени в нашей стране обнаружить не удавалось. Нота от 6 февраля 1957 года, подписанная Громыко, содержала следующую версию: Валленберг был «по ошибке» арестован советскими оккупационными властями на территории Венгрии. Его арест, содержание в тюрьме и ложные сведения относительно его личности, в течение ряда лет передававшиеся органами госбезопасности в ответ на запросы министерства иностранных дел Швеции, объяснялись преступной деятельностью Абакумова, осужденного впоследствии Верховным Судом СССР и приговоренного к высшей мере.

Нота завершалась словами стандартного официального «соболезнования» шведскому правительству и родным Валленберга.

Западным специалистам и дипломатам, занимавшимся делом Рауля Валленберга, показалось «странным и необычным», что советское правительство взваливает всю вину на своих же собственных чиновников, да еще и выражает при этом официальные соболезнования. В ноте А. А. Громыко бросалось в глаза и другое: осторожность формулировок, опирающихся в конечном счете на единственный документ, который предположительно содержит имя Рауля Валленберга. А ведь общеизвестно, сколь категоричен бывает, как правило, тон советских дипломатических документов.

В книгах Александры Коллонтай нет ни слова о Рауле Валленберге. Но зато в книге Э. Миндлина, посвященной А. Коллонтай, есть эпизоды, в которых изображен Маркус Валленберг, дядя Рауля, глава банкирского дома Валленбергов. Из контекста ясно, что шведский миллионер, не щадя сил, помогает советскому послу в деле огромной важности — выступает неофициальным посредником в переговорах с финским правительством с целью скорейшего выведения Финляндии из числа воюющих противников СССР. Но не в правилах соцреализма говорить добрые слова о классово чуждом миллионере. И Миндлин изображает благородного гуманиста Маркуса, последовательный антифашизм которого не раз активно проявлялся в ходе войны, алчным и неотесанным нуворишем, озабоченным только своими капиталовложениями в Финляндии. Какая гнусная ложь! Миндлин словно бы списывает образ благородного Маркуса из той статьи в Большой Советской энциклопедии, с которой мы начали этот очерк. Увы — кроме слов «Швеция» и «Эншильда Банк» в этой статье нет ни слова правды. К семье Валленбергов она не имеет никакого отношения. Это автопортрет нашего общества, отравленного ненавистью и обезумевшего от угара «классовой борьбы».

4 июня 1981 года в Конгрессе США проходили слушания, посвященные резолюции о присвоении Раулю Валленбергу почетного американского гражданства. Чтобы оценить степень почести, оказанной пропавшему без вести дипломату, достаточно сказать, что за всю историю Со-

единенных Штатов кроме него такой же чести был удостоен единственный человек — Уинстон Черчилль, за его «беспримерные заслуги в деле сохранения свободных обществ».

Инициатором присвоения Раулю Валленбергу почетного гражданства явилась группа сенаторов во главе с Томашем Лантошем, спасенным Валленбергом в одном из принадлежавших шведской короне домов в центре Будапешта. По оценке, сделанной Лантошем в 1981 году, Валленберг спас от гибели примерно сто тысяч человек. Сейчас эти люди живут во многих странах мира, и среди них немало выдающихся деятелей культуры, науки и политики. От их имени и от имени миллионов людей, испытывающих восхищение личностью и подвигом Рауля Валленберга, сенатор Лантош сказал в Конгрессе: «Мы должны дать понять Советскому Союзу, что даже один-единственный человек никогда не будет нами забыт. Америка не отречется от Рауля Валленберга, напротив, она гордится его миссией. Он действовал, обладая полномочиями нашей страны. Теперь, я думаю, настало время, когда мы должны действовать ради него. Надо сделать все возможное, чтобы Советский Союз понял, насколько серьезно мы относимся к этому инциденту. Предоставляя Валленбергу почетное гражданство, мы хотим продемонстрировать русским и всему миру, что в цивилизованном обществе поправке международного права и прав человека никогда не будет проигнорировано или забыто».

Сенатор Соларз (штат Нью-Йорк), выступая на тех же слушаниях, сказал: «Я думаю, что Рауль Валленберг больше чем кто-либо еще из людей XX века заслуживает того, чтобы его считали святым».

Наивная западная общественность не перестает с удивлением задавать вопрос: «Но почему же Советы убили Рауля Валленберга?»

Для ответа можно попытаться восстановить конкретные обстоятельства и ближайшие поводы злосчастной судьбы шведского дипломата. Но ключом для понимания его гибели является сам тип общества, с которым он столкнулся, оказавшись в советской тюрьме. Конечно, нормальному человеку трудно представить, что может существовать государственная машина, которая создана и функционирует только для того, чтобы убивать. Такой механизм власти, который уничтожил культуру, оказался банкротом в экономике, разложил социальную структуру, потерпел крах в международной политике. Который за всю свою длительную историю не сгодился ни на что, кроме убийства миллионов людей.

Гибель Рауля Валленберга была предпринята в тот момент, когда он оказался в руках у своих предполагаемых «защитников». Само существование такого человека, как он, бросало вызов той специфической «философии свободы», которая была взращена сталинизмом. В неизвестных пока читателю стихах Сергей Аверинцев произнес удивительные слова: «Для ада Бог есть ад». Что могло быть ненавистнее для властителей ГУЛАГа, чем человек, воплотивший в себе высшее проявление личностной свободы и человеческого достоинства? Человек с распрямленной спиной, не сломленный, не униженный. Готовый и способный к борьбе. Явившийся как напоминание о будущем, чреватом возмездием и возвратом поправленной истины.

Вспомним противоположное: в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицын описывает

покорность и смирение жертв как составную часть механизма террора. Люди знали, что их ведут на муки и на гибель, но никто не восстал. Валленберг спасал и освобождал людей, ибо не ведал иных способов существования, кроме свободы. В своих поступках он руководствовался не идеологией и не «правильной теорией», а представлением о безусловной ценности каждой человеческой личности. На жаргоне чудовищной антикультуры сталинских застенков это называлось «абстрактным гуманизмом» и приравнялось к злостному преступлению.

*** *** ***

В одной из исторических драм В. Шекспира есть слова: «Темные дела, хоть в землю закопай их след презренный, когда-нибудь восстанут пред вселенной». Не удалось спрятать концы в воду и по делу Рауля Валленберга. В годы застоя обнаружить его следы пытались люди, которых мы теперь называем совестью народа: А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 9 мая 1980 года академик Сахаров писал профессору Ги фон Дарделю, брату Рауля: «Я считаю его (Рауля. — Л. Л.) одним из тех людей XX-го века, перед которыми человечество в долгу и которыми оно может гордиться... Сейчас мне кажется важным (хотя я и не возлагаю на это особые надежды) потребовать от властей выдачи тюремной папки с делом Рауля Валленберга. Раз советские власти официально признали, что Валленберг был арестован и содержался в тюрьме в СССР, значит, такая папка должна существовать (личные дела заключенных хранятся вечно)».

Во 2-й главе 2-й части энциклопедического труда А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» («Порты Архипелага») есть персонаж — Эрик Арвид Андерсен, швед из состоятельной семьи, получивший 20 лет строгого режима от самого Абакумова. Автор догадывается, что молодому человеку под страхом смерти запрещено называть свое настоящее имя и обстоятельства ареста. В некоторых деталях вымышленной биографии Эрика Андерсена просматриваются отблески реальной истории Рауля Валленберга.

На протяжении всех долгих послевоенных лет периодически возникали сенсационные слухи и новости о том, что Валленберг жив и содержится в строгой изоляции в секретных тюрьмах или психушках. Разные свидетели в разное время называли местом его пребывания Иркутск и Владимир, окрестности Ленинграда и Воркуты, Лефортово и Лубянку.

Когда стало известно о создании общества «Мемориал», в его адрес с разных концов планеты полетели письма: «Простим поставить вопрос о судьбе Рауля Валленберга и его шофера Вилмоща Лангфельдера перед компетентными органами и общественностью в Вашей стране...» У людей затеплилась надежда, что демократизация и гласность помогут приподнять завесу тайны над трагическим финалом этой необыкновенной судьбы. «Комсомолка» занялась журналистским исследованием, появились сообщения о Валленберге в «Московских новостях» и в популярной телепрограмме «До и после полуночи».

Правда о Рауле Валленберге зависит от той же причины, от которой зависели его арест и гибель, — от степени цивилизованности нашей страны.

Вот некоторые факты, относящиеся к наш взгляд, к проблеме цивилизованности.

Король Дании Христиан X в ответ на

приказ нацистов об обязательном ношении желтой звезды всеми лицами еврейской национальности немедленно сам приколот на грудь такую звезду. Его примеру последовали остальные члены королевского семейства, а к вечеру уже все население столицы в знак протеста ходило с желтыми звездами. Не менее решительно встал грудью за евреев в своей стране и Карл Густав фон Маннергейм — некоронованный властелин Финляндии. Настоятель Берлинского кафедрального собора прелат Бернгард Лихтенберг пожертвовал своей жизнью, открыто выступая в поддержку преследуемых евреев. Его именем назван целый район в столице социалистической Германии. Подобно ему, патер Бенедетти спас тысячи людей, обреченных на смерть национал-социалистами.

За всеми этими христианами стояла двухтысячелетняя традиция их церкви. И слова, произнесенные со слезами на глазах папой Пием XII: «Антисемитизм — омерзительная вещь, с которой мы, христиане, не должны иметь ничего общего... По духу и по Богу своему мы — семиты!»

Но и на земле, которая сейчас входит в состав нашей страны, был человек, по героизму и чистоте духа подобный Раулю Валленбергу. Простой рабочий из Риги Жанис Липке, латыш, спас из гетто 53 евреев. Вся семья помогала ему в этой опасной акции. После смерти Ж. Липке в 1987 году еврейская община Риги организовала благотворительные концерты в городской филармонии, чтобы на собранные деньги воздвигнуть памятник этому замечательному человеку. Казалось бы — какой прекрасный пример в противовес «вихрям вражды», разделившей нас по национальным гетто. Но ни разу центральная пресса об этом не написала. Узнавать о «пророках в своём отечестве» приходится из прессы других стран: о Жанисе Липке была большая статья в берлинской газете «Зоннтаг» (№ 45, 1988).

Мы никогда не узнаем всю правду о Рауле Валленберге, пока в засекреченных архивах папку с его делом будут искать те же люди, которые за это дело несут ответственность. Народ, у которого проснулось чувство национального достоинства, должен потребовать, чтобы в подвалы, где оборвалась жизнь целого поколения, вошли наконец его открыто избранные представители — ученые, активисты общества «Мемориал», иностранные эксперты.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЭПИЛОГ

И вот родственники Рауля Валленберга впервые получили официальное приглашение в Москву с целью выяснения обстоятельств дела.

И опять, как нарочно, начинаются недоразумения: в официальном сообщении программы «Время» искажен номер телефона московского отделения общества «Рауль Валленберг», и шквал звонков обрушился на молодую домохозяйку, мать пятерых детей, которая программ «Время» не смотрела и не могла понять, о чем идет речь. Сначала ей беспрерывно звонили из других городов: по системе «Орбита» программа «Время» проходит на несколько часов раньше. Ничего не подозревающая Марина (так зовут мать-героиню) отвечала людям, что они ошиблись. Мы с трудом дознались к ней после того, как сами заметили путаницу с номерами.

На наше счастье, Марина оказалась человеком отзывчивым и интеллигентным. Хотя ее жизнь превратилась в сущий ад, она согласилась нам помогать и волею неволей стала на какое-то время дежурной на телефоне общества «Рауль Валленберг». Конечно, в результате досадной ошибки нашей официальной телепрограммы (как тут не вспомнишь слова приговоренного декабриста о том, что в России и повесить-то толком не умеют) мы недополучили значительный массив информации. Но нужна ли она, если все точки над *i* расставлены в ходе встречи родственников Валленберга с представителями МИД и КГБ?

На этой встрече им предъявили оригинал известного ранее рапорта Смольцова в качестве доказательства смерти Валленберга в 1947 году. Таким образом, была подтверждена версия, изложенная в ноте А. А. Громыко более 30 лет назад. Родственникам отдали дипломатический паспорт и некоторые другие бумаги, принадлежавшие Раулю Валленбергу. Несмотря на все, родственники продолжают верить, что Рауль жив.

Что ж, по-человечески их можно понять. И нам бы хотелось в это верить. Но у нас и на свободе-то люди в среднем живут 62 года. А Раулю в этом году — 78 лет. Можем ли мы быть настолько утопистами, чтобы поверить в чудо — будто он жив в ГУЛАГе в этом возрасте? Едва ли. Значит, тема исчерпана? Последняя точка поставлена?

Никого не подозревая в коварстве или сокрытии истины, хочу предупредить, что это не так. Во-первых, в архивах не смогла поработать независимая комиссия, и в очередной раз информация спущена «сверху», с той лишь разницей, что на этот раз вроде бы нет оснований не доверять «верху», ибо люди там, наконец, приличные. Но все же истина исходит от ведомств, имеющих свое прошлое, свои традиции, свои интересы и представления о чести мундира. Уже в силу этого было бы достойнее дать возможность заниматься делом Валленберга независимой комиссии или группе экспертов. Не говоря уж о том, что историки ищут иначе, чем чиновники.

Во-вторых, есть обстоятельство, игнорировать которое можно только при полном пренебрежении к достоинству и памяти жертв, — оно заключается в том, что по делу Рауля Валленберга проходили **два человека**: Вилмощ Лангфельдер, шофер Рауля, тоже героическая личность, и замалчивать его судьбу по меньшей мере бестактно. Делить жертв на «первый и второй сорт», на «черную и белую кость» — значит совершать еще одно преступление. Почему же мы не ставим этот вопрос? И почему компетентные инстанции не отвечают на него сами, без всяких напоминаний со стороны общественности? Ведь вполне вероятно, что судьба Лангфельдера может пролить свет и на участь Валленберга. А может, как раз этого инстанция и не хотят?

«Окончательный ответ» наших официальных лиц страдает тем же недостатком, что и показания множества свидетелей, дающих широкий спектр версий по данному делу, — его, этот «окончательный ответ», невозможно проверить. Доверяй не проверяя. И мы, граждане страны, в которой погиб Рауль Валленберг, несмотря на все отрадные перемены, так и остаемся нехозяевами своего прошлого, и как следствие — своего настоящего и будущего. А пока это так, никаких «окончательных ответов» не может быть.

АРТЕМИЙ ОСИН

ФЕНОМЕН КГБ И СТЕРЕОТИПЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ



**«Товарищ, верь — пройдет она,
Так называемая гласность,
И уж тогда госбезопасность
Припомнит наши имена!»**

(Фольклор 86-го года)

До сих пор многие люди в возрасте реагируют на само название «КГБ», как гоголевская Коробочка на поминовение чёрта. С юных лет в них укоренилось соответствующее отношение к «карающему мечу», изменить его уже трудно. Но вот что странно — и некоторые из молодых пугливо озираются. Это было еще до страшных разоблачений последних лет (хотя не точные цифры, но сам факт террора был общеизвестен), так что причина не в них. Наверное, каждому приходилось слышать о том, что КГБ прослушивает все телефоны. Когда же задаешь вопрос, каков же у них штат в таком случае, — начинают строиться версии, что не все, конечно, не всегда, но — многие и периодически; а некоторые «подозрительные» — постоянно. Если бы рассказчики были хоть немного знакомы с оборудованием большинства АТС, его «современностью и надежностью» — они сами встретили бы такие рассказы смехом. А «доверительные» сообщения, что еще в институтах каждого третьего заставляют «писать» на студентов и преподавателей! Выслушав такое в компании, я как-то заметил, что нас девять человек, значит, как минимум трое... Рассказчик несколько смутился, стал объяснять, что и число, наверное, преувеличено, да и вообще это сведения середины 60-х. Есть и сейчас, но не в таком количестве. Подобные «страшные сказки» для взрослых, как правило, не выдерживают простейшего приложения к реальной жизни. Тем не менее их охотно выслушивают и пересказывают, даже не оценивая степень правдоподобия. Так, в Ленинграде неглупый и образованный человек искренне уверял, что группы хиппи («системные») — в основном «спецсотрудники». Они, мол, ходят по стране, проверяя положение на местах. Поскольку их всерьез никто не воспринимает, следовательно, не боится — они могут собирать обширную информацию. А сколько их вступило в новые общественные движения — «зеленые», экологи, культурологи, группа «Доверие»! Ясное дело — следят! (Стоило больших усилий сохранить серьезный вид.) А тот уже и «митков» был готов зачислить в информаторы. Не столь смешно, как печально...

Понятно, что частично такое основано на опыте 30—50-х годов. Кроме того, играют роль скудность и, мягко говоря, неточность официального обмена новостями — по «муравьиному» принципу: встретились — обменялись новостями — удвоили их запас — направились дальше. При этом весьма велики искажения и преувеличения. «Испорченный телефон». Ведь Высоцкий метко сказал когда-то, что «к хорошему слухам люди не привыкли и твердят, что это выдумки и чушь». Поэтому наиболее усиливаются естественным путем именно «страшные сказки». Здесь даже не заподозришь «вражьи голоса» — те все же берегут репутацию и подобного бреда избегают.

Еще один существенный фактор. В обществе, где качество жизни невысоко, где долгие годы нагнеталось напряжение как с помощью образов «врага», так и постоянными призывами к борьбе с кем-то, чем-то и за что-то, при недостатке общей культуры и информации — неизбежно происходит поляризация массового сознания, представление действительности в черно-белом варианте. Сама эта поляризация неоднозначна. Так, одни уверены (в чем их убеждали долгие годы), что «у нас» — все хорошо с отдельными проблесками. У других — жизнь вызвала инверсию того же представления, то есть «у нас» все плохо и наоборот. Но не все так просто, есть и другие варианты проведения границы. Один из них, особо популярный в кругу людей с образованием: есть светлые силы — интеллигенция, определенная часть «сознательных» рабочих и крестьян, партийного руководства и пр. С другой стороны бюрократы и мафиози, средние слои партийного и советского аппарата, различные элиты и привилегированные группы вообще... Что ж, каждый сам волен выбирать себе образ бога и дьявола, который в последнем случае ассоциируется — полностью или частично — с КГБ. Нечто вездесущее, всемогущее, крайне зловерное — ну просто враг рода человеческого. Если не такая крайность — то толкование в духе «КПГБ» из антиутопии Авторханова. Не сегодня завтра совершит переворот, окончательно узурпирует власть, перережет всех неосторожно поднявших голову «перестройщиков». Более того — сама перестройка лишь провокация с целью выявления потенциально свободомыслящих и социально активных, а провозгласивший ее и есть главный заговорщик. Вот так, ни больше, ни меньше.

Реакция в основном варьирует от «чур меня!» до «долгой!». Конструктивный подход встречается редко, да и не свободен от предвзятости. Так, в бюллетене серьезной и уравновешенной группы «Гражданское достоинство» (№ 13) — здравые предложения исключить из сферы деятельности «органов» вопросы идеологии, провести еще некоторые преобразования. Но вместе с тем выражается сомнение в возможности контроля и проводится зловещая параллель с ЦРУ, которое «в период разгула незаконных тайных операций тоже находилось под контролем конгресса». Все же конгресс справился.

Преобладают именно те чувства, что вызывало когда-то III отделение, — недоверие и страх (по тем же, в принципе, причинам). И то и другое как-то не знают обоснованных границ, хотя находятся во взаимном соответствии. Человек, с пеной у рта требующий ликвидации, привлечения к ответственности, публичного покаяния (если не поголовной ссылки всех причастных под строжайший надзор), одновременно мрачно провозглашает всеобщую обреченность, неизбежный расстрел, а в лучшем случае — лет 25 на Колыме для всех хоть чуть-чуть мыслящих.

Случается вовсе необычный синтез идей — так, один из умеренных сторонников «Памяти» из группы Синявина уверял, что именно в КГБ и окопались все настоящие масоны, чтобы взять страну за горло. Что до понятия «жидо-масоны» и антисемитизма — это, конечно, чепуха; более того, это провокация «настоящих врагов» с целью дезориентировать общество, скомпрометировать «Память», отвести праведный гнев народа в иное русло.

Похоже на детские альбомы «Раскрась сам» — контуры схожи, а цвета выбирают в соответствии с личными предрассудками...

Что касается сочетания страха и ненависти, можно вспомнить притчу в одном из последних чегемских рассказов Искандера. Суть ее в том, что раб вовсе не желает свободы (он ее просто не понимает, и максимум, на что способен, — мечтать стать хозяином). Раб хочет, пусть даже подсознательно, отомстить. Не то чтобы добивается мести, но при случае — обязательно. А потом может даже умереть от непонимания: что же дальше? Это относится к рожденным в рабстве, рабам с детства. Понимаю, что многим может весьма не понравиться такая трактовка. Но мне кажется, что в некоторых особо резких высказываниях проступает, пусть даже подсознательно, эта высвобожденная жажда мести. Психология человека диалектична; различные состояния чреватые своим отрицанием. В. Леви упоминал о «маятнике», при котором связаны любовь и ненависть, а над авторитетами тяготеет соблазн надругательства. (Не случайно проходные герои анекдотов — люди знаменитые.) Так и сейчас проступает стремление побольше лягнуть того, кому вчера славословил, — преклонение и страх, превращенные в презрение и ненависть. Естественное и понятное превращение, но совершенно бесполезное. Старая российская болезнь — на вшей осердясь, всю шубу в огонь кинуть. Все мы в одной лодке, и лучше не раскачивать ее сбоку набок. Резко перевалить на левый борт — может быть, не лучше, чем медленно идти ко дну с креном вправо, как в годы застоя...

Последнее замечание на неприятную тему. Даже в годы культа, при всей многочисленности и могуществе карательного аппарата, никакого штата не хватало бы для контроля снаружи за всеми и каждым. Общая теория такого правления была изложена в VII веке до н. э. в Китае, в «Книге правителя области Шан»: «... Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам. Литература и музыка способствуют распушенности нравов, доброта и человеколюбие — мать проступков. Когда потворствуют беспорядкам и распушенности нравов — они распространяются... Там, где существуют беспорядки и распушенность, народ сильнее своих властей. Надо умело управлять им, поддерживать порядок. Наводить порядок следует еще до того, как вспыхнут беспорядки, если же опоздать с этим, то беспорядок лишь усилится. Чтобы сохранить порядок, нужно управлять людьми не как добродетельными — тогда они еще более распускаются, а как порочными — тогда они полюбят порядок. Ибо если управлять людьми как добродетельными, они начинают любить друг друга. Тогда проступки скрываются. Если управлять людьми как порочными, они не доверяют друг другу. Тогда проступки выявляются и караются, и в этом случае наступает образцовый порядок. Его должно поддерживать наказаниями. Чем больший трепет вселяет кара, тем лучше для самих же людей. Они будут уважать тех, кто стоит над ними, а это значит — уважать самих себя. Не следует карать по ошибке — при частом повторении это не способствует порядку. Но можно карать без видимой причины — это внушает трепет к уму начальства, недоступному для понимания, и усиливает почтение к известным и понятным законам. Уважение и трепет перед правителями означает, что люди будут готовы для них на все, даже на смерть».

Поэтому, в полном соответствии с рецептом Шанского правителя, в общество постепенно, с массированным пропагандистским подкреплением, обращением к славно-

му прошлому и светлому будущему, опираясь на образы героев и гениев, была внедрена система карательного «самообслуживания». Не столько вина, сколько беда нашего общества, что оно позволило внедрить такую систему; позволило в большинстве своем, меньшинство затаилось или сгнуло. Ведь «писали» не только фанатики и подлецы, завербованные и торопящиеся опередить донос на себя. «Сигналы» стали чуть ли не нормой поведения, правилом хорошего тона. Идеино зрелый, сознательный и бдительный — то есть настоящий! — советский гражданин просто не мог не «сигнализировать» о том, что ему, честному патриоту, показалось не то что опасным для страны и народа, а подозрительным, несоответствующим или просто необычным и странным. Ведь доброкачественно лишь то, что «соответствует»: любая необычность — уже потенциальный шаг к враждебному. Как, находясь на Северном полюсе, можно идти только на юг — так от самых лучших идеологий, порядка и поведения можно было отклониться только к худшему... Это мироозерение не прошло вместе с культом — вспомним «гнев и осуждение» в адрес Пастернака; натравливание на правдоискателей покорного и сплоченного «коллектива» (то есть стада или стаи).

МНЕНИЕ: «Я не могу винить тех людей, которые занимались мной: они выполняли приказ. Тяжело было не только мне — и Рою Медведеву, и многим другим... Наклеивали ярлыки антисоветчиков и соответственно с нами поступали». — А. Антонов-Овсеенко. («Вечерняя Москва» № 8, 1989.)

Он не винит — понимает. (Правда, это о застойных временах, не о сталинском терроре. Тех палачей нельзя ни понять, ни оправдать.) Есть ли моральное право у тех, кто такого не пережил, быть строже к исполняющим приказ и верившим в его правильность? Тем, кто молчал в застойное время? Это им не в упрек — молчали многие. Но теперь превосходить настоящего борца в праведном гневе к «органам» по меньшей мере незачинно. Или такие люди сами испытывают желание пусть запоздало, но ответить, выразить свои чувства, компенсировать подсознательный комплекс вины за непротивление и бездействие? Ни к чему...

МНЕНИЕ: «Нельзя обвинять тех, кто не способен безоглядно решиться на геройский поступок, который заведомо ни к чему не приведет. Во время господства системы, которая, по словам Норберта Винера, отвечает на сигналы обратной связи уничтожением их носителей, геройским поступком было неучастие в беззаконии, в подлости, честное исполнение своего дела». — Академик А. Мигдал. («Литгазета» № 1, 1989, с. 3.)

Те, кто выполнял приказ в застойное время, не расстреливали, не пытали — противостояли «враждебным проявлениям», критерии которых определяли не они... Кроме того, в нашу жизнь пришла зона. Множество людей бывало в заключении, где нравы тоже не самые лучшие; чтобы выжить, надо было хоть частично перенять их; к тому же до сих пор судебная система была такова, что попасть в заключение было несложно. Конечно, не так просто, как в годы «закона о колосках» и «опозданиях», но тем не менее. Это дополнительно способствовало ожесточению. Неудивительно, что блатные песни и нравы пользовались популярностью — они были какие-то живые, выражали настоящие, сильные, пусть и не самые возвышенные чувства. Поэтому преемственность — через шапку к уголовщине — также внесла свой вклад в снижение морали. Некий уголовник-«ветеран» заметил как-то, что «мирные граждане» очень напоминают «шестерок» — так же трусливы и вялы, так же любят «прислоняться к бугру», т. е. пользоваться чьим-то большим авторитетом, постоянно стучат друг другу и «наверх»... Может быть, так было раньше? До сих пор во многих школах младшеклассники, назначенные дежурными, должны писать рапорты о поведении друг друга. Или завуч вызывает в кабинет для беседы и выпрашивает, кто сделал то или сказал это. Напирает на пионерскую сознательность и правдолюбие,

намекает на возможные неприятности — скажем, с оценками в четверти, а то и хуже — и гарантирует полную конфиденциальность. Помню, в какой-то дискуссии высказались о школьниках: «Я увидел поколение детей, не знающих, что такое стыд». Чего же еще ждать при подобной «педагогике»...

РАЗГОВОР:

«— Долой... Что-то не слышал, чтобы в США были демонстрации под лозунгом «Долой ФБР!» или «ЦРУ!».

— Постой, а скандалы? А митинги в университетах — «Стукачей — вон!»?

— Не пугай, тех, что я назвал, не было. Я ведь с одним таким студентом разговаривал, он помнит. Так вот — если ФБР или кого еще засекут на незаконных действиях, если суют нос в дом человека, а то и в кровать — люди возмутятся, конечно. Права личности! Но что ФБР нужно — он уверен совершенно, при условии, что вести себя будет деликатно. Там ни для кого не секрет, что за многими группами и людьми наблюдают, но — аккуратно.

— Но зачем — за многими? Борьба с террором, с мафией, заговорами — ясно, а...

— Дослушай! Вот смотри — какая-то группа постепенно начинает действовать все резче. При этом — соблюдает конспирацию, к террору готовится, но пока «держат приклад у ноги». А потом соберут силы, разработают, скажем, покушение на президента — и вперед! Что же, ждать, пока гром грянет? Имеют в виду всех, кто-то начинает «звереть» — им больше внимания. Скандалы — как раз хорошо, значит, общество их контролирует и лишнего не позволит.

— Так это у них. А у нас открыто оружия не продают, разве если уголовные...

— Во-первых, и уголовные не сахар. Кто будет бандами заниматься? Во-вторых, насчет оружия, скажу тебе — прихотилось видеть. От самоделок до автоматов. В семидесятые, помню, по Забайкальскому округу даже приказ был о борьбе с хищениями оружия и боеприпасов, взрывчатки. Хорошо, если рыбу глушить — а помнишь взрывы в метро? Два года «авторов» искали. Друг из Сибири рассказывал: у каждого охотника-профессионала с собой граната есть — от медведя-шатуна, «на крайняк». И вставка — ствол то есть нарезной, его в гладкий ствол охотничьего ружья вставляют. Он говорит, еще когда пулеметы Дегтярева снимали с вооружения — сколько стволов ушло мимо переплавки! Кто-то из армейских руки погрел. Или недавно — винчестер видел, 1978 года выпуска. Через пролив, говорят, идут. Да и контрабанда. Не знаю точно, но рассказывали, что какая-то волейбольная команда оружие провезти пыталась — засекли. А сколько не засекли, а? Даже не уголовные, а шпана самоделки лепит, револьверы-«палтоки», гладкоствольные. Недалеко бьют, не метко — но вблизи от них раны страшные. С двадцати метров если в голову попадает, так череп разлетается. Сейчас сколько слухов — и «Память» оружием запасается, и мусульмане, и на Кавказе... Да и не только слухи. Значит, хочешь не хочешь, а приглядывать надо. А то успеют дел натворить — расхлебывай потом.

— Я слышал, у милиционеров pistols крадут...

— Не без того. Вот тоже вариант. Значит — представление хотя бы надо иметь, что от кого ждать. Наблюдать: если чисто — бог с ними, если экстремисты — то уже внимание. Оружие они найдут, если захотят. С точки зрения государственной — объективная необходимость».

«При досмотре в аэропортах изъято более 250 стволов огнестрельного оружия и 86 117 единиц холодного оружия, 411 кг взрывчатых веществ, большое количество боеприпасов». («Аргументы и факты» № 5, 1989.) (Только в аэропортах, только изъятое, и только в 1988 году!)

РАЗГОВОР:

«— К тому же у них закон о свободе информации. Помнишь, как Грэм Грин заказал копию своего досье? Получил, хотя часть текста была забита черной краской.

Я бы тоже не отказался почитать свое, пусть и с купюрами. Наверняка узнал бы много интересного. Да нет, вряд ли там чушь — но что-то ведь забываешь или помнишь неточно, а то и искаженно.

— Тут сразу не разберешься. Помнишь, Буковского обвиняли: хотел захватить самолет, чтобы покинуть Союз? Это тогда, теперя, может, и не выдали бы, но судили в стране прибытия. Соглашение ИКАО... Двое улетели в Турцию — и получили по восемь лет турецкой каторги. Наверяд ли она лучше нашей зоны...

— Несправедливость это и згойзм со стороны западных демократов. Понятно, что теракты их уже доняли. Но ведь одно дело — воздушные пираты, другое — беженцы. Если бы речь шла о стране, из которой можно нормально уехать, если не согласен. А то и правда — тюрьма народов, если не хочешь идти в ногу — за тобой рано или поздно придут из КГБ. Инакомыслящий — преступник, вот сиди и жди. Или молчи в тряпочку. Кто не в ногу или шаг влево, шаг вправо — на заметку. Значит, нарвется. Советские люди должны ходить колоннами и стройными рядами...

«Но когда шагают в ногу,
Если все шагают в ногу —
Мост об-

ру-

ши-

ва-

ет-

ся...» (А. Галич).

МНЕНИЕ: «Сейчас многие считают диссидентов сплошь героями и пророками. Дело даже не в том, что среди них были всякие. Перестройка и сейчас идет с большим трудом, и главное ее препятствие именно массовое сознание общества как суммарное, интегральное действие сознаний различных слоев и групп. А в те времена? Гораздо менее радикальный Хрущев — и тот не удержался... Вспоминают осуждение Пастернака: «Не читали, но скажем». Ну а если бы прочли — какова была бы реакция? Думаю, что если тогда собрать совершенно произвольно, без подставок, суд присяжных — так наверняка единогласно бы решили: виновен в клевете! Даже если без кампаний в печати, без подготовки. Галич — дело другое, он пел о всем понятном, да и ситуация ухудшалась — но за «глас народа» тут тоже не поручишься. Сейчас, когда многое ясно и само общественное мнение изменилось, — они правы. Но судили тогда в соответствии с тем общественным мнением. Пусть во втором случае его и не спрашивали. Я понимаю чувства людей, знавших их, знакомых с их вещами, — но мне реабилитация и особенно посмертное восстановление в творческих союзах представляется идеалистическим ритуалом. Деятельность же инакомыслящих, по-моему, действительно уже не опасна...»

«Многим людям, опередившим свое время, пришлось дожидаться его не в самых удобных помещениях» (Станислав Ежи Лец). Уже, правда, не расстреливали — но «Что пользы в том, что явных казней нет?» («Борис Годунов».) Завершая эту тему, обратимся напоследок к «Искуплению» Ю. Даниэля: «Товарищи! Они продолжают нас ре-прес-сировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь!.. Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные!.. Вы думаете, что ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы». Именно пассивную сопричастность искупал человек в оттепельном 1963 году, свою роль частицы государства... Это — прошло?

Но вот — письмо («Век XX и мир» № 9, 1988, с. 8). Человек обсуждал на Пушкинской площади с несколькими собеседниками газетную статью. Его задержали, доставили в милицию, а оттуда — в суд. Там он был «за организацию стихийного митинга» приговорен к двум месяцам исправительных работ с удержанием 20% заработка. При этом пошедших за ним возмущенных свидетелей в отделение просто не пустили; а в самом

отделении нашли двоих, в первый раз видевших задержанного. С привычной легкостью милиционеры составили, а «свидетели» подтвердили заведомо лживые протоколы... Или — похожий случай с людьми из группы «Гражданское достоинство». Правда, на этот раз — невероятно! — суд их оправдал. («МН» № 41, 1988, с. 14.) При этом выяснилось, что законом не предусмотрена возможность привлечь к ответственности за ложь ни авторов протоколов, ни усердных лжесвидетелей... Так что же — опять коварный КГБ подстроил провокацию, или?.. «Подумаешь, — скажет кто-то, — два месяца да 20 процентов!» Так ведь и в 28—29-м все начиналось не с пыток и массовых расстрелов! Невдомек несчастным брехунам — милиционерам и их подручным — что водораздел закона и беззакония, совести и тупой холопской исполнимости уже позади. И вопрос перехода от 15 суток к 15 годам — уже вопрос эволюции во времени. Интересно, случись (не дай Бог, конечно) так, что когда-нибудь некое новое ОСО будет на основании таких же рапортов и «свидетельств» раздавать участникам «протокольной комедии» по 15—20 лет, — вспомнят они, с чего когда-то начиналось? Ведь не под пытками врал, не из идейных соображений — из корыстного служебного рвения. К стати, а никому из нас не приходилось выступать в качестве понятого или свидетеля? И, торопясь по своим делам, наскоро подмахнуть, не читая? Случалось видеть такое. При чем же здесь пресловутые «органы» и их «агенты»?.. Так что нас бьют фальшь или трусость, распределенные в обществе и сублимированные наиболее застойными и прогнившими его частями — той же службой охраны порядка. Но вот суд уже перестраивается. Ранее дававший чуть ли не 99% осуждений; воплощавший общеправительную и псевдоэкономическую (не напрасно же работали — задерживали, писали протоколы, оформляли, заседали в суде) функции, а не реализацию права и справедливости — теперь меняется к лучшему. Хорошо бы — и дальше так, всерьез и надолго, а не «согласно курсу»...

МНЕНИЕ: «... Там столько антисоветчины!» — восхищенно добавил он. Я спросила, что он понимает под этим словом. «Как что? — удивился водитель. — Правду!» («МН» № 2, 1988, с. 9.) Второй фрагмент принадлежит перу молодого, но не раз выступавшего в самиздате автора — Андрея Новикова. Оппозиционер, но «неприсоединившийся», независимый, имеющий и высказывающий свое собственное мнение. (За это ему часто доставалось — не всем по вкусу объективность.) И так: «Нам кажется, что мы постоянно боремся с КГБ, — на самом деле во многом мы боремся сами с собой. Постоянно слышится: КГБ, КГБ, КГБ. Что бы ни произошло — КГБ. Кто-то остроумно заметил, что господь бог специально выдумал дьявола, чтобы на его фоне чувствовать себя поприличнее.

Сначала меня за несогласие с «генеральным курсом» партии (Демократический союз. — А. О.) объявили «агентом КГБ». Прекрасно, сказал я... Дайте мне законное право организовать внутри ДС «фракцию агентов КГБ». Рано или поздно в ней окажутся все независимо мыслящие люди... После этого с меня сняли обвинение, но стали как-то странно поглядывать, сочувственно качать головами... Я понял, что борьба за внутреннее единомыслие вступила в новую стадию, и стал ждать, когда же ДС откроет собственный специальный сумасшедший дом.

... Трагедия, уже раз происшедшая в истории, на этот раз повторяется в виде фарса...» (А. Новиков, «Реальность и возможность».)

РАЗГОВОР: «Почему отошел? Потому что вы о делах говорили. Да, понял, что доверяете и прочее... Я вам вот что скажу — видел уже не один раз. Сперва разговаривают о чем угодно, потом, как утечет что-то, начинают вспоминать: кто же мог продать? А, так при этом посторонний был — ну, все ясно! Да и проще, чем своим подозревать. Так что прошу при мне интимности ваши не обсуждать. У каждой группы свое, а другим оно не нужно,

давно эту комедию наблюдаю. Сперва дискутируют где попало, потом голову ломают: кто заложил? Вечная болезнь диссидию наших: прежде чем с бабой лечь, под кровать заглянет — нет ли там гебиста или, на худой конец, микрофона. Появится новый человек — так обязательно кто-нибудь отзовет другого в сторону и таинственно сообщит: «Знаешь, по-моему, он стукач!». Вот так — по-моему, и все. При Берии хоть подобия доказательств лепили, а нам и того не надо. Иной ходит потом, недоумевает — чего от него шарахаются, руки не подают, от дома отказывают? А от «по-моему» — пошел слух, по пути обрстая подробностями. Стукачи у нас — как летающие тарелки, все о них знают, но никто сам не видел. Такая вот конспирация, а потом то по телефону несут открыто, и это при уверенности в тотальном подслушивании, то не заметят, как, вывалившись со своего очень законспирированного собрания с шибко секретной темой, продолжают дискуссию на улице, в транспорте, и во весь голос! Помню, с «Доверием» встречался. Договорились в метро, я раньше чуть подошел, стою боком — не признали меня сперва. Рядом разные граждане у перил стоят. Нет, специально не прислушивался — глухой бы их не услышал. Потом половина того, о чем трепались на месте сбора, в квартире общалась так: вызывают на кухню самых доверенных, показывают записку с сообщением и припиской, что вслух, мол, ничего не говори, даже не переспрашивай — а то подслушает микрофон! Вопросы — письменно, потом — сжечь! Смех!!!»

МНЕНИЕ: «... Истинные доносы исходят не от кадровых офицеров, господа...»

От кого же?

— ... От выслужившихся унтеров и оберо, от лавочников... Достигли первой сытости... боятся потерять... Завидуют... Мстят... Вот и фискалят!» (Л. Лиходеев, «Сначала было слово». — Политгиздат, 1987, с. 40.) (В журнале вышло еще до перестройки!)

«— Деспотизм сидит в нас самих... В нашей настороженности и подозрительности друг к другу... Мы готовы видеть в собеседнике жандарма, если собеседник возражает, и готовы видеть в жандарме революционера, если он согласен в разговоре... Мы легковерны к слухам, вспыхиваем от вздора и от вздора гаснем... Стоим насмерть на допросах и легко пробалтываемся за стаканом вина... Мы либо деремся, либо целуемся...» (Там же, с. 74.)

Еще один распространенный предрассудок — о цензуре. Якобы она вся руководима КГБ; кроме Главлита в каждой редакции есть информатор и так далее. Тот, кто наблюдал прежде прохождение материала по редакционным инстанциям (сейчас этот эффект быстро слабеет), знает, как происходило «обезвреживание». Не говоря о «внутреннем цензоре», каждый старался вычеркивать по принципу «как бы чего не вышло». Далее вычеркивал начальник, но если ему оставалось много — значит, нижестоящий плохо поработал? Поэтому старались «с запасом». Другая механика, уже упоминавшаяся — тотальное секретотворчество ведомств, чаще всего помогавшее сохранять монополию или избегать контроля. Вот и все — а в «органы» обращались (если обращались) лишь по поводу «утечки» служебных псевдотайн, что прибавляло работы, будучи бессмысленным и неопасным.

«— Так ведь нашему обывателю радость, если цензура вмешалась!.. Точки домисливает, меж строк видит. А напиши как есть... взрослому человеку — зевота до оскомины... У нас... когда истинную правду напишешь — читать неловко: будто нигишом увидели! (Л. Лиходеев, с. 79.)

Другой вопрос — с архивами, сейчас они постепенно раскрываются, и все отчетливее виден такой же механизм «секретности». Монополизация здесь проявляется еще ярче — можно держать всю информацию для себя и благодаря этому лидировать, скажем, в изучении определенного периода; другим же исследователям работать не с чем. О таком случае рассказывает писатель

Ю. Поляков, член ЦК ВЛКСМ. Его долго не пускали в архив ВЛКСМ — члена ЦК! — потребовалась масса бумаг, но под конец «хозяин» архива попросту сказал — читайте, мол, мои статьи, что можно — там все есть. «Это называется — попил из реки по имени «Факт», — грустно констатирует Ю. Поляков.

МНЕНИЕ: «Пусть КГБ откроет свои архивы! . . . Не надо их судить. Но назовите фамилии! Да, Сталин преступник. Но не мог же он единолично, даже вкуче с Берия . . . сфабриковать обвинения и расстреливать сотни тысяч «врагов народа»?

. . . Почему мы столь неумолимы к военным преступникам? . . . Подлость наших внутренних предателей, торпедовавших святые идеи, была еще больше . . . «Открыть» дела, по крайней мере посмертно реабилитированных. И напечатать в газетах фамилии. Без смакования и подробностей». — Академик Амосов. («Литературная газета» № 1, 1989.) (Примечание: говорят еще и так: «Народ должен знать своих стукачей». Неотвратимость, а не кара!)

Во всех подобных случаях многозначительный намек на «них», сочувственное воздевание глаз — не мы, мол, виноваты, сами понимаете: «там» решили — прикрывают личный интерес или трусость, а то и лень.

Намеки эти используются и в других случаях. В журнале «Даугава» (№ 12, 1988, статья «Наручники») описываются события, часть которых автор наблюдал сам. 14 июня в Риге во время демонстрации молодой человек по имени Модрис-Луянс вышел с плакатом, обвинявшим Сталина и Молотова в предательстве (в 1939 году), а некоторых руководящих работников современности — в лицемерии. Хотя плакат был довольно безобидный, товарищи решили — лучше снять его, что и было сделано. Тем не менее на М. Луянса завели уголовное дело: «демонстрировал плакат клеветнического содержания» — такова формулировка. Разумеется, вовсе не обиженные должностные лица устроили такое — по своему почину, почти рефлекторно защищая начальство, действовали из «среднего звена». М. Луянсу пытались инкриминировать и злостное хулиганство, и антисоветскую пропаганду, его даже взяли под стражу, как на бандита, надели наручники. Дело вызвало огромный резонанс, возмущение людей было широким и неподдельным. Прокурор пытался доказать опасность преступления: М. Луянс, мол, был использован как провокатор, своего рода «пробный камень». «Те, кто стоял за спиной Луянса, кинули его в адрес властей, дабы посмотреть, как к провокации отнесутся те, кто должен защищать демократию». Короче говоря, все оказалось шито белыми нитками, в следствии обнаружили совершенно безобидные подлоги и накладки, и М. Луянс был судом оправдан. И вот что интересно — многочисленные общественные заступники, ходя по инстанциям, не раз слышали такой же намек — зря, мол, стараетесь; и мы тут ни при чем — это все «оттуда»! Ходатаи тем не менее не испугались и не отступили. И если в официальных беседах лишь намекали, то в более частных разговорах ссылались на «контору» прямо. Но — не помогло, не побоялись честные люди перечить «конторе». Она же была здесь совершенно ни при чем, и о деле, как позже выяснилось, узнала лишь тогда, когда пошли массовые демонстрации и сбор подписей в защиту М. Луянса, о чем даже сообщало западное радио. То есть обеспокоились лишь последствиями грубо сляпанного «дела» . . . Старая привычка — раньше говорили «черт попутал», теперь пытаются сослаться на КГБ . . . (Автор сам участвовал в сборе подписей и был свидетелем нескольких обсуждений; кроме того, появлялся на месте сбора подписей и некие агитаторы, уговаривавшие «не делать глупостей — все равно не поможет, а фамилии ваши попадут «туда». Но тигр оказался бумажным . . .)

В статье «Шайка, банда, система . . .» («Огонек» № 47, 1988) упомянуты «. . .сотрудники, которые по инициативе Андропова были переданы из КГБ с целью борьбы с милицейской коррупцией». Судя по тому, как от них старались избавиться, они работали эффективно. Следо-

ватель Олейник, 15 лет противостоявший организованной преступности, знает, о чем говорит. «Все раскрытые до сих пор мафии — это заслуга КГБ. Комитет . . . оберегая государственную безопасность, вынужден заняться многими делишками мафий». Снова диалектика: здесь изолированность сыграла положительную роль. Почти никакой связи с материальными ценностями, строгий подбор кадров и контроль дали свои результаты. При этом специфика — практика борьбы с организованными группами, которые для МВД теоретически не существовали, — тоже плюс. Вот очень важная и вчера, и сегодня, и завтра область работы — мафия если и исчезнет, то даже не последует. Во всем мире организованной разветвленной преступной сети противостоят специализированные общегосударственные ведомства. МВД пока беспомощно . . .

Если не поддаваться эмоциям, то что нужно сказать и что можно предложить? Ясно, что «спецслужба» все равно нужна государству; даже самая крайняя оппозиция — Демократический союз — при конкретизации своей платформы изменила первоначальную формулировку. Ранее в программе ДС был пункт «распустить КГБ», также говорилось о привлечении к ответственности виновных в терроре против народа и беззакония. В последующих, уточненных вариантах — требование ликвидировать «тайную политическую полицию», создав «ведомство по борьбе с терроризмом, шпионажем, заговорами». «Привлечение к ответственности» было дополнено пояснением, что необходимо осудить виновных, но не наказывать, при необходимости даже обеспечить охрану от «народного гнева». (Последний пункт кажется излишне декларативным — мало кто из «культовых» деятелей уцелел. Одних ликвидировали тогда же, других расстреляли в 53-м; те же, кто еще не умер своей смертью, скорее всего не доживут до разоблачения и осуждения.)

Учитывая вышесказанное, пора перенести акцент с темы «Кто виноват?» на «Что делать?».

Трезво мыслящим людям давно ясно, что с образом «коварного зарубежного врага» давно пора расстаться. С нынешним ядерным оружием уже невозможно победить и оккупировать. Тем более, что «кто теперь захочет на нас нападать? Что у нас взять? А если завоюешь, то нас же еще и кормить надо» — так считает ветеран войны, кандидат наук В. Чудов («Век XX и мир» № 9, 1988, с. 12), да и не он один. Страны Запада можно понять — много лет мы яростно утверждали неизбежность их гибели, действовали соответственно, не задумываясь, применяли силу и к союзникам. Но — наступило отрезвление, новое мышление.

Так что же теперь — открыть границы? Увы, кроме экспансии политической существует и экономическая. Пограничные барьеры нужны и странам с благополучной экономикой и устойчивой валютой. Нам же — тем более. Далее, по разным оценкам, более 70% деятельности разведок и контрразведок связано именно с экономическим и промышленным шпионажем. Не считая частных детективных агентств и информационных фирм. Сейчас рано говорить о возможности хищений у нас научных, промышленных, технологических секретов — но при развитии экономики «Советский Союз» является и остается для нас главным объектом сбора и анализа разведывательных данных . . . Какие бы соглашения в области контроля над вооружениями США ни заключали с СССР, наши отношения по своей сути, видимо, останутся отношениями соперников — заявление директора ЦРУ Уильяма Уэбстера агентству Ассошиэйтед Пресс. («АиФ» № 2, 1989.) «Утечка интеллекта» — давний и вполне реальный фактор; при открытии границ сегодня нам угрожает реальная опасность стать страной гастарбайтеров. (Опять же, пока квалифицированный рабочий ли, ИТР, ученый не может получить соответствующей оплаты, пока им приходится испытывать необоснованные ограничения в правах и кормить армию паразитов-чиновников — административных, партийных и т. д. — до тех пор опасность сохранится.)

Война была продолжением политики до последнего

времени, ныне же политика больше похожа на шахматную партию, чем на кулачную драку. Раньше страны Запада могли быть заинтересованы, чтобы СССР был занят внутренними проблемами и оставил их в покое. Но как раз внутренними проблемами и пренебрегали ради внешней политики... Теперь не пренебрежешь — трещит не по швам, по живому. И Запад не заинтересован в агонии «советской империи» — такие судороги могучего «ядерного динозавра» скорее всего приведут к концу света. Выход один — перестройка и в международных отношениях. Чем дальше мы будем от напугавшей весь мир «марксистско-политической модели социального равенства», тем менее удастся заинтересовать людей Запада в «сдерживании». «Его величество Капитал» — наш «образ врага» — тоже абстракция. С пограничной службой, по видимому, спешить не следует. А с внутренней и внешней?

В основном все встречавшиеся до сих пор предложения грешат, во-первых, предубежденностью и (или) благодушием; во-вторых — неконструктивностью и общими местами: «ограничить в правах», «поставить под строгий контроль»... Тут и недостаток информации, и привычка к стилю указаний вообще, «в духе решений». Имея в виду задачи построения правового государства, можно предложить:

— не ограничить в правах, а, напротив, максимально расширить как самостоятельность, так и ответственность специализированных ведомств. При этом — отчетность перед правительственными комиссиями на общегосударственном, самое малое — республиканском уровне. (Последнее сильно зависит от формы новых конституций республик и СССР в целом.) На местах — контроль со стороны как прокуратуры (тоже реорганизованной и независимой), так и адвокатуры в смысле развитой системы защиты прав граждан;

— специализированные службы должны действовать с разделением и частичным перекрытием функций; с возможностью согласованности и взаимодействия по отдельным вопросам или для конкретных операций. Сосредоточивать все в одной системе, пусть и в качестве отдельного управления МВД, неразумно: та же моноструктура, с единой подчиненностью, с превалированием иерархии над профессионализмом. Так, наряду с собственно КГБ (контрразведка, борьба с терроризмом и экстремистскими группами) можно предложить следующее: разведуправления при МИД и МО; контрразведка при МИД; борьба с терроризмом и мафией как отдельное ведомство (аналог ФБР), так и подразделение МВД. Предусмотреть обмен данными, отчетность (но не строгую подчиненность — наподобие самостоятельности предприятий). О структуре КГБ нам известно мало, но наличие специализации безусловно. Так что соответственно часть специалистов останется собственно в КГБ, часть перейдет в другие службы. Разумеется, будут нужны новые кадры квалифицированных специалистов, общее число работников спецслужб даже возрастет. Здесь будет существенна роль опытных специалистов по разведке и контрразведке, борьбе с мафией. Самые предубежденные, полагаю, согласятся: даже после революции большевики, которых не заподозришь в избытке терпимости и доверия к «классовому врагу», прибегали к помощи кадровых военных как для командования, так и для подготовки кадров. Присматривали за ними, конечно, тем не менее — привлекали к работе. Неужели мы более нетерпимы и ограничены, чем красноармейцы гражданской и будущие «сталинские соколы»? Та же поляризация — заранее отказываем в патриотизме, честности, гражданских и особенно человеческих чувствах. Вся беда была именно в сверхцентрализации и навязыва-

нии сверху образа действий и критериев; специалисты оказались лишь исполнительным инструментом в руках ограниченных догматиков.

(Этих специалистов многие априорно считают болезненно подозрительными маньяками, готовыми видеть в каждом потенциального изменника. Проверять факты — задача любого следователя, и опасаться стоит скорее «обычных», которые ради выполнения показателей по «раскрываемости» и т. д. идут на всякое. «Витебское дело» всем известно, много писали и о других, а о скольких широко не оповещалось... Удивительно — «выполнение плана по врагам» сгнуло вместе со сталинизмом, а в уголовном производстве — даже укрепилось!

Что же касается «подозрительности» — то и врача, обязанного сделать необходимые анализы, можно обвинить, что он маниакально подозревает нас в туберкулезе, триппере, а то и СПИДе...)

Скажем, в США, где лишнего не держат и зря денег не тратят, независимые подразделения разведки: ЦРУ, разведка МО, АНБ, Бюро разведки и исследований госдепартамента — координируются Советом по разведке; аналогично контрразведки — военная, ФБР и пр. — координируются межведомственным совещанием. При этом отдавать приказы может только свое начальство, но и отдельные сотрудники и подразделения контролируются на местах юристами и — через прессу — общественностью. Странно, что у нас — монополярная пирамида, а именно в США — система «советов» спецслужб! Да, у них есть свои проблемы, но нет органических пороков наших ведомств. Во всяком случае, не то что мэр города, но и губернатор штата не может приказывать спецслужбам, только полиции. У нас же и райком партии может давать указания райотделу КГБ.

Давайте думать вместе, как с участием граждан и общественных организаций, так и с привлечением специалистов МИД и КГБ, МВД и Минюста, военных и правоведов, экономистов и историков — и не отдавать это дело на откуп кому-то одному, тем более анонимным «законотворцам», готовящим Указы.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА,

Заметки были уже, в общем, закончены, когда часть из них случайно прочел знакомый автор. Культурный и образованный человек, участник войны, член КПСС со странным удовлетворением заметил: «Хитро выкручивается!» На вопрос, кто именно, пояснил: «Тот гебист, что писал. Забеспокоились, бояться за свои должности, оклады и пайки! Еще бы — знает кошка, чье мясо съела!» Разубеждать его автор не стал, но считает необходимым пояснить для желающих:

— во-первых, ему, как, наверное, каждому потомственному интеллигенту, свойственно некое генетическое, «классовое» отношение к любой охране. Если не предубежденность, то, безусловно, антипатия. Тем более, что происходит из семьи почти сплошь репрессированной;

— во-вторых, весь жизненный опыт любви к «органам» не способствует; не прошло и двух месяцев, как попытка участия автора в митинге была очередной раз пресечена вежливыми немногословными людьми в штатском;

— в-третьих, будем все же бдительны. Не сидит ли у автора где-то глубоко в подсознании этакая мыслишка: доброе слово и кошке приятно, может, вспомнят, в случае чего заменят «вышку» на «четвертак»? Перестройка перестройкой, но чем черт не шутит, пока Бог спит!

Пока — спит...

Февраль 1986—ноябрь 1988—январь 1989





Фотограф неизвестен. Парусник и струги у наплавного моста. 1969.



Карлис Шульц. Мужской хор Яунгулбенского певческого общества, ок. 1875 г.

«ЛАТВИЙСКОЕ ВРЕМЯ»



Вилис Ридзиньекс. Объявление Латвийской Республики 18 ноября 1918 года.



В. Блумбергс. *** 1920 годы.



Фотограф неизвестен. Поднимается Новая Латвия. 1920 гг.

С ФОТОВЫСТАВКИ



Фотограф неизвестен. Танки Красной Армии входят в Ригу 17 июня 1940 года.



Е. Кравцс. Выборы в Верховный Совет СССР в Риге. 12 января 1941 г.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ И МЫ

По всем направлениям идет в стране процесс осознания прошлого. Мы делаем первые шаги к научному осмыслению себя — советской социалистической модели социально-экономического развития — в общей картине современного мира. Делаем попытку освободиться от оков идеологического догматизма, мешающего нашему дальнейшему развитию. В рамках «нового политического мышления» идет активная работа по перечитыванию классиков марксизма-ленинизма в поисках у них позитивной программы мирного эволюционного пути развития. Делаются попытки обосновать возможность «третьего пути» — постепенного мирного движения в сторону социализма. Идет поиск модели «смешанной экономики»: «хозрасчетного социализма», сочетающего административные и экономические формы управления, государственную, частно-кооперативную и индивидуальную формы собственности, вводящего в плановую экономическую систему рыночные элементы (учреждение института оптовой торговли, расчетные денежные отношения между и внутри предприятий, между министерствами и т. д.).

Однако, прежде чем принимать судьбоносные политические решения, определяющие путь нашего будущего развития, недостаточно осмыслить «уроки сталинизма». Нам необходимо оглянуться по сторонам и очищенными от догматизма глазами увидеть возможные альтернативы социального и экономического развития. Проанализировать уроки «третьих путей», по которым пошли консервативные (буржуазные) и социал-демократические партии в послевоенные десятилетия, ту духовную эволюцию, которую они претерпели за годы пребывания у власти и в оппозиции, взвесить тот идейный и ценностный багаж, с которым они вступили в 80-е годы, понять, почему возник кризис социалистического движения на Западе, в результате которого социал-демократия утратила свое политическое влияние, и в чем заключен феномен «консерватизма», за который голосует сегодня капиталистический мир.

Нам необходимо со всей серьезностью осмыслить предостережения нашего главного оппонента из либерального лагеря консерваторов-монетаристов Ф. Хайека (книгу которого «Дорога к рабству» сегодня читают в странах социализма так, как когда-то читали Маркса и Ленина), о том, что и мирный — демократический, социал-реформистский, эволюционный путь к социализму — это все тот же путь к коллективизму, обобществлению, огосударствлению, плановой, командной экономике, управляемой политическими методами, путь к монополизму и подавлению индивидуализма, демократии и личной свободы.

Несет ли в себе «демократический социализм» нарастание духовного, морального и экономического потенциала стран развитого Запада либо ослабляет и растрчивает их духовное и экономическое могущество? Является ли созидательной силой либо несет в себе исключительно разрушающий импульс? Во имя какой цели заключает он свои постоянные политические компромиссы и достиг ли он этой

цели? Каков положительный идеал «демократического социализма»?

Это очень важные для нас вопросы, на которые следует дать ответ прежде, чем будет сделан наш новый выбор.

Мир накопил и большой опыт социального реформирования и ревизий Маркса, Энгельса и Ленина, в ходе которых уже в начале века была доказана возможность использовать эти учения для обоснования мирного, эволюционного, реформистского пути к социализму. Родоначальником этого переосмысления, «отцом» реформистского пути был и остается Эдуард Бернштейн, имя которого западноевропейская социал-демократия в послевоенные годы «перечитывания» Маркса вернула в список своих главных идеологов.

Я хочу обратить внимание на то, что в 50-е годы западноевропейская социал-демократия прошла через второй тур переосмысления и перечитывания фундаментальных основ классиков. Последовавшие за этим сокрушительный разрыв с марксизмом и тщательная ревизия всего диапазона общественно-политических, экономических и религиозных учений завершили принятием попперианской идеи «эволюционного рационализма» и тактики «малых шагов» в качестве философской основы своего «третьего пути». С принятием попперианства и переходом на путь эволюционного социализма социал-демократия не обрела ни новой цели, ни нового идеала, ни нового смысла. Только тактику — тактику «малых шагов» — шагов в направлении социализма, кризис которой сегодня переживают и Запад и Восток.

Суть «третьего пути» довольно точно выразил Ф. Хайек: «распределительная справедливость» — равенство в распределении благ, достигаемое посредством медленного, мирного и постепенного перераспределения доходов от богатых к бедным, собственности — от частных владельцев к государству («обществу в целом»), рычагов власти — от экономических институтов к политическим (государственным). Равенство в распределении благ, по замыслу социал-демократии, должно осуществляться посредством роста размеров государства благосостояния (перераспределения средств через механизм налоговой политики в государственный бюджет с последующим «социальным» его распределением), регулируемой экономики (через механизм перераспределения денежных инвестиционных и стимулирующих потоков из одних отраслей, сфер и производств в другие), политики согласованных действий (профсоюзов, союзов предпринимателей и государства, договаривающихся об уровне цен и заработной платы), социальной политики «полной занятости», препятствующей увольнению и поддерживающей «бюджетные» рабочие места и т. д.

Социал-демократические программы социальных реформ были основаны на идее роста доли государственной собственности и сокращения частной, ослабления рыночных механизмов регулирования и замены их политическими методами управления, усиления вмешательства государства в экономический процесс через механизм управления ценами, зара-

ботной платой, занятостью, перераспределения потока денежных средств и широких стимулирующих программ, ослабляющих встроены в рыночную экономику автоматически действующий жесткий механизм денежного саморегулирования.

В основе их социальных программ лежало представление о системе социального обеспечения как высшего достижения общественного развития, размер, масштаб и степень охвата граждан которой характеризует уровень социальности. Принцип «социального государства» («государства благосостояния») утверждал, что чем большее число граждан получит те или иные привилегии, чем больше число получателей социальных пособий, чем выше их размер и шире охват — тем социальнее государство, тем справедливее общественное устройство, тем ближе к идеалу социальной справедливости и социализма стоит общество. Во имя этих целей и формировались программы социальных реформ и увеличивался объем перераспределяемых средств, повышались налоги, увеличивались размеры взносов в систему социального обеспечения, расширялись размеры общественных фондов потребления, осуществлялось дефицитное финансирование социальных программ, росли государственные долги и усиливалось инфляционное давление на экономику. Все эти «издержки» объяснялись благородством цели, во имя которой фактически осуществлялось ослабление экономического фундамента.

На пути к «большему социализму» социал-демократические правительства ослабляли экономическую базу роста благосостояния.

Приведем несколько цифр.

В 1965 г., когда у власти в ФРГ находились христианские демократы, из каждых 100 марок возросшего дохода холостяка у него оставалось 58 марок, в 1985 г. только 35 марок. Остальная часть изымалась в бюджет в виде налогов и выплат по социальному страхованию. Размер налога на заработную плату вырос с 11 марок до 41 марки, взносов по соцстраху — с 11 до почти 18 марок. В 1970 г. в семье оставалось в среднем 67% валовой заработной платы, в 1980 г. — 56%. В 1965 г. государственный долг ФРГ составлял 80,7 млрд. зап.-герм. марок (17,6% ВВП), в 1982 г. — 582 млрд. (35,8% ВВП).

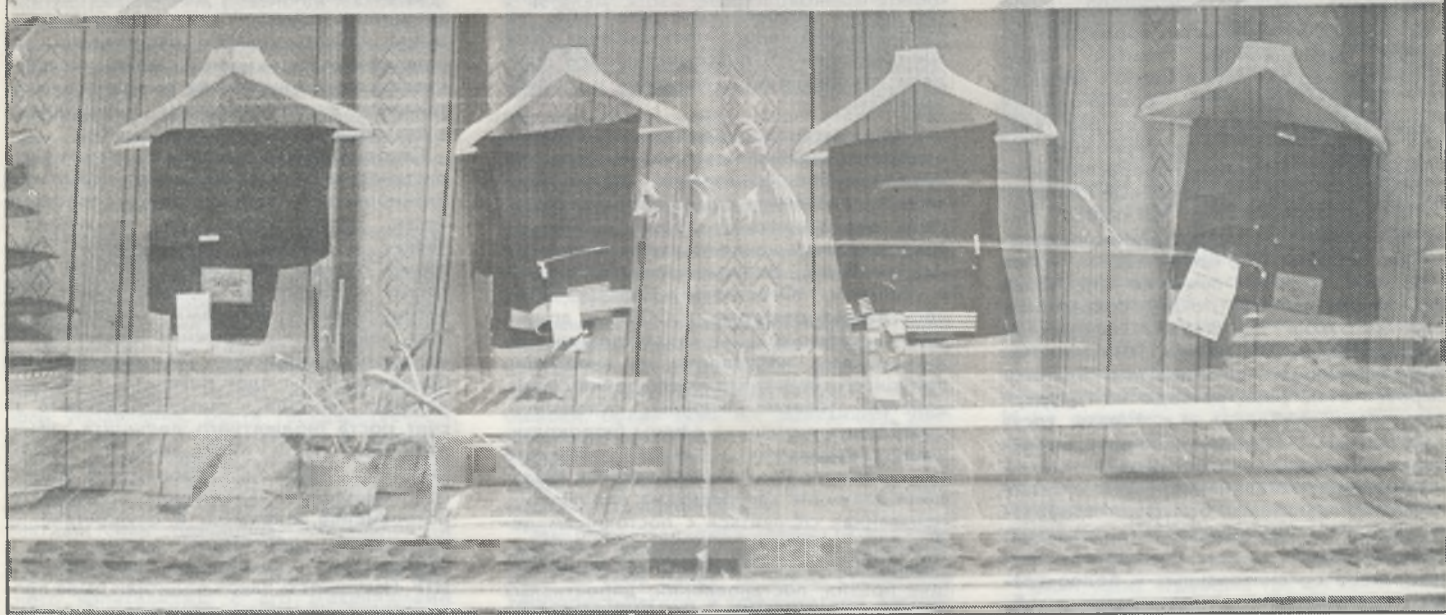
Политический кризис в Бонне разразился в 1982 г. из-за разногласий по бюджету и социальным расходам. Либералы (СвДП) решительно выступили против дальнейшего увеличения государственного долга и повышения налогов. За 13 лет социал-демократического правления размер налогов и взносов вырос в 3,2 раза (по отношению к 1969 г.), составив в 1982 г. 40,5% ВВП. Размер взносов на социальное обеспечение вырос в 4,4 раза: с 10,6% ВВП до 16,8%. За годы социал-демократического правления государственные поступления выросли в 3,4 раза, их доля в ВВП увеличилась на 11 процентных пунктов, размер перераспределяемых средств достиг половины ВВП. В этом, возможно, не было бы ничего дурного, если бы не следующие обстоятельства: при практически одинаковом росте номинальной заработной платы (8% в год)

UZ NOMAKSU

PLAŠA
SORTMENTA
BĪKSES NO DŽINSA
UN VELVETA AUDUMIEM

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ БРЮКИ
ИМПОРТНЫЕ ИЗ ДЖИНСОВОЙ
И ВЕЛЬВЕТОВОЙ
ТКАНИ

В КРЕДИТ



в период с 1950 до 1969 гг. реальная заработная плата росла в среднем на 5,5% в год, а в период с 1969 по 1982 гг. — только на 2,9%. Несмотря на активную политику стимулирования экономического роста, которую осуществляли социал-демократы, в период их правления темпы экономического роста были заметно ниже — 2,6%, в отличие от 9,4% в 1950—1955 гг., 6,6% в 1955—1960 гг. и 5,7% — в 1960—1966 гг.

Поскольку темпы экономического роста были почти в 2 раза ниже того, что планировалось в партийных прогнозах, на основании которых составлялись программы социальных реформ, а выполнение партийных обязательств требовало финансовых средств, правительство проводило активную инфляционную политику, наращивая размер денежной массы в обращении, широко пользуясь инфляционными кредитами, повышая размер государственной задолженности, и одновременно активизировало механизм перераспределения средств через трансфертные платежи.

На макроуровне это выглядело так: в 1967 г. размер государственного потребления составлял 14% ВВП, в 1981 г. — уже 20%, то есть вырос почти на 41%. Доля инвестиций, наоборот, с 24% сократилась до 21%, т. е. на 12%. В 1967 г. государство распорядилось 50% ВВП, в 1981 г. — 58%. Государственные трансфертные платежи выросли в 4,2 раза, расходы на государственное потребление — в 4 раза, государственные инвестиции в 2,8 раза, а государственный долг — в 7,4 раза.

Удовлетворение (недовольства) одних групп, проявлявших большую требовательность и настойчивость притязаний, осуществлялось за счет (интересов) других, менее организованных и более слабых. Теневым было и постепенное ослабление инвестиционной базы накоплений, необходимых для финансирования технологической перестройки, и инфляционность осуществлявшихся программ «полной занятости», создающих искусственные, бумажные, либо кредитные рабочие места, исчезающие сразу же после прекращения субсидирования. Негативной стороной оказалось и обусловленное денежной, социальной и налоговой политикой разрастание черных рынков занятости и целых анклавов теневой экономики, разрушение стимулов к накоплению, промышленному инвестированию, бегству от налогов. Инфляция, измерявшаяся в отдельные годы двузначными цифрами, списанная на неумелость профсоюзов и чрезмерные аппетиты предпринимателей, в действительности же создавалась широкой практикой дефицитного финансирования, не обеспеченными сбережениями кредитами и печатным станком, к услугам которого широко прибегали для финансирования социальных реформ, очень популярных, но и очень обременительных. Газеты писали, что из «локомотива», «экономического гиганта» Западная Германия превращается в «карлика», она теряет конкурентоспособность на внешнем рынке, значительно отстает от США и Японии по темпам структурной перестройки, ее отставание становится все очевидней, а разрыв все больше.

Если посмотреть на послевоенную экономическую историю капиталистического и социалистического мира под углом зрения пути их развития, обнаруживается следующая закономерность. Капиталистический мир, захваченный идеей соревнования с социализмом, неуклонно двигался в его сторону, что находило отражение

в стремлениях достичь постулируемых социалистической теорией достоинств — бескризисного и ускоренного экономического роста, полной занятости, социальных гарантий и стабильности, равенства в распределении доходов и неуклонного роста заработной платы. Эти показатели составляли основу правительственных отчетов и предвыборных манифестов, были объектом прогнозов и оценок, по ним проводились опросы общественного мнения и оценивалась дееспособность того или иного правительства. Практически ни одна из стран развитого капитализма не избежала экспериментов с планированием, балансовый метод В. Леонтьева долгое время занимал умы политиков, попытки индикативного планирования были многочисленны и повсеместны. Все жаждало стабильности, гармонии и полной занятости.

В социалистических странах все попытки оздоровления были связаны со стремлением ослабить изначально конституированные плановые и административные основы экономической жизни и привить экономике хоть какие-то элементы рыночной свободы. Экономические реформы в Венгрии, Югославии, Польше, КНР, косыгинская реформа в СССР и другие многочисленные акты хозяйственной политики были направлены на внедрение принципов хозрасчета, расширение сферы действия товарно-рыночных отношений, ослабление и сужение сферы бюрократического управления и административного планирования. Венгерская реформа 1968 г. была задумана как реформа управления, призванная справиться с постоянным дефицитом и бюрократизацией экономической жизни с ее системой всепроникающих правил, постановлений, директивных указаний и противоречащих один другому законов. Идея реформы заключалась в осуществлении дерегулирования — передачи контроля над экономикой из рук административного аппарата саморегулирующемуся рыночному механизму.

На этом «встречном движении» к смешанной экономике капиталистический мир, по мере расширения государственного регулирования, заболел «социалистическими» болезнями — бюрократизацией управления, чрезмерной зарегулированностью экономической жизни, ростом «теневой» (нелегальной) экономики, перекосами в структуре относительных цен, связанными с государственными программами поддержания убыточных предприятий и программами полной занятости, экспериментами с замораживанием цен и заработной платы. Со своей стороны социалистические страны заражались «капиталистическими» болезнями — безработицей, открытой инфляцией, банкротствами и кризисами, растущей дифференциацией доходов и социальной нестабильностью, при том, что ни те, ни другие своих насущных проблем не решили. Капиталистический мир не избавился от кризисов, не достиг полной занятости, не добился равенства в распределении доходов, но, посеяв идею бескризисного ускоренного роста, «пожал» высоченную инфляцию и спровоцированную ею безработицу. Социалистические страны в целом не решили ни продовольственной проблемы, ни проблемы дефицита и неэффективности.

В 80-е годы направление движения в капиталистическом мире резко изменилось. Осознание ошибок, заложенных в господствовавшей в 60—70-е годы кейнсианской

модели регулирования, определявшей направление социально-экономической политики практически всех стран и столкновения с проблемами возросшей за эти годы бюрократизации, корпоративизации, регламентации, сверхконцентрации, привело к смене парадигмы регулирования: на смену этатизму пришел монетаризм с его основными составляющими — фридмановской денежной политикой, теорией «рациональных ожиданий», «экономикой предложения», новой социальной доктриной, связанной с именем видного либерального ученого, лауреата Нобелевской премии Ф. Хайека.

Дерегулирование, дебюрократизация, денационализация — три основных момента консервативного наступления, составляющие суть нового экономического курса: возврат к идеалам рыночного капитализма, к классическому либерализму в его политэкономическом смысле.

Сегодня можно утверждать, что капиталистический мир отказался от принципов планирования и национализации собственности, составлявших суть коммунистических и социал-демократических программ, от идеи достижения «полной занятости» посредством стимулирующих правительственных программ, консервирующих занятость в прежних масштабах и создающих кредитные («бумажные») рабочие места, от идеи равенства в распределении доходов и стимулированного за счет роста бюджетного дефицита экономического роста, порождающего инфляцию, и взял курс на оздоровление финансов, наведение дисциплины в бюджете, искоренение инфляции и осуществление структурной перестройки экономики в соответствии с новейшими достижениями НТР. Насущность такой политики была продиктована падением относительной конкурентоспособности продукции «традиционных» отраслей, до недавнего времени составлявшей основу экспорта в страны третьего мира.

Следует отдавать себе отчет в том, что утрата в 80-е годы политической власти социал-демократией, являвшейся активным проводником идей «смешанного пути», произошла не столько под мощным давлением и нажимом со стороны консервативных партий, сколько в результате внутренних причин — раскола самого социал-демократического движения, ослабления, утраты доверия большинства избирателей и резкого ухудшения экономического положения стран Западной Европы, значительного отставания их от США и Японии.

Во имя высоких и гуманных целей социал-демократические правительства начали разрушать сам механизм рыночной экономики: замораживали цены и заработную плату, предотвращали увольнения из убыточных производств, создавали новые рабочие места в государственном (непромышленном) секторе, отказались от принципа жесткой финансовой дисциплины и бюджетных ограничений, требующих пользоваться только обеспеченными сбережениями кредитами и инвестировать сбереженное, и осуществляли социальные реформы за счет роста налогового пресса и инфляционной политики, путем перераспределения средств от «богатых к бедным». Сокращение инвестиционной активности, размывание капиталов, возросшие размеры государственной задолженности, инфляция, выросшие налоги и взносы в систему социального обеспечения с доходов всех граждан, необходимые для осуществления программ социальных ре-

форм и др., сказались в падении конкурентоспособности западноевропейской промышленности, отставании от США и Японии по темпам структурной перестройки, по степени освоения новых технологий и перехода к новому этапу НТР.

Это заставляет задуматься об исходных посылах доктрины «третьего мирного пути» на основе принципов «смешанной экономики», лежавших в основе проводимого курса, и попытаться ответить на вопрос — почему общественное мнение столь резко развернулось в пользу консерваторов, известных своими антисоциалистическими установками? Почему лозунг «свобода вместо социализма» оказался предпочтительней социал-демократического стремления к равенству и справедливости? Почему М. Тэтчер и Р. Рейган стали самыми популярными руководителями послевоенных десятилетий? Почему М. Фридман и Ф. Хайек, чьи фигуры считались одиозными в их упорном стремлении к экономическому либерализму, стали самыми популярными экономистами, консультирующими правительства США и Великобритании?

Может быть потому, что путь компромисса, смешанных принципов и размытых идеологических установок с какого-то момента утратил свою историческую перспективу и поставил капиталистический мир перед выбором — в какую сторону он будет двигаться дальше: в сторону социализма (планового начала, административного управления, роста государственной собственности и общественных фондов потребления, национализации средств производства и сужения сферы рыночных отношений), упрощая и укрепляя коллективистские принципы социальной и экономической жизни, либо в сторону упрочения рыночного предпринимательского капитализма, с его механизмами банкротств, кризисов, выталкивания избыточного труда и ресурсов и перераспределения их в новые сферы занятости, возникающие по мере освоения достижений НТР и ведущие в целом к росту экономического и социального благосостояния?

Тупик, в который попало сегодня социал-демократическое движение Западной Европы, переживающее глубокий идейный, духовный и внутривнутриполитический кризис, связанный с утратой перспективы развития, заставивший их уйти с политической арены и уступить место консервативным партиям, и характеризует суть поставленной здесь проблемы о перспективах движения в сторону «большого социализма» и возможностях «смешанного» пути, «смешанной» экономики и «смешанных» идеологических принципов.

Зачем, удивленно вскинет брови Отто Лацис, я так назойливо-назидательно веду речь о пагубности социал-демократического эклектизма? Какое все это имеет отношение к нам сегодняшним, плывущим в сторону «большого социализма»?

Мы делаем первые шаги к «смешанной экономике», отработываем модель рыночного социализма, сочетающего директивное планирование с элементами рыночных отношений. И хотя пока еще комиссии по ценообразованию заседают в закрытых кабинетах, а материалы дискуссии публикуются под рубрикой «плановое ценообразование», нам все же предстоит длительный и нелегкий процесс перехода к рыночной экономике.

Наше сегодняшнее перечитывание классиков в целях обоснования с их помощью нового «кооперативного социализма» и

освобождения от давящего экономического и социальную жизнь общества догматизма очень напоминает ситуацию начала века, когда Э. Бернштейн поставил перед социалистическим движением вопрос о необходимости мирного, постепенного, реформистского пути. Думается, что в ближайшие годы широко развернется глобальный процесс осмысления всех философских и этических основ общественной жизни. Хотелось бы, чтобы ревизия всего прошлого опыта исторического развития не затянулась на десятилетия. Развитый Запад демонстрирует нам возможную модель развития, модель, которая уже доказала свою жизнеспособность.

Следует ли нам сегодня возвращаться к истокам эпохи революционных преобразований с тем, чтобы заново перечитать К. Маркса и В. И. Ленина и обосновать ими идею эволюционного пути и перестройки, или, быть может, можно довериться уже проделанной в начале века аналогичной работе и попытаться осмыслить уроки «третьего пути», уже накопленный историей опыт социал-демократического движения этим курсом, подвести итог, определить результат, проанализировать перспективы «смешанной экономики» в деле роста благосостояния и социально-экономического развития?

Реальная альтернатива, которая сегодня перед нами стоит, — пойдём ли мы тем же путем, по которому пошла западноевропейская социал-демократия, делая те же ошибки, боля те же болезни, упираясь лбом в те же неразрешимые проблемы, либо мы сумеем сделать прыжок, сведя к минимуму издержки и минуя «промежуточные» стадии.

Мы очень радуемся гласности и постепенно, по крупицам, шаг за шагом «изжижаем из себя раба», отторгая сталинское террористическое и бржевневское застойное прошлое. Но давайте задумаемся. Смогла бы Германия, разрушенная, поверженная, расколота, морально опустошенная, за одно десятилетие превратиться в «локомотив Европы», если бы она не пошла на сокрушительный разрыв с идеологией, политикой и системой тоталитарной власти, не сменила бы правительства, а стала бы шаг за шагом, медленно и по крупицам отторгать «неоправдавшие» и «скомпрометировавшие» себя элементы авторитарной идеологии? Как известно, рак с метастазами уговорами не победить.

Экономическое чудо ФРГ было обеспечено решительной и радикальной сменой идеологии и политики и конституированием экономического либерализма в чрезвычайные сроки. (Уже в 1948 г. идеология «свободного рыночного хозяйства» стала партийной и правительственной платформой страны.)

С другой стороны. Достигла бы Япония таких экономических результатов, если бы она пошла по стопам развитых капиталистических стран, пренебрегая накопленным ими опытом? Сумели бы Тайвань, Сингапур, Южная Корея так вырваться вперед и не только обогнать страны социалистического лагеря, но и потеснить своих «рыночных учителей» с мирового рынка, если бы они проделывали весь этот путь в той же последовательности, с теми же ошибками, просчетами, потерями и издержками? Ведь существует же исторический опыт, мудрость, знание, наконец. Их выигрывают и их успехи в первую очередь связаны с тем, что эти страны сумели к своей выгоде воспользоваться экспортом капитала, свободным перели-

вом технологий, открытым рынком торговли современным оборудованием и техникой, использовать новейшие достижения научной, теоретической и практической жизни и избежать многого из того, что пришлось преодолевать первопроходцам.

За четыре с половиной десятилетия послевоенной истории в списке стран, испытывавших на себе экономическое чудо и вырвавшихся на мировые рынки в роли производителей самой передовой техники и технологии, нет ни одной из стран социалистического лагеря — лагеря национализированной собственности и планируемой экономики. Случайно ли это? Можно ли объяснить постоянную насущность продовольственной, жилищной, транспортной и др. проблем в странах социализма «внешними» причинами — стремлением империализма задушить ростки нового и прогрессивного социального строя, — либо причины экономического отставания заложены в самой системе социалистического хозяйствования, в принципах административного управления и централизованного планирования?

Спору нет, осуществлять мобилизационную и конфискационную политику, организовывать «великие стройки пятилетки» и строить пирамиды лучше в условиях полной централизации и государственного монополизма. Однако, как показала практика, масштабность такой политики не решает проблемы роста благосостояния. И не случайно то, что практически все страны социалистического лагеря периодически делают попытки свернуть с «праведного пути» централизованного администрирования и попытаться возродить рыночные институты собственности и власти.

Опыт таких «грехов», так же как и опыт «постепенной» реформы в Венгрии, Югославии, КНР, у нас уже есть. Реформы, рассчитанные на 20 или на 50 лет, буксуют. Основная проблема, с которой сталкиваются все без исключения страны социалистического лагеря, пытаясь продвинуться в сторону рыночных отношений, состоит в том, что они, не вылечиваясь от собственных болезней плановой централизации, заболевают заморскими и несут на себе груз издержек, порождаемых обеими системами хозяйствования.

При обращении к экономической реальности 70—80-х годов однозначно проследывается тот факт, что на передовые рубежи вырываются те страны, которые оказались в авангарде массового внедрения новейших достижений научно-технического прогресса. Тот скачок, который совершила на наших глазах Япония, тот разрыв, который возник между США и Западной Европой, и то отставание ряда стран Западной Европы, которое мы наблюдаем сегодня, — самым прямым и непосредственным образом связаны с темпами технологической перестройки: в выигрыше оказываются те страны, которые стоят в авангарде, а в проигрыше — те, которые не спешат с обновлением и модернизацией своей промышленной структуры и переходом на новые виды технологий, выпуск новых видов промышленных товаров. Сегодня надо «очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте»: простое замедление бега — отставание, катастрофа.

В связи с этим я хочу еще раз подчеркнуть: совместить так называемые социалистические завоевания (систему централизованного планирования во главе с

Госпланом, Госкомцом, Госкомтрудом, государственную монособственность, ведомственную систему власти и др.) с институтами и принципами рыночной системы (свободное ценообразование, свободный рынок труда и капитала, рынок ценных бумаг и т. д.) не сумеет ни одно, самое мудрое и целенаправленное правительство. Цена не может быть «немножко планируемой», рассчитанной и установленной сверху, и «немножко рыночной», устанавливаемой в процессе взаимодействия спроса и предложения.

При этом не надо путать божий дар с яичницей. Конечно же, любая капиталистическая фирма планирует свою коммерческую деятельность, заранее определяя и затраты и ожидаемую прибыль, на основании чего принимает решения об инвестировании или свертывании своей деятельности. Любое правительство не только планирует, но и законодательно оформляет свой бюджет, структуру его распределения и действует затем в соответствии с утвержденным конгрессом планом. Участвует оно и в частных, смешанных и собственно государственных исследовательских долгосрочных проектах научно-технического развития, осуществляет прогнозирование научно-технического прогресса, финансирует те или иные «вековые» проекты или структурные программы. Но какое все это отношение имеет к нашей основополагающей идее планирования всей экономической жизни, ее хода, развития, движения?

И «чистого» рынка с ничем не стесненной конкуренцией и полной экономической свободой так же нет, как нет в природе абсолютно чистого вещества. Всякий рынок стеснен государственным участием, иногда удачным, иногда обременительным, а иногда и просто разрушительным (как, например, попытки в 70-е годы в США и странах Западной Европы «замораживать» цены). И каждое демократическое государство через кредитно-денежный механизм оказывает давление, то стимулирует, то охлаждает экономический рост, и стремится заполучить больше налоговых средств, чтобы затем социально ими распорядиться. Но какое все это отношение имеет к прямой конфискационной политике нашего государства, которое все изымает в «общий котел», а затем «бесплатно» благодетельствует? Есть принципиальное отличие между Планом-Законом, устанавливаемым наверху, и собственным коммерческим планом производства и развития. Точно так же как есть качественное различие между нашим прямым политическим управлением экономикой и принципиально либеральной политикой косвенного регулирования через механизм кредитно-денежной и налоговой политики, собственно той политикой, которую во всех учебниках по экономике называют экономической.

В строго научной постановке вопроса планируемая социалистическая экономика может рассматриваться как частный случай рыночной экономики — с особым монополизированным рынком, с особой жесткой «социалистической» конкуренцией за лимиты, заказы, фонды, государственные дотации и льготы и «социальной ответственностью» коллективов за значки, медали и знамена, с неразвитыми институтами товарно-денежного обмена и особой системой ценообразования (установленными наверху «замороженными» ценами).

И в этом плане прав академик Л. Абал-

кин, который пишет о рынке при социализме. У нас всегда был свой «специфический социалистический рынок». (Иначе мы бы просто назывались натуральным хозяйством — «кафтан на сюртку».) И прав Лев Тимофеев, заявляющий, что у нас есть черный рынок. Есть. И тот и другой. И базары, и ярмарки, и Черемушкинский рынок есть. Но какое все это отношение имеет к рынку в его экономическом смысле? Рынок — это механизм свободного ценообразования. Здесь начало и конец рынка. Либо цены колеблются в зависимости от изменения спроса и предложения и ничто не мешает появлению новых видов производств и новых товаров, никто не стоит на пути свободного перемещения труда и капитала, никто не препятствует появлению новых промышленников и коммерсантов, либо всего этого нет. В Англии — есть, там рынок. В СССР — нет, здесь — «его величество План Союзovich».

В связи с этим мне представляется адекватным утверждение тех экономистов, которые разделяют рыночно-либеральный капитализм (в классическом веберовском понимании капитализма как общества свободной конкуренции и частного предпринимательства) и тотально-монопольный социализм (в классическом марксовом понимании социализма как общества национализированной собственности и отсутствия частного предпринимательства, как системы, управляемой из единого центра и осуществляющей государственное планирование всего хозяйственного процесса. Общества со все более суживающейся сферой товарно-денежных отношений, которые в идеале должны будут отмереть в процессе социального развития).

И под этим углом зрения можно говорить об исключительности, особенностях и специфичности социалистической экономической системы, **конструированной** в соответствии с заранее задуманным идеалом. (Другое дело, что порочным оказался сам идеал. Порочным потому, что уничтожение товарно-денежных отношений и рынка с его институтом конкуренции означало уничтожение кровеносной системы экономической жизни, которое в конечном счете остановило сердце — собственно, мотор развития.)

Понятно, что эта система уступает рыночной в эффективности, чудовищно дорога в эксплуатации (содержание огромного штата планировщиков, нормировщиков, учетчиков и расчетчиков, выполняющих те функции, которые рынок осуществляет точно, автоматически и бесплатно) и еще ни разу не доказала свою способность верно установить пропорции, принять сбалансированный план и добиться его осуществления. Ни разу за всю нашу историю!

Сейчас все это уже осознано и довольно подробно описано в нашей публицистике.

Опыт всех социалистических стран, экспериментировавших с попытками планирования экономики, подтвердил вывод о принципиальной невозможности запланировать экономическую жизнь, постичь тайную мудрость этого живого и развивающегося организма, о технической невозможности рассчитать все затраты и соотношения их с результатами по всем точкам экономической системы в силу отсутствия самой единицы измерения, в которой можно было бы осуществить такой расчет.

Надо сказать, что над этой задачей бились очень крупные и грамотные экономисты (В. В. Новожилов, Немчинов и др.), но результаты оказались отрицательными — построить рассчитанный аналог

рынка, найти замену системе рыночного ценообразования, открыть новые стимулы, заменяющие собой конкуренцию, им не удалось.

В науке отрицательный результат — это тоже результат. В науке существует понятие «тупиковое направление», и осознание тупика ведет к отказу от экспериментирования и поиску иных решений.

Марксистские политэкономы ведут себя иным образом. Называя экономическую теорию «буржуазной лженаукой», они отвергают саму науку. Сегодня они заняты поиском возможности сочетать план и рынок, ввести элементы рыночной системы в систему административную и, не меняя институтов собственности и власти, привить экономике «рыночность». Вживить в планируемый организм стимулятор — сердце и заставить его планомерно и управляемо биться.

У социализма — большое будущее, пишет Отто Лацис. Надо только очистить его от сталинского догматизма и уголовщины и решительно брать курс в сторону нового, ленинского, хозрасчетного, кооперативного, рыночного социализма с «благородной» конкуренцией.

Нет, возражаю я Отто Лацису. У «смешанной экономики» с элементами рыночной системы, вводящей частную собственность как «нарост» и «нашлепку» к собственности государственной, пытающейся ввести рынок оптовой торговли на базе планово-расчетных цен, будущего нет. Все эти элементы рыночной системы, которые с таким трудом пытаются привить к нашему большому государственному дереву, будут с неизбежностью отмирать до тех пор, пока новый правовой механизм, новые институты собственности и власти не заменят ныне действующие.

До тех пор, пока мы до конца не осознаем это, паллиативы и микромеры будут сотрясать нашу экономическую жизнь, внося в нее хаос и беспорядок. Такова политическая реальность. Реальность выбора, от которого нам теперь уже не уйти. Ибо это именно тот самый исторический случай, когда «третьего не дано». Либо мы отдаем людям землю, собственность, доход и полное право им распоряжаться, либо «спускаем собак» на не защищенных ни с какой стороны кооператоров, открытых для грабежа и разбоя и со стороны рэкеты, и со стороны администрации, и со стороны разъяренной толпы, которая, обезумев от отсутствия продовольствия по дешевым государственным ценам, пойдет громить «квотососов-спекулянтов». Такое история знает.

Василий Леонтьев предлагает сочетать лучшее из двух миров: рыночного и планируемого, США и СССР. Замечательная по замыслу цель. Одна беда: лучшее в СССР — это марксизм-ленинизм и закон планомерного и пропорционального развития, а в США — их рыночная система со своими «преодоленными» у нас институтами собственности и власти и нобелевскими лауреатами по экономике. И «объединять» лучшее нам все же предстоит не совершенствованием работы Госплана, балансового метода, моделирования экономического процесса и математических методов расчета новых цен, а внедрением рыночных отношений и переходом к экономическим методам управления, действующим только в условиях свободного ценообразования. И здесь нам ну никак не обойтись без «их» рыночников.

Ни Маркс, ни Ленин, ни Бухарин, ни Троцкий ничего не знали о нашем сегодня. Ни об НТР, которая на глазах обесценивает

все наши завоевания времен индустриализации, ни об «экономических чудесах», периодически возникающих в рыночной экономике, ни о космических полетах и открывающихся здесь новых перспективах развития. Может быть, хватит нам смаковать старое и «высасывать» из старых корней новые истины? Может, хватит «забалтывать» правильные экономические слова во имя консервации умирающей идеологии, может, хватит «диалектической схоластики», навязшей у всех в зубах и горле? Хватит раскачивать ситуацию в обе стороны одновременно, не забываясь о возможных последствиях.

Ведь действительно может произойти непоправимое. Нельзя более оттягивать решения в никуда. Для одной маленькой республики танков хватало. Хватит ли для всех остальных?

Был задан прекрасный старт, сказаны правильные слова, но не продумали дистанцию и не определили конечную цель. Отсюда и последовала тактика «малых шагов» сразу в двух направлениях, и звучали призывы и угрозы — работать лучше, с энтузиазмом и верой в то, что «стратегия Ивана Сусанина» приведет нас к нужной цели. А какова цель? Что стоит за словами «больше социализма»? Больше централизма или денационализации? Планирования или свободного ценообразования? Или уже настало время «аборта», чтобы, несколько оправившись и осмотревшись по сторонам, начать новую экономическую реформу — еще на одну голову выше нынешней? Так, может быть, уже время бить в набат?

Сейчас главной антиперестроечной силой выступают не те «правые», которые не дают осуществлять задуманное и «тянут назад», и не те «левые», которые «толкают под руки», резко вытягивая вперед. На пути демократизации и оздоровления общества стоит политика ложного компромисса, которую проводит сегодня правительство. Центристская линия, умеренность и компромиссность, тактика «малых шагов» и постепенность преобразований могут заработать во благо только тогда, когда будут четко определены цели, когда гласность перерастет в подлинную свободу слова и будет сказана вся правда, когда будут предприняты реальные законодательные шаги, которые сделают процесс необратимым. Слишком печален опыт наших предшественников. Слишком мала надежда на то, что правительство действительно намерено изменить ситуацию в стране и сделать решительный шаг от тоталитаризма, централизма и пролетарской диктатуры в сторону правового демократического государства, дающего каждому право на свободу и самостоятельность.

Политический императив «от наших социалистических завоеваний мы не откажемся» оказался настолько мощным тормозом перестройки, так и не сумевшей пробиться через дебри идеологического догматизма, что практически уже начал сводить на нет волю к преобразованиям. Допущенная «сверху» гласность, предоставившая право критиковать прошлое и списывать ошибки на «сталинско-брежневский период», не сыграла пока своей роли — не переступила ту черту, за которой начинается оздоровительный диалог правительства с обществом.

Экономическая ситуация начала 1989 г. вовсе не равна той, в которой начиналась экономическая реформа. Она резко ухудшилась. Кризис и экономический, и политический, и социальный (национальный)

подступает к нам, угрожая нарастающими массовыми беспорядками. И три года назад мы как минимум на 60 лет запоздали с перестройкой. Но теперь угроза кризиса нарастает в геометрической прогрессии: перед глазами замаячил инфляционный шок, которому под силу смести любое правительство. Достаточно вспомнить Великую депрессию 30-х годов и те последствия, которые она принесла на европейский континент. Расшатывая общественное мнение, разжигая страсти, допуская полугласность, но не предпринимая одновременно твердых законодательных инициатив в сторону демократизации жизни и правового государства, правительство ставит под удар всех тех, кто поверил в серьезность его намерений. Не обеспечив кооператорам ни условий нормальной коммерческой деятельности, ни правовой охраны от посягательств со стороны как партийной, так и чисто уголовной мафии, их фактически выставили на всеобщее осуждение как «спекулянтов» и «взяточдателей». Естественно, что, не чувствуя поддержки и оказавшись практически в безвыходной ситуации, они вынуждены теперь свертывать свою деятельность. При этом не надо думать, что все это свалилось к нам с неба, родилось уже в процессе перестройки. Ученые с самого начала ставили вопрос и о праве собственности, и о льготном налоговом законодательстве (по крайней мере на первые 5 лет, пока сформируется и развернется индивидуальная и кооперативная деятельность), и об отстранении партийной и советской администрации от принятия решений в этой сфере, и о необходимости обеспечения сырьевой, транспортной базы, об условиях кредитования и аренды помещений, то есть всего комплекса проблем, с которыми должен был столкнуться каждый, кто решил стать кооператором или индивидуалом. И что же?

Либо председатель Совета академик Аганбегян не донес до сведения ЦК КПСС мнение ученых, либо этим мнением просто пренебрегли. Уверена, что пренебрегли. Ибо в традиционное для сталинской эпохи представление о добром Иосифе и злом окружении сегодня поверить трудно. На XI съезде РКП(б), на котором речь шла о переходе к нэпу, В. И. Ленин говорил следующее: «За этот год мы доказали с полной ясностью, что хозяйничать мы не умеем. Либо в ближайший год мы докажем обратное, либо Советская власть существовать не может».

Сталин опроверг ленинский прогноз. Он доказал, что Советская власть может существовать не умея хозяйничать, что у страны есть огромные людские и природные ресурсы, которые можно пустить в расход. Уничтожив 55 млн. человек и переведя страну на режим лагерного труда, он решил продовольственную проблему. «При Сталине все было». Именно это говорят сегодня все те, кто не желает поступиться принципами.

За 70 лет своего существования хозяйствовать мы так и не научились. Экономика наша не живет по экономическим законам. Система планирования существует не как работающий инструмент, помогающий предугадать конъюнктуру, а как оплот и инструмент власти и силы.

Силы тех, кто еще так недавно получали ордена и медали за доблестную службу в Архипелаге и не могут теперь поступиться принципами. Ибо они твердо знают, что у нас вырос новый людской резерв для жертвоприношений; что бездействуют лагеря политзаключенных и скопились

большие запасы неиспользованной колючей проволоки. А на повестке дня замаячил «самый большой вопрос о голодной смерти, о куске хлеба».

Пока не поздно. Пока еще есть надежда. Пока еще летальный исход не достиг точки необратимости и возможна реанимация. Пока еще лопнул как мыльный пузырь наш заграничный перестроечный успех, обнажив перед изумленным миром расколотую, деморализованную, полуголодную, готовую на любой политический авантюризм систему... Мы должны, обязаны предотвратить катастрофу, не допустить новой гражданской войны, нового развала и кровопролития. Мы должны вернуть людям отнятое — землю, собственность, право на свободный труд, свободную инициативу и предпринимательство. Экономический либерализм — это единственная возможная, достойная и реальная альтернатива проводимому сейчас двойственному, смешанному и псевдокомпромиссному курсу. Псевдо потому, что он с неминуемой вероятностью сожрет все славные начинания, оставив после себя новый Архипелаг.

Сегодня нам разрезали новое, вычеркнутое из нашей прежней жизни слово — **милосердие**. Будьте же милосердны, Господа Пролетарские Диктаторы. Посмотрите вокруг себя. Увидьте же вы, наконец, как живет наш народ в нашем светлом социалистическом сегодня. В грязи, в очередях, в ругани, в хамстве, в бюрократических коридорах, в почти что нищете и полной беззащитности против партийно-бюрократической и уголовной мафии. В нашей стране страшно много больным и престарелым. Волосы встают дыбом от нашей системы здравоохранения, социального обеспечения, заботы о больных и престарелых, заботы о детях и бедных. Еще шаг, и мы докатимся до уничтожения стариков во имя «светлого будущего наших детей». Еще шаг, и все дети начнут рождаться мутантами, уродами или просто мертвыми. Все пишут о переборске рек. Но ведь вы закладываете гормоны в пищу, подмешиваете отраву в колбасу, кормите нас ядовитой рыбой.

Я хочу еще, еще и еще раз повторить — Хозяйничать Вы не умеете. Та программа перестройки, которую выдвинул академик Аганбегян, то идеологическое обоснование, которое дает диалектик Абалкин, тот новый учебник политической экономии, который выпустил из-под своего пера и своей редакторы Медведев, то законодательство, которое приняла Ваши министерства, **не пригодны** для осуществления действительно **радикальной** реформы экономической жизни, реформы, способной вдохнуть импульс во вступающую в стадию агонии экономическую систему и дать стимулы разувверившемуся и морально деградировавшему за годы Советской власти народу.

У нас есть выход. И выход этот — в полной либерализации нашей экономической и социальной жизни, в бережном насаждении новых ростков и выращивании выкорчеванных в прошлом промышленников, фермеров, торговцев, банкиров, мелких и крупных ремесленников, всех тех, кто в совокупности и составил класс будущих управленцев и подлинных хозяев страны, умелых и заботливых. А идеологи? Им придется смириться с тем, что имуществом неравенство — не самое страшное зло в мире. Страшней, когда пусты прилавки и в очередях за колбасой начинают топтать людей. Это — первый признак грядущего вандализма.



БРУНО ШУЛЬЦ

КНИГА

I

Я называю ее просто Книгой, без всяких определений и эпитетов, и в этом отказе и ограничении — беспомощный вздох, молчаливая капитуляция перед необъятностью трансцендента; ведь ни слово, ни намек не в состоянии засиять, обдать запахом, пробежать дрожью испуга, предчувствием этой вещи без имени, один лишь привкус которой на кончике языка переходит границы нашего восторга. Что пафос прилагательных и высокопарность эпитетов рядом с этой вещью без меры, этим великолепием без счета. Читатель же, истинный читатель, на которого это повествование рассчитано, поймет и так, когда я загляну ему в глаза и загорюсь блеском в самой их глубине. В этом коротком и прямом взгляде, в мимолетном пожатии рук он подхватит, поймет, узнает — и зажмурит глаза от счастливого понимания. Разве под столом, разделяющим нас, все мы не держимся за руки?

Книга... Когда-то, в далеком детстве, на самом расвете жизни от ее мягкого света ясны горизонт. Она лежала, овеянная славой, на письменном столе отца, а он, тихо погруженный в нее, терпеливо тер послушавленным пальцем оборот переводных картинок, пока слепая бумага не начинала туманиться, мутнеть, просвечивать радостным предчувствием и вдруг слезала продолговатыми катышками, освобождая сине-зеленый переливающийся, лучистый край, и взгляд спускался, замирая, в девственный мир божественных красок, в чудесную влажность чистой лазури.

О снятие бельма, о вторжение света, о прекрасная весна, о мой отец...

Иногда отец отрывался от книги и уходил. Тогда я оставался наедине с ней, и ветер шел по ее листам, и вставали картины.

И пока ветер тихо листал эти страницы, выдувая цвета и фигуры, по колонкам текста пробегала дрожь, выпуская между букв стаи ласточек и жаворонков. Так улетала, рассыпаясь, страница за страницей и впитывалась в пейзаж, насыщая его красками. Иногда она спала, и ветер тихо перебирал ее, как махровую розу, и она открывала листы, лепесток за лепестком, веко за веком, слепые, бархатные

и сонные, скрывающие в глубине, на самом дне, лазурный зрачок, радужную сердцевину, поющее гнездо колибри.

Это было очень давно. Матери тогда еще не было. Я проводил дни вдвоем с отцом в нашей, тогда огромной как мир, комнате.

Маленькие хрустальные призмы, свисающие с лампы, наполняли комнату россыпью цветов, разбрызгивали по углам раду, и когда лампа поворачивалась на своих цепях, по всей комнате перемещались осколки радуги, как будто вращаясь двигались сферы семи планет. Я любил стоять между ног отца, обхватив их с двух сторон, как колонны. Иногда он писал письма. Я сидел на письменном столе и восхищенно рассматривал закорючки подписи, причудливые и замысловатые, как рулады колоратурного певца. Обои переливались, подмигивали, расцветали улыбками. Чтобы развлечь меня, отец пускал из длинной соломки в радужный воздух мыльные пузыри. Они ударялись о стены и лопались, оставляя в воздухе свои цветы.

Потом появилась мать, и эта ранняя светлая идиллия кончилась. Поддавшись ласкам матери, я забыл об отце, жизнь моя пошла новым, иным путем, без праздников и чудес, и, быть может, я никогда и не вспомнил бы о Книге, если бы не эта ночь и этот сон.

II

Как-то я проснулся хмурым зимним утром — под пластами темноты глубоко внизу горела тусклая заря — и, еще чувствуя под веками дрожание туманных фигур и знаков, начал непонятно и путано твердить, с печалью и напрасной обидой, о старой потерянной Книге.

Меня никто не мог понять, и раздраженный их тупостью, я все настойчивее приставал к родителям, нетерпеливо и горячо упрасывая их.

Босой, в одной рубашке, я перебрал, дрожа от возбуждения, книжный шкаф отца и в разочаровании, в гневном беспомощно пытался описать остоленелым слушателям эту неопишемую вещь, с которой не могло равняться ни одно слово, ни одно изображение, прочерченное моим

дрожащим вытянутым пальцем. Я исходил сбивчивыми и противоречивыми рассказами и плакал в бессильном отчаянии.

Они стояли надо мной, беспомощные и смущенные, стыдясь своего бессилия. В глубине души они ощущали себя виноватыми. Настойчивость, нетерпеливый и гневный тон моих просьб создавали видимость правоты. Родители прибегали и совали мне в руки разные книги, которые я с обидой отталкивал.

Одну из них, толстый и тяжелый фолиант, отец подсовывал мне снова и снова, несмело ободряя меня. Я открыл ее. Это была Библия. Я увидел на ее страницах великие переселения зверей, растекающиеся по дорогам, расходящиеся по далеким краям, увидел небо, все в стаях и шуме крыльев, огромную перевертнутую пирамиду, далекая вершина которой касалась Ковчега.

Я с укором посмотрел на отца.

— Ты ведь знаешь, отец, — воскликнул я, — ты хорошо знаешь, не пряться, не отказывайся! Эта книга тебя выдала. Что ты предлагаешь мне этот апокриф, слепую копию, бездарную фальшивку? Куда ты дел Книгу?

Отец отвел глаза.

III

Недели шли, мое возбуждение спало и улеглось, но образ Книги продолжал светлым огнем гореть в моей душе, огромный шелестящий Кодекс, взвихренная Библия, по страницам которой шел ветер, разглаживая ее, как огромную рассыпающуюся розу. Отец, видя, что я успокоился, как-то раз осторожно подошел и мягко сказал: «На самом деле существуют только книжки. Твоя Книга — миф, в который мы верим в молодости, а с годами перестаем относиться к ней серьезно». Тогда я уже был убежден в другом, знал, что Книга — это предназначение, это цель, ощущал на плечах тяжесть высокой миссии. Я ничего не ответил, застыл в презрении и мрачной гордости.

К тому времени я уже владел обрывком книги, жалкими остатками, по удивительной случайности попавшими мне в руки. Я заботливо прятал свое сокровище от чужих глаз, страдая из-за глубокого упадка книги, к истрепанным остаткам которой мне бы не удалось вызвать ни в ком сочувствия. Это произошло так.

Как-то раз зимой я вошел в комнату, когда Аделя убиралась. Держа щетку, она опиралась о стол, на котором лежали какие-то старые бумаги. Я перегнулся через ее плечо, не столько из любопытства, сколько для того, чтобы опять одурманить себя запахом ее тела, молодая прелесть которого недавно открылась моим проснувшимся чувствам.

— Посмотри, — сказала она, не оттолкнув меня, — разве бывает, чтобы волосы выросли до земли? Хотелось бы мне такие иметь.

Я посмотрел на гравюру. На странице большого формата было изображение женщины, довольно крепкой и приземистой, с лицом, говорившим об энергии и опыте. С головы дамы спадала огромная грива волос, тяжело рассыпалась по спине и концами толстых кос волочилась по земле. Это была какая-то невероятная игра природы, волнистый и пышный покров, сотканный из волос, и трудно было представить, что такая тяжесть не причиняет боли и не лишает подвижности обремененную ею голову. Но обладательница этого великолепия, казалось, несла его с гордостью, а текст, напечатанный рядом жирными буквами, излагал историю этого чуда и начинался словами: «У меня, Анны Чиллаг из Карловиц в Моравии, плохо росли волосы».

История была длинная, композицией напоминавшая историю Иова. Анне Чиллаг как кара свыше были посланы плохие волосы. Весь городок сочувствовал этому убожеству, которое прощали ей за праведную жизнь, хотя оно могло быть совсем незаслуженным. Но вот ее горячие молитвы были услышаны, с головы снято проклятье, Анна Чиллаг удостоилась милости. Ей были явлены знамения, и она приготовила средство, чудесное лекарство, вернувшее ей густоту волос. Волосы у нее стали расти, мало того, ее муж, братья, родственники тоже день ото дня покрывались густыми черными волосами. На следующей странице

была изображена Анна Чиллаг спустя шесть недель после откровения ей состава, в окружении своих братьев, родственников и свойственников, усатых, с бородами по пояс, и было удивительно видеть этот взрыв неподдельной, медвежьей мужественности. Анна Чиллаг ошастливила весь городок, на который снизошла истинная благодать в виде волнистых чубов и густых грив, жители которого мели землю бородами, широкими, как лопаты. Анна Чиллаг стала проповедницей волосатости. Облаготетельствовала родной город, она загорелась желанием облагодетельствовать весь мир, и просила, предлагала, умоляла принять этот божий дар, чудесное лекарство, тайна которого была известна ей одной.

Я прочел эту историю через плечо Адели, и вдруг меня поразила мысль, от которой я весь загорелся. Ведь это была Книга, ее последние страницы, ее приложение, задворки, где свалены рухлядь и хлам! Обрывки радуги закружились на обоях, я вырвал страницы из рук Адели и срывающимся голосом крикнул:

— Откуда у тебя эта книга?

— Дурачок, — ответила она, пожав плечами, — она все время лежит тут, и мы каждый день выдираем из нее страницы, заворачивать мясо из лавки и отцовские завтраки.

IV

Я убежал к себе в комнату. Возбужденный, с горящим лицом, я неверными руками листал страницы. Увы, их не набиралось и двадцати. Ни одного листа подлинного текста, только объявления. Сразу за пророчествами длинноволосой сивиллы следовала страница, посвященная чудодейственному лекарству от всех болезней и увечий. «Эльза» — жидкость с лебедем — назывался этот бальзам и творил чудеса. Страница была заполнена удостоверяющими отзывами, трогательными рассказами лиц, с которыми произошло чудо.

Из Трансильвании, из Славонии, с Буковины приходили исцелившиеся, полные воодушевления, чтобы горячо и взволнованно рассказать свои истории. Шли перевязанные и сторбленные, отбросив ставший ненужным костыль, сорвав примочки с глаз и повязки с шеи.

Сквозь эти странствия калек виднелись далекие печальные городишки под белым, как бумага, небом, застывшие от прозы и обыденности. Это были забытые в глубинах времени городки, где люди привязаны к своим маленьким судьбам и не могут от них оторваться. Сапожник был до мозга костей сапожником, пропахшим кожей, с худым изможденным лицом, близорукими глазами, выгоревшими подергивающимися усами и ощущал себя насквозь сапожником. И если у них не вскакивали чирьи, не ломило кости, не вспухал живот, они были счастливы бесцветным сереньким счастьем, курили дешевый табак, желтый табак императорских фабрик, или тупо мечтали около продавца лотерейных билетов.

Коты перебежали им дорогу то слева, то справа, снилась черная собака и чесалась ладонь. Иногда они писали письма по письмовникам, заботливо налепляли марку, с сомнением и недоверием опускали их в почтовый ящик, по которому стучали кулаком, как будто будили. И через сны их пролетали и исчезали в облаках белые голуби с конвертами в клювах.

Следующие страницы возносились над обыденными делами в сферу чистой поэзии.

Там были гармони, цитры и арфы, некогда инструменты ангельских хоров, сейчас, благодаря развитию промышленности, ставшие доступными по приемлемым ценам простому человеку, благотворным людям для укрепления сердец и дозволенного развлечения.

Там были шарманки, истинное чудо техники, полные скрытых внутри флейт, дудок и свистулков, гармошек, поющих сладко, как гнезда всхлипывающих соловьев, бесценное сокровище для инвалидов, источник прочного дохода для калек и необходимая принадлежность каждого музыкального дома. И шли изображения этих шарманок, красиво разрисованных, путешествующих на спинах невзрачных стариков, лица которых, изъеденные жизнью, были как бы затянuty паутиной и едва различимы, лица со слезящимися неподвижными глазами, которые медленно

вытекали, лица почти безжизненные, цветом и невинностью напоминающие кору деревьев, потрескавшуюся от непогоды, и пахнувшие, как она, лишь дождем и небом.

Они давно забыли, как их зовут и кто они, и так, затерянные в себе, двигались, подволакивая ноги, мелкими шажками, в огромных тяжелых ботинках по совершенно прямой и однообразной линии среди крутых и замысловатых путей встречных.

Белыми бессолнечными утрами, застывшими от холода, погруженными в обыденность, они незаметно появлялись из толпы, ставили шарманку на подставку на перекрестке, под лимонной полоской неба, пересеченной телеграфным проводом, среди людей, тупо спешащих, с поднятыми воротниками, и начинали мелодию, не с начала, а с момента, на котором остановились вчера, и играли: «Дейзи, Дейзи, дай мне ответ . . .», — а над печными трубами вставали белые фонтаны дыма. И странное дело — эта мелодия, едва начатая, тут же впрыгивала в свободное пространство, на свое место в этом пейзаже, как будто всегда была частью задумавшегося и затерянного в себе самом дня, и в такт ей бежали мысли и серые заботы прохожих.

И когда спустя какое-то время она кончалась протяжным визгом, исторгнутым из недр шарманки, которая начинала совсем другое, — мысли и заботы на мгновение останавливались, как в танце, чтобы сменить шаг, а потом не задумываясь начинали кружиться в противоположном направлении в такт новой мелодии, вылетающей из свистулек шарманки: «Маргарита, сокровище мое . . .»

И в тупом безразличии этого утра никто даже не замечал, что смысл мира изменился до основания, что он шел теперь не в такт «Дей-зи, Дей-зи . . .», а наоборот — «Мар-га-ри-та . . .»

Перевернем страницу . . . Что это? Каплет весенний дождь? Нет, это щебетанье птиц рассыпается, как серая дробь по зонтикам, потому что здесь предлагают настоящих канареек с Гарца, клетки, полные щеглов и скворцов, корзинки с крылатыми говорунами и певцами. Веретенообразные и легкие, как бы набитые ватой, судорожно подскакивающие, подвижные, словно на смазанных поскрипывающих шарнирах, чирикающие, как кукушки из часов, — они служили утешением в одиночестве, заменяли холостякам тепло семейного очага, добывали из самых черствых сердец благодать материнской нежности, столько в них было трогательно-пенцового, и даже когда их страницу переворачивали, вслед уходящему несло их дружное призывное щебетание.

Но чем дальше, тем заметнее становился упадок книги. Теперь она спускалась на зыбкую почву каких-то шарлатанских гаданий. Кто там, в плаще до полу, с улыбкой на лице, до половины заросшем черной бородой, предлагал свои услуги публиче? Господин Боско из Милана, в некотором роде магистр черной магии. Он говорил долго и неразборчиво, показывая что-то на кончиках пальцев, от чего дело не становилось понятнее. И хотя, по собственному мнению, он приходил к удивительным выводам, которые, казалось, некоторое время прикидывал на вес в своих чутких пальцах, прежде чем их смысл улетучивался в воздух, и хотя он вскидывал брови, как бы предупреждая о любых неожиданностях, следуя за ходом рассуждений, — его было не понять, больше того, и не хотелось, и его покидали, вместе с жестикуляцией, приглушенным голосом и набором темных улыбок, чтобы перелистать оставшиеся рассыпающиеся страницы.

На этих последних страницах, совершенно очевидно впадающих в бред, в явную бессмыслицу, некий джентльмен предлагал свой безотказный метод стать энергичным и твердым в решениях и много говорил о принципах и характере. Но достаточно было перевернуть страницу, чтобы оказаться совершенно сбитым с толку относительно принципов и твердости.

Там мелкими шажками появлялась в платье со шлейфом и глухим воротом некая Магда Ванг и заявляла, что мужская твердость и принципы ей смешны и что ее специальность — ломать самые сильные характеры. (Здесь она движением ноги поправляла шлейф.) Для этого существуют методы, сквозь зубы продолжала она, безотказные методы, о которых она не хочет распространяться здесь, отсылая к своим дневникам под названием «Багровые дни» (Издательство Института Антропософии в Будапеш-

те), в которых она излагает результаты своей покорительной деятельности в сфере дрессировки людей (это слово — с ударением и ироническим блеском глаз). И странно, эта дама, говорящая лениво и бесцеремонно, казалось, нисколько не сомневалась в одобрении тех, о ком она отзывалась так цинично, и сквозь некое кружение и мелькание ощущалось, что моральные нормы сдвинулись, что мы попали в иной климат, где стрелка компаса показывает наоборот.

Таково было последнее слово Книги, оставлявшее в душе вкус странного потрясения, смешанное чувство голода и возбуждения.

V

Склонившись над Книгой, с лицом, пылающим, как радуга, я переходил от экстаза к экстазу. Погруженный в чтение, я не вспомнил об обеде. Предчувствие не обмануло меня. Это был Подлинник, священный оригинал, хотя и в глубоком упадке и деградации. И когда поздно в сумерках я, счастливо улыбаясь, клал пожелтевшие бумаги в самый дальний ящик, пряча их под другими книжками, казалось, что я укладываю спать зарю, которая каждый раз загорается снова от самой себя и проходит через все оттенки пламени и пурпура, и все возвращается и не хочет гаснуть.

Как же безразличны стали мне все книги!

Ведь обычные книги подобны метеорам. У каждой из них есть свой миг, единственное мгновение, когда она с криком взлетает как феникс, пылая всеми страницами. За один этот миг, за это мгновение мы любим их потом, когда они уже превратились в пепел. И с горькой отрешенностью время от времени напрасно блуждаем по их остывшим страницам, перебирая с деревянным стуком, как четки, их мертвые формулы.

Толкователи Книги утверждают, что все книги стремятся к Подлиннику. Они живут лишь заимствованной жизнью, которая в момент взлета возвращается к своему старому источнику. Это означает, что число книг убывает, а Подлинник растет. Но не станем утомлять читателя изложением Теории. Хотелось бы только обратить внимание на одну вещь: Подлинник живет и растет. Что следует из этого? Когда мы в другой раз возьмем в руки старые страницы, кто знает, где окажется Анна Чиллаг и ее паства. Может быть, мы увидим ее, длинноволосую паломницу, в странствиях по дорогам Моравии, бредущую по далекому краю, через белесые городишки, погруженные в обыденность и прозу, раздавая пробы жидкости «Эльза» простодушным жителям, измученным чесоткой и золотухой. Ах, чем же тогда займутся почтенные бородачи городка, обреченные на неподвижность из-за огромных бород, что сделает община этих прихожан, вынужденных следить и ухаживать за своим изобилием? Кто знает, не накупят ли они все себе настоящих шварцвальдских шарманок и не пустятся ли в мир след за своей пророчицей, чтобы искать ее по всей стране, повсюду наигрывая «Дейзи, Дейзи»?

О одиссея бородачей, блуждающих с шарманками от города к городу в поисках своей духовной матери! Когда найдется тот, кто воспоет эту эпопею? На кого покинули они оставленный на их попечение городок, кому доверили заботу о душах в городе Анны Чиллаг? Разве нельзя было предвидеть, что, лишенный своей духовной элиты, своих прекрасных патриархов, город впадет в сомнения и отступничество и растворит свои ворота — кому? — ах, циничной и коварной Магде Ванг (Издательство Антропософского Института в Будапеште), которая откроет в нем школу дрессировки и ломки характеров?

Но вернемся к нашим пилигримам.

Кто не знает этой старой гвардии, этих странствующих кимвров, жгучих брюнетов с телами, на вид мощными, без крепости и соков? Вся их сила, вся мощь ушла в волосы. Антропологи давно ломают головы над этим редкостным видом, всегда одетым в черное, с толстыми серебряными цепями на животе, с тяжелыми медными перстнями на пальцах.

Мне нравятся они, эти Каспары либо Бальтазары, с глубокой серьезностью, их похоронная декоративность, эти великолепные образчики мужского пола с прекрасными глазами, напоминающими о жирном блеске жареного кофе, мне нравится это благородное отсутствие жизненности

в разросшихся губчатых телах, цвет угасающих родов, хрипловатое дыхание из мощной груди и даже запахи валерианы, который источают их бороды.

Подобно ангельским ликам, они иногда неожиданно появляются в дверях наших кухонь, огромные и сопящие, быстро устающие, — они вытирают со лба капли пота, вращая голубоватыми белками глаз, и в этот момент забывают о своей миссии и, смущенные, в поисках выхода, предлага для своего появления — протягивают руку за милостыней.

Вернемся к Подлиннику. Но мы никогда и не покидали его. И здесь мы отметим удивительную черту старой Книги, теперь понятную читателю, — она развивается во время чтения, границы ее со всех сторон открыты всем изменениям и колебаниям.

Сейчас, например, никто там уже не предлагает щелков с Гарца, потому что из шарманок брюнетов, из переходов и извилов мелодий выпархивают через неравные промежутки времени эти метелки из перьев, и рынок засыпан ими, как разноцветными литерами. Ах, как разрослось их мелькающее и щебечущее племя. . . Вокруг всех спицей, карнизов и флюгеров образуются разноцветные скопления, заторы, идет борьба за место. И достаточно выставить за окно набалдашник палки, чтобы втянуть его обратно отягощенным трепещущей гроздью!

Теперь мы в своем рассказе приближаемся быстрыми шагами к той прекрасной и катастрофической эпохе, которая в нашей биографии носит название гениальной.

Напрасно было бы отрицать, что и сейчас мы ощущаем это сердцебиение, это радостное беспокойство, этот священный трепет, который предвещает решающие события. Скоро нам не хватит в ячейках красок, а в душе — огня, чтобы положить самые последние мазки, нарисовать самые лучезарные и уже трансцендентальные контуры на этой картине.

Что же такое гениальная эпоха и когда она была?

Тут мы вынуждены стать на минуту совершенно эзотеричными, как господин Боско из Милана, и понизить голос до проникновенного шепота. Мы должны разметить наши выводы многозначительными улыбками и, как щепотку соли, растереть кончиками пальцев тончайшую материю неуловимого. Не наша вина, если иногда мы будем напоминать продавцов невидимой ткани, демонстрирующих изысканными жестами свой обманчивый товар.

ГЕНИАЛЬНАЯ ЭПОХА

I

Обычно события следуют одно за другим, нанизанные на ход времени, как на нитку. Одни предшествуют другим, другие являются следствием третьих, они толпятся, беспрерывно наступая друг другу на пятки. Это важно и для повествования, душа которого — непрерывность и ответственность.

Что же, однако, делать с событиями, у которых во времени нет своего места, с событиями, которые произошли слишком поздно, когда время все было разделено, роздано, разобрано, и остались как бы ни при чем, повисшими в воздухе, бесприютными, блуждающими?

Разве время тесно для всех событий? Неужели все места во времени распроданы? Мы в тревоге бежим вдоль всего состава событий, уже готовясь ехать.

Боже, уж нет ли здесь спекуляции билетами на время? Господин кондуктор!

Спокойно! Без лишней паники, все решается потихоньку в подходящий момент.

Доводилось ли читателю когда-нибудь слышать о параллельных путях в двухколейном времени? Да, существуют боковые ветки времени, правда, не совсем законные и внушающие сомнение, но когда везешь, как мы, такую контрабанду — событие, которое никуда не умещается, — выбирать не приходится. Попробуем отыскать боковую ветку, запасной путь, и столкнуть туда нашу незаконную историю. Бояться нечего. Все произойдет незаметно, читатель не ощутит никакого толчка. Как знать — может быть, пока мы говорим, сомнительная операция уже позади, и мы едем по запасному пути.

Так была или нет гениальная эпоха? Трудно ответить. И да и нет. Потому что существуют вещи, которые целиком, до конца, не могут произойти. Они слишком велики, чтобы уместиться в явлении, и слишком прекрасны. Они только пытаются произойти, пробуют почву действительности, выдержит ли. И тут же отступают, боясь утратить свою цельность при несовершенном осуществлении. А если они потратили свой капитал, растеряли и то и другое в попытках воплощения, то тут же завистливо отбирают свою собственность, отзывают, возвращают ее назад, и потом в нашей биографии остаются эти белые пятна, благовонные стигматы, эти затерянные следы ангельских ступней, оставшиеся от огромных шагов, рассеянных по нашим дням и ночам, тогда как полнота славы все прибывает и пополняется и доходит до высшей точки над нами, в триумфе переходя все границы восторга.

Но в каком-то смысле она вся целиком помещается в любом из своих несовершенных и неполных воплощений. Здесь происходит явление репрезентации и замещающего бытия. Какое-либо событие может быть мелким и убогим по своим истокам и выражению, но если присмотреться поближе, оно содержит внутри бесконечную и лучезарную перспективу, высшее бытие пробует выразить себя и ярко сияет в нем.

Станем же тогда собирать эти намеки, земные подобия, станции и перегоны путей нашей жизни, как осколки разбитого зеркала. Будем собирать по кусочку то, что едино и нераздельно, — нашу великую эпоху, гениальную эпоху нашей жизни.

Может быть, мы в порыве унижения, запуганные необъятностью трансцендента, — слишком ее ограничили, сузили и засомневались в ней. Но несмотря на все, выражения — она была.

Она была, и никто не отнимет этой уверенности, этого чистого вкуса, который до сих пор у нас на языке, этого обжигающего холода, вдоха, широкого, как небо, и свежего, как глоток ультрамарина.

Удалось ли нам в какой-то мере приготовить читателя к тому, что произойдет, можем ли мы рискнуть отправиться в гениальную эпоху?

Читателю передалось наше беспокойство. Мы видим его волнение. Несмотря на внешнее оживление, и у нас тяжело и тревожно на сердце.

Так с богом — садимся, и в путь!

II

Мать прибежала в испуге и схватила мой крик в объятия, чтобы накрыть его и затушить, как пожар, в складках своей любви. Она закрыла мне рот поцелуем и кричала вместе со мной.

Но я отталкивал ее и показывал на горящий столб, на золотую балку, косо, как заноза, стоявшую в воздухе, балку, которую никакими силами нельзя было сдвинуть, — горевшую огнем, с кружившимися в ней пылинками, — и кричал: «Убери ее, убери!»

Печь надулась, намалеванный по ее бокам рисунок налил кровью, и казалось, что напряженные всех жил и мускулов выльется в истошный петушиний крик.

Я стоял, раскорячившись, вытянутыми, удлинившимися пальцами показывал на светящийся столб, в гневе, дрожа от возбуждения, напряженный, как дорожный указатель.

Меня вела рука, чужая и побелевшая, тащила меня за собой, оостеневшая, восковая рука, похожая на поднятые с мольбой ладони, на длань ангела, воздетую для клятвы.

Зима шла к концу. Дни стояли жаркие, полные огня и перца. Блестящие ножи кроили медовую мякоть дня на серебряные ломти, призмы, на просвет отливающие радугой, пахнущие пряностями. А циферблат полудня собирал на небольшой поверхности весь блеск этих дней и показывал каждый час, охваченный пламенем.

В этот час, не в силах вынести жара, день сбрасывал слой за слоем серебристую оболочку, листья хрустящей

фольги, открывая сияющую сердцевину. И, как будто этого мало, дымили трубы, клубился блистающий дым, каждую минуту бесшумным взрывом взлетали ангелы, ненасытимое небо, открытое для все новых взрывов, поглощало бурю крыл. С его крепостных стен выстреливали белые фонтаны, далекие башни расплывались клубами под сияющим огнем невидимой артиллерии.

Окно комнаты, до краев полное неба, переливалось через занавески, которые, дымясь, в пламени, плыли золотыми тенями, дрожанием воздушных струй. На ковре лежал косо пылающий ромб, его блеск то ослабевал, то усиливался. Меня до глубины души потрясал этот горящий столб. Я стоял, как околдованный, широко расставив ноги, и не своим голосом осыпал его чужими, грубыми ругательствами.

В прихожей, на пороге комнаты толпились в замешательстве, в испуге, заламывая руки, родные, соседи, нарядные тетки. Они подходили и уходили на цыпочках, с любопытством заглядывая в двери. А я кричал.

— Видите, — кричал я матери и брату, — я всегда говорил вам, что все заткнуто, заперто, подернуто скукой! А сейчас взгляните только на это половодье, на расцвет, на эту благодать!

И плакал от счастья и бессилья.

— Проснитесь, — обращался я к ним, — помогите мне скорее! Разве мне одному справиться с этим разливом, одолеть этот потоп? Как могу я один ответить на миллион слепящих вопросов, которыми осыпает меня Господь?

И поскольку они молчали, я гневно звал их: — Спешите, набирайте ведрами это изобилие, берите в запас!

Но никто не мог спасти меня, все стояли, переглядывались, беспомощно прятались за спины друг друга.

Вдруг я понял, что делать, и принялся вытаскивать из шкафов старые фолианты, исписанные и рассыпающиеся торговые книги отца, и бросать их на пол, к стоявшему и горевшему в воздухе столбу. Мне все не хватало бумаги. Брат и мать прибегали с охапками старых газет и журналов и сваливали их грудой на пол. А я сидел среди этих бумаг, ослепленный блеском, — перед глазами мелькали ракеты, взрывы, цветные пятна, — и рисовал. Рисовал в спешке, в панике, вкось, поперек, по печатным и исписанным страницам. Цветные карандаши вдохновенно летали по столбцам неразборчивых текстов, оставляя гениальные каракули, головоломные зигзаги, которые внезапно соединялись, образуя анаграммы видений, ребусы сверкающих откровений, и вновь рассыпались пустыми слепыми молниями.

О сияющие рисунки, возникающие как под чужой рукой, о прозрачные краски и тени! Как часто и теперь, спустя столько лет, я нахожу их во сне — в ящиках старого стола, блистающие и свежие, как утро, еще влажные от первой росы: фигуры, пейзажи, лица!

О синева, от которой перехватывало дыханье, о зелень, изумруднее изумления, о прелюдии и трели цветов, еще только предчувствуемых, еще безмянных!

Почему я легкомысленно расстался с ними? Я разрешал соседям перебирать кипы рисунков, рыться в них. Они уносили домой целые охапки. В какие только дома не попадали мои рисунки, на каких свалках не оказывались! Аделя выклеила ими кухню, и там стало светло и нарядно, как от первого снега, покрывшего ночью землю.

Это было жестокое рисование, с засадами, с нападениями. Когда я сидел, напряженный, как тетива, неподвижно, а кругом меня на солнце ярко горели бумаги — стоило рисунку, привожденному моим карандашом, совершить хоть малейшую попытку бежать, тут же моя рука, дрожа, бросалась на него, как бешеный кот, и уже чужая, одичавшая, хищная, загрызала чудовище, пытавшееся выскользнуть из-под карандаша. И отрывалась от бумаги лишь тогда, когда мертвое, неподвижное тело демонстрировалось на листе, как в гербарии, свою разноцветную фантастическую анатомию.

Это была охота, борьба не на жизнь, а на смерть. Кто мог отличить нападающего от жертвы в бешеном клубке, в сплетении ужаса и криков! Бывало, рука моя дважды и трижды бросалась вперед и только на четвертом или пятом листе достигала жертву. Не раз она кричала от боли и страха в когтях и клешнях чудовищ, извивавшихся под моим скальпелем.

С каждым часом появлялись новые и новые видения, теснились, создавали заторы, пока однажды по всем дорогам и тропинкам не разошлись шестивия, нескончаемые колонны, паломничество зверей.

Словно во времена Ноя, двигались разноцветные процессии, текли реки шерсти и грив, покачивались спины и хвосты, без конца кивали в такт ходьбе головы.

Моя комната служила границей и заставой. Здесь они останавливались, толпились, жалобно блея. Топтались на месте, тревожно и дико, — горбатые и рогатые существа, во всевозможных нарядах и снабженные всем арсеналом зоологии, напуганные самими собой, собственным маскарадом, они удивленно и беспокоило глядели сквозь прорези мохнатых шкур и жалобно мычали, как будто под маской рот каждого был заткнут клепом.

Может быть, они ждали, чтобы я назвал их, разгадал загадку, которой они не понимали? Может быть, они спрашивали у меня свое имя, чтобы войти в него, наполнить его своей сущностью? Появлялись странные маски, существа-вопросы, существа-идеи, мне приходилось кричать и отмахиваться от них.

Они пятились, наклонив головы и глядя исподлобья, и терялись сами в себе, возвращались, рассыпаясь, в безмянный хаос, на свалку форм. Сколько спин, прямых и горбатых, прошло под моей рукой, сколько голов коснулось ее бархатной лаской!

Я понял тогда, почему у зверей есть рога. Это было то непонятное, что не умещалось в их жизни, дикий и навязчивый каприз, глупое и слепое упрямство. Некая идея фикс, вылезшая за рамки их существа, выше головы, внезапно оказавшаяся на свету, застывала, становясь ошутимой и твердой. Она приобретала дикую, неожиданную и невероятную форму, скручиваясь в фантастическую арабеску, невидимую и пугающую, в неизвестный знак, под страхом которого они жили. Я понял, почему звери часто впадают в дикую, глупую панику, в бешеный испуг: охваченные безумием, они не могли выпутаться из переплетений рогов, из-под которых — склонив головы — глядели дико и печально, как бы в поисках прохода между их ветвями. Рогатые звери были далеки от свободы и с грустью и смирением несли на голове знак своего безумия.

Но еще дальше от света были коты. Их совершенство пугало. Заключенные в аккуратные, изящные тела, они не знали ни ошибок, ни отклонений. На мгновение они уходили вглубь, погружались в свою суть, и тогда застывали в мягких шкурках, а глаза их круглились лунами, притягивая взгляд к горящим отверстиям. А спустя минуту, выброшенные на берег, на поверхность, они широко зевали, разочарованные, лишенные иллюзий.

В их жизни, исполненной замкнутой в самой себе грации, не было места ни для какого выбора! И утомленные этим узилищем совершенства, одолеваемые сплином — они фыркали, вздернув губу, и на короткой, расширенной полосками морде читалась жестокость. Внизу пробирались куницы, хорьки и лисы, разбойники звериного царства, существа с нечистой совестью. Они добыли себе место в бытии хитростью и уловками, вопреки планам творения, и преследуемые ненавистью, всегда в опасности, всегда настороже, в тревоге за отвоеванное, — жарко любили свою краденую, скрываемую по норам жизнь, готовые, защищая ее, дать разорвать себя на куски.

Наконец все ушли, и в моей комнате вновь наступила тишина. Я снова стал рисовать на исписанных бумагах, от которых шло сияние. Окно было открыто, и на карнизе вздрагивали от весеннего ветра горлицы и голубки. Наклоняя головки, они показывали круглый стеклянный глаз, как бы удивленный и исполненный полета. Дни под конец становились мягкими, опаловыми, сияющими либо жемчужными, полными туманной сладости.

Пришел праздник Пасхи, и родители уехали на неделю к моей замужней сестре. Меня оставили дома одного с моими фантазиями. Аделя каждый день приносила мне завтраки и обеды. Я почти не замечал, как она появлялась на пороге в праздничном наряде, в кружевах и фетике, благоухая весной.

В открытое окно мягко вливался воздух, наполняя комнату отсветом далеких горизонтов. Какое-то время краски дальних мест держались в воздухе, затем расплывались, развеивались голубой тенью, нежностью и волнением. По-

ловодье картин сколько-то улеглось, разлив видений уменьшился, утих.

Я сидел на полу. Вокруг лежали мелки, кружочки красок, божьи цвета, лазурь, дышащая свежестью, зелень, забредшая за грань изумления. И когда я брал в руки красный мелок, в ясный мир летели фанфары прекрасного пурпура, и на всех балконах волнами переливались алые флаги, и дома выстраивались вдоль улицы торжественной шеренгой. Колонны городских пожарных в малиновых униформах шли парадом по светлым счастливым дорогам, а мужчины приветствовали их, снимая котелки цвета черешни. Черешневая сладость, черешневый щебет щеглов наполняли воздух, пахнувший лавандой, переливавшийся

А когда в руках у меня оказывалась синяя краска — на улицу ложился отблеск кобальтовой весны, одно за другим, звеня, распахивались окна, полные лазури и голубого огня, легкий и радостный сквозняк вздымал муслиновые занавески, обдувал олеандры на пустых балконах, казалось, на другом конце длинной и светлой аллеи, очень далеко, появился и приближался кто-то сияющий, опережаемый молвой, предчувствием, возвешенный полетом ласточек, сигнальными огнями, отмечающими каждую милю.

III

В самый праздник Пасхи, в конце марта или в начале апреля, Шлема, сын Товия, вышел из тюрьмы, куда его посадили на зиму после скандалов и безумств лета и осени. Однажды я увидел в окно, как он покидал парикмахерскую, владелец которой сочетал в одном лице брадобрея, парикмахера и хирурга города. Шлема открыл стеклянные двери с аккуратностью, приобретенной в тюрьме, и спустился по трем деревянным ступенькам, освещенный и помолодевший, отлично подстриженный, в коротковатом сюртуке и высоко поддернутых клетчатых брюках, щуплый и моложавый, несмотря на свои сорок лет.

Площадь Святой Троицы была пустой и чистой. После весенней слякоти, унесенной проливными дождями, булыжник был промыт и высушен за время ясной погоды, стоявшей все эти долгие дни, может быть, даже слишком просторные для такой ранней поры, когда бесконечно тянутся сумерки, еще пустые в глубине, напрасные и бесплодные в своих великих ожиданиях.

Как только Шлема закрыл стеклянные двери парикмахерской, их тут же залило небо, так же как и все окошки этого одноэтажного дома, открытого чистой глубине тенистого небосвода.

Сойдя со ступенек, он оказался совсем один на краю огромной пустой раковины площади, через которую пропльывала синева бессолнечного неба. Большая, чистая площадь лежала в этот день как стеклянный шар, как новый, неначавшийся год. Шлема стоял, совсем серый и угасший, залитый синевой, не решаясь потревожить совершенство нетронутого дня.

Лишь раз в году, в день выхода из тюрьмы, Шлема чувствовал себя очищенным, не отягощенным, новым. День впускал его — обновленного, безгрешного, в согласии с миром, — отворял перед ним чистые круги своих горизонтов.

Он не торопился. Он стоял на кромке дня и не решался пройти, прочертить своей мелкой, юношеской, чуть прихрамывающей походкой покатым сводом послеполуденного часа.

Прозрачная тень лежала над городом. Тишина трех часов полудни забирала у домов чистую белизну мела и бесшумно раскладывала ее вокруг площади, словно колоду карт. Пройдя один круг, принималась за новый, черная запасы белизны с барочного фасада церкви Троицы, похожего на слетевшую с неба огромную рубаху Бога, со складками пилястров, ризалитами и фрагментами, расщепленную пафосом волют и архивольт, а та поспешно поворачивала на себе огромное раздувающееся одеяние.

Шлема запрокинул голову, втягивая ноздри в воздух. Теплый ветер нес запах олеандров, запах праздничного жилья и корицы. Шлема чихнул — знаменитым мощным чихом, от которого в испуге сорвались и взлетели голуби с крыши полицейского участка. Шлема усмехнулся: Бог

давал ему знать, что весна настала. Примета была вернее прилета аистов, и с тех пор, теряясь в городском шуме, вблизи или издали, раскатистый чих служил как бы комментарием к городским событиям.

— Шлема, — позвал я, стоя на окне нашего невысокого второго этажа.

Шлема заметил меня, улыбнулся своей милой улыбкой и махнул рукой.

— Мы сейчас одни на всем рынке, я и ты, — сказал я тихонько, потому что купол неба усиливал звук, как бочка.

— Я и ты, — повторил он с грустной улыбкой, — как пуст сегодня мир.

Мы могли бы разделить его и назвать заново — он лежал открытый, беззащитный и ничей. В такой день Мессия подходит к самому горизонту и смотрит оттуда на землю. И разглядывая ее, белую и затихшую, в лазури и задумчивости, может статься, он не увидит границы, голубоватые полосы облаков лягут ему под ноги, и, не ведая, что творит, он сойдет на землю. И земля, погруженная в раздумье, даже не заметит того, кто сошел на ее тропы, а люди очнутся от послеобеденной дремоты и ничего не вспомнят. Вся история изгладится из памяти, и все будет как в давние времена, когда она еще не началась.

— Аделя дома? — спросил он, улыбаясь.

— Никого нет, зайди на минутку, я покажу тебе рисунки.

— Если никого нет, не откажи себе в этом удовольствии. Впусти меня.

И воровски оглядевшись в воротах, он вошел во двор.

IV

— Замечательные рисунки, — говорил он, отставляя их от себя жестом знатока. По его лицу пробегали отблески красок и света. Иногда он прикладывал к глазу согнутую ладонь и смотрел как сквозь подзорную трубу, серьезно и понимающе.

— Можно сказать, — говорил Шлема, — что мир прошел через твои руки, чтобы обновиться, сбросить кожу, словно сказочная змейка. Думаешь, стал бы я воровать и дурить, если бы мир не был таким потрепанным, затертым, если бы вещи не потеряли своей позолоты, далекого отсвета божьих рук? За что взяться в таком мире? Как не усомниться, не пасть духом, когда смысл всего скрыт, замурован, когда всюду натыкаешься на кирпич, как на тюремную стену? Тебе, Юзеф, следовало родиться раньше.

Мы стояли в узкой полуметровой комнате, вытянутой к открытому на рынок окну. Оттуда до нас мягкими толчками докатывались волны воздуха, разливая тишину. Каждая волна приносила новую ее порцию, как будто предыдущая была уже исчерпана. Темная комната жила лишь отражениями далеких домов за окном, повторяя их цвета в глубине, наподобие камеры обскуры. В окно было видно, словно в подзорную трубу, голубей на крыше полицейского участка, разгуливающих, надувшись, по карнизу. Время от времени они все взлетали и описывали полукруг над рынком. Тогда комната на мгновение светлела от их распахнутых крыльев, становилась шире от их далекого полета, а потом темнела, когда они, садясь, складывали крылья.

— Тебе, Шлема, я могу раскрыть тайну рисунков, — сказал я. — С самого начала мне было непонятно, я ли нарисовал их. Иногда они кажутся мне невольным плагиатом, чем-то подсунутым, подсказанным. Словно кто-то чужой использовал мое вдохновение неизвестно зачем. Потому что, должен тебе признаться, — добавил я тихонько, глядя ему в глаза, — я нашел Подлинник...

— Подлинник? — спросил Шлема, и лицо его озарилось внезапным светом.

— Да, взгляни сам, — ответил я, становясь на колени перед ящиком комода.

Сначала я вынул шелковое платье Адели, ее шкатулку с кружевами, новенькие туфельки на высоких каблуках. В воздухе разошелся запах не то духов, не то пудры. Я вытащил несколько книжек: на дне, излучая свет, лежали драгоценные истрепанные страницы.

— Шлема, — сказал я в волнении, — посмотри, вот он...

Но Шлема стоял в раздумье, держа в руке туфельку Адели, и глубокомысленно рассматривал ее.

— Это не слово господне, — сказал он, — но как глубоко меня это убеждает, припирает к стенке, отвергает все

мои аргументы. Эти линии неопровержимы, потрясающе верны, неизбежны и, подобно молнии, проникают в самую суть. Как защищаться, что им противопоставить, если сам продан и предан вернейшими своими союзниками? Шесть дней творения было божьих и светлых. А на седьмой Он ощутил чужую мысль и в ужасе отвел руки от мира, хотя его созидательный пыл был рассчитан еще на много дней и ночей. Берегись седьмого дня, Юзеф.

И с ужасом подняв изящную туфельку Адели, он продолжал, словно замороженный блестящим ироническим красноречием пустой лаковой скорлупки:

ДРУГАЯ ОСЕНЬ

Среди множества научных трудов отца, которым он предавался в редкие минуты тишины и внутреннего спокойствия, в промежутках между катастрофами и поражениями, которыми изобилывала его бурная, полная приключений жизнь, — самыми дорогими для него были исследования по сравнительной метеорологии, в частности о специфическом климате нашей провинции с его неповторимыми особенностями. Именно он, мой отец, заложил основы научного анализа климатических формаций. Его «Очерк общей систематики осени» раз навсегда объяснил сущность этого времени года, приобретающего в нашем провинциальном климате затяжную, разветвленную, паразитически разросшуюся форму, которая именуется «китайским летом» и простирается далеко в глубь наших пестрых зим. Что еще? Он выяснил производный, вторичный характер этой поздней формации, которая представляет собой своеобразное отравление климата миазмами перезревшей и вырождающейся барочной живописи, нагроможденной в наших музеях. Разлагающаяся в скуке и забвении музейная живопись переставается, начиная бродить, как старое варенье, взаперти, пропитывает наш климат и порождает этот прекрасный лихорадочный жар, эти разноцветные безумства, которыми исходит затянувшаяся осень. Ведь красота — болезнь, учил мой отец, своеобразная дрожь таинственного недуга, темное предвестие разложения, идущее из глубин совершенства и встречаемое им вздохом радости.

Несколько конкретных замечаний о нашем провинциальном музее пусть послужат лучшему пониманию вопроса... Его основание датируется XVIII веком и связано с достойным удивления коллекционерским рвением монахов ордена св. Базилия, которые подарили городу этот паразитический нарост, отяготивший городской бюджет непосильными и непродуманными расходами. В течение нескольких лет казна Респубблики, купив собрание за бесценок у обедневшего монастыря, великодушно тратилась на благотворительность, достойную какого-нибудь королевского двора. Но уже следующее поколение отцов города, более практичное и не закрывающее глаза на хозяйственные нужды, после безуспешных переговоров с попечителями архиепископских коллекций, которым они пытались продать музей, закрыли его, уволили администрацию, назначив последнему хранителю пожизненную пенсию. Во время этих переговоров специалисты выяснили, что, несомненно, ценность коллекции была сильно преувеличена патриотами города. Достойные монахи в похвальном рвении приобрели множество подделок. Во всем музее не было ни одной картины первоклассного художника, зато целые собрания второ- и третьеразрядных, целые провинциальные школы, известные лишь знатокам заброшенные тупики истории искусств.

Удивительно, почтенные монахи отличались воинственными склонностями: большинство картин изображало батальные сцены. Сияющий золотистый сумрак густел на обветшавших полотнах, где флотилии галер и каравелл, старые забытые армады плеснели в заливах, не трогаясь с места, качая на выгнутых парусах величие давно исчезнувших республик. Из-под закопченного и потемневшего лака проглядывали едва заметные очертания кавалерийских стычек. Сквозь пустоту проигранных кампаний, под темным, трагическим небом в грозной тишине тянулись сплетшиеся кавалькады, обрамленные с обеих сторон нагромождениями и клубами артиллерийских залпов.

— Видишь ли ты чудовищный цинизм этого символа на женской ножке, вызов развязной походки на этих изящных каблуках? Могу ли я оставить тебя под властью этого знака? Упаси Бог...

С этими словами он ловко всунул за пазуху туфельки, платье, бусы Адели.

— Шлема, что ты делаешь? — изумленно спросил я. Но он уже быстро уходил, чуть прихрамывая, в коротковатых клетчатых брюках. В дверях он повернул ко мне серое, со стертymi чертами лицо, успокаивающе поднес руку к губам. И исчез.

На картинах неаполитанской школы без конца стареет смуглый и закопченный полдень, как бы видимый сквозь бутылочное стекло. Потемневшее солнце, кажется, вянет на этих обреченных пейзажах, как накануне космической катастрофы. И оттого такими счастливыми кажутся улыбки и движения золотых рыбацек, жеманно протягивающих связки рыб бродячим комедиантам. Весь этот мир давно приговорен и давно померк. Потому так безгранична мягкость последнего жеста, который только и остался — далекий и чужой самому себе, повторяющийся вновь и вновь, уже неизменный.

А еще дальше в глубине этой страны, населенной беспечным народом шутов, арлекинов и птицеловов с клетками, в этой стране, веселой и нереальной, маленькие турчанки пухлыми ручками раскладывают на досках медовые лепешки, два мальчика в неаполитанских шляпах несут на палке корзину с воркующими голубями, и палка чуть прогибается под этим поющим крылатым грузом. А еще дальше, у самого края вечера, у последней крошки земли, где на границе мутно-золотой пропасти покачивается вянувший букет аканта, все еще идет карточная игра, последняя ставка людей перед надвигающейся огромной ночью.

Все это нагромождение увядшей красоты подвергалось болезненной дистилляции под давлением многих лет скуки.

— В состоянии ли вы понять, — спрашивал мой отец, — отчаяние обреченной красоты, ее дни и ночи? Вновь и вновь стремится она к мнимым распродажам, инсценирует удачные торги, шумные и многолюдные аукционы, впадает в страшный азарт, играет на понижение, растрчивает, как мот, разбрасывает свое богатство, чтобы трезвее понять, что все напрасно, что из замкнутого круга обреченного совершенства не выйти, тяжести изобилия не уменьшить. Ничего удивительного, что это нетерпение, эта беспомощность красоты должны были сказаться, в конце концов, на нашем климате, разгореться заревом над нашим горизонтом, выродиться в атмосферные фокусы, облачные нагромождения, огромные и фантастические, в то, что я называю нашей другой, нашей псевдоосенью. Эта другая осень нашей провинции — не что иное как болезненная фата-моргана, излучаемая в гигантской проекции на наше небо обреченной, запертой красотой наших музеев. Эта осень — огромный бродячий театр, лгущий поэзией, большая разноцветная луковица, открывающая каждый раз все новую панораму. Ни до какой сердцевины никогда не добраться. За каждой кулисой, как только она завянет и с шелестом свернется, открывается новый и сияющий prospect, на мгновение живой и настоящей, пока, угасая, не обнаружит своего бумажного естества. Все перспективы нарисованы, все панорамы из картона, один лишь запах настоящей, запах увядших кулис, запах гардеробной, грима и ладана. А в сумерках — неразбериха и путаница кулис, беспорядок разбросанных костюмов, среди которых бродишь без конца, как по шелестящим опавшим листьям. Кругом суматоха, и каждый тянет за шнур занавеса, и небо, огромное небо осени, все в обрывках декораций и наполнено скрипением блоков. И лихорадочная спешка, запыхавшийся поздний карнавал, паника преддурных балльных зал и столпотворение масок, немдававших к своим костюмам.

Осень, осень, александрийская эпоха года, собравшая в своих библиотеках праздную мудрость 365 дней солнечного круга. О древние рассветы, желтые, как пергамент, мудрые, как поздние вечера! Эти дни, хитро улыбающиеся,

как умные палимпсесты, многослойные, как старинные пожелтевшие книги! Ах, осенний день, старый шутник-библиотекарь, лазающий по стремянкам в сползшем халате и пробующий варенье всех времен и культур! Любый пейзаж для него — как начало старинного романа. Как он забавляется, выпуская героев старых повестей на прогулку под этим продумленным медовым небом, в туманную и печальную позднюю мягкость мира. Что за приключения ждут Дон Кихота в Соплицове? Как сложится жизнь Робинзона по возвращении в родной Болахов?

Душными безветренными вечерами, желтыми от закатов, отец читал нам отрывки рукописи. Полет мысли захватывал его и временами позволял забыть о грозном присутствии Адели.

ДОДО

Он бывал у нас по субботам после обеда, в темной тужурке и белом пикейном жилете, в котелке, который, очер дно, был изготовлен на заказ по размерам его головы, приходил посидеть минут пятнадцать-двадцать над стаканом воды с малиновым соком, подумать, опираясь подбородком на костяной набалдашник палки, зажатой между коленями, следя за голубоватым дымом сигареты.

Обычно тогда же приходили с визитом и другие родственники, и в ходе непринужденной беседы Додо как-то отодвигался в тень, ограничиваясь ролью статиста в этом оживленном собрании. Не говоря ни слова, он переводил выразительный взгляд с одного собеседника на другого, и лицо его постепенно вытягивалось и совершенно глупело, ничем не сдерживаемое, целиком поглощенное слушанием.

Он говорил, только когда к нему обращались, и отвечал на вопросы, правда односложно, как бы нехотя, глядя в сторону, если эти вопросы относились к простым и легко разрешимым делам. Иногда разговор удавалось продлить еще на несколько фраз благодаря запасу выразительных мин и жестов, которыми он располагал и которые по своей многозначности годились на все случаи, заполняя провалы членораздельной речи и поддерживая своей живостью впечатление разумного отклика. Но это заблуждение скоро исчезало, и разговор плачевно обрывался, собеседник медленно отводил взгляд от Додо, а тот, предоставленный самому себе, возвращался к привычной роли статиста и праздного наблюдателя в общей беседе.

Да и как продолжать разговор, когда, скажем, на вопрос, сопровождал ли он мать в деревню, Додо печально отвечал «не знаю», и это была грустная и стыдная правда, поскольку память Додо ограничивалась самыми недавними событиями.

Давно, в детстве, Додо перенес тяжелую болезнь мозга, много месяцев лежал без памяти, между жизнью и смертью, а когда все же выздоровел — то оказалось, что он как бы вышел из обращения, перестал принадлежать к числу разумных людей. Его обучали частным образом, в большой степени *pro forma*, с величайшей осмотрительностью. Требования, жесткие и неизменные по отношению к другим, в отношении Додо смягчались и были весьма снисходительны.

Вокруг него создалась атмосфера некоей привилегированности, которая ограждала его, отделяла нейтральной полосой от напора жизни и ее требований. За пределами этого круга людей захлестывали волны жизни, все шумно бродили в них, давали собой завладеть, взволнованные, подхваченные, в странном забытии — внутри круга царили спокойствие и пауза, цезура в общем столпотворении.

Так он рос, а исключительность его судьбы росла вместе с ним, как бы сама собой разумеющаяся, не встречая ничего сопротивления.

Додо никогда не доставало новой одежды, а всегда ношенная, старшего брата. В то время как жизнь ровесников была разделена на фазы, периоды, обозначенные пограничными событиями, торжественными и символическими моментами: именины, экзамены, обручение, повышение по службе, — его жизнь протекала совершенно однообразно, не нарушаемая ничем приятным или неприятным, и будущее рисовалось как ровная дорога, без случайностей и неожиданностей.

Было бы ошибкой думать, что Додо противился такому

Подули теплые молдавские ветры, настало бесконечное желтое однообразие, мягкое, бесполезное веяние с юга. Осень не хотела кончаться. Как мыльные пузыри, дни становились все прозрачнее и прекраснее, и каждый казался настолько утонченным, что любая его минута была чудом, дрящимся сверх меры, и отзывалась болью.

В тишине этих глубоких и прекрасных дней незаметно изменилась материя листы, так что однажды деревья оказались в огне совершенно дематериализовавшихся листьев, в легкой, как налет пылицы, как россыпь разноцветных конфетти, красе — великолепные павлины и фениксы, которым стоит лишь встряхнуться и захлопать крыльями, чтобы сбросить прекрасные, легкие папиросной бумаги, полинявшие и уже ненужные перья.

положению вещей. Он принимал это как присущую ему форму жизни, без удивления, с готовностью, с серьезным оптимизмом и устраивал мелкие происшествия в рамках этого бессобытийного однообразия.

Каждый день перед полуднем он шел на прогулку по городу всегда одним и тем же маршрутом вдоль трех улиц, которые проходил до конца, а затем возвращался той же дорогой. Одетый в изящный, хотя и потертый костюм брата, держа палку в заложенных за спину руках — он двигался с достоинством, не торопясь. Он напоминал путешественника для своего удовольствия господина, осматривающего город. Отсутствие какой-либо спешки, направления или цели, которые были бы заметны по его движениям, иногда становилось компрометирующим, поскольку Додо обнаруживал склонность заглядывать: у дверей магазинов, у мастерских, где раздавался стук молотков и что-то мастерили, даже перед группой беседующих.

Его лицо рано стало взрослым, и, удивительно, в то время как переживания и житейские потрясения не вторгались в его жизнь, щадя ее пустую неприкосновенность, ее ничего не значащую исключительность, черты лица Додо складывались под влиянием переживаний, проходивших мимо него, предвосхищая какую-то невоплощенную биографию, которая, едва наметившись как возможность, формировала и лепила из этого лица обманчивую маску великого трагика, полную глубокой мудрости и глубокой печали.

Его брови выгнулись великолепными дугами, затеняя огромные печальные глаза. Две морщины, полные абстрактного страдания и мнимой мудрости, спускались от носа к углам рта и ниже. Маленький пухлый рот был страдальчески сжат, а кокетливая мушка на длинном бурбонском подбородке придавала ему вид пожилого и опытного бонвивана.

Не обошлось без того, что его привилегированность была выслужена, хищно вынюхана затаившейся и всегда жаждущей добычи людской недоброжелательностью.

Все чаще случалось, что во время утренних прогулок у него обнаруживались спутники, а его исключительность обусловила, что это были приятели особого рода, не связанные с ним общими интересами или дружбой, а приятели сомнительные и не прибавляющие чести. По большей части они были намного моложе, их привлекало его достоинство и серьезность, а разговоры их носили своеобразный характер, веселый и шутливый, для Додо — не стоит отрицать — приятный и возбуждающий.

Когда он шел, возвышаясь на целую голову над этой веселой, щебечущей стайкой, то напоминал философа-перипатетика в окружении учеников, а из-под маски глубокомыслия и печали пробивалась легкомысленная улыбка, противореча общему трагическому выражению лица.

Теперь Додо запаздывало со своих утренних прогулок, возвращался домой слегка растрепанный, со спутанными волосами, но оживленный и склонный к веселым пререканиям с Каролей, бедной родственницей, которую приютила тетка Ретиция. Кроме того, как бы подозревая, что эти встречи не делают ему чести, Додо хранил о них дома полное молчание.

Раз или два в этой монотонной жизни произошли события, выходявшие за рамки повседневности.

Однажды, выйдя утром из дому, он не вернулся к обеду. Не пришел он ни к ужину, ни к обеду на следующий день. Тетка Ретиция была близка к отчаянию. Но вечером второго дня он возвратился, немного помятый, в потерявшем форму и сбитом наборе котелке, но совершенно здоровый и спокойный.

Трудно восстановить историю этого приключения, о котором Додо не проронил ни слова. Может быть, засмотревшись на что-нибудь на прогулке, он забрел в незнакомую часть города, вероятно, не обошлось без помощи молодых перипатетиков, с удовольствием ввергавших Додо в новые, неизвестные житейские обстоятельства.

Может быть, это оказался один из тех дней, когда Додо отпускал отдохнуть свою бедную уставшую память — забывал адрес и даже фамилию, сведения, которые, впрочем, в другое время всегда были ему известны.

Мы никогда не узнали подробностей этого похождения. Когда старший брат Додо уехал за границу, семья сократилась до трех-четырех человек. Кроме дяди Иеронима и тетки Ретиции была еще Кароля, исполнявшая роль ключницы в большом дядином хозяйстве.

Дядя Иероним уже много лет не покидал комнаты. С того момента как Провидение мягко вынуло из его руки руль побитого и застрявшего на мели житейского корабля, он проводил дни на покое в узком пространстве прихожей и темной комнаты, отведенной ему.

В длинном, до земли, халате он сидел в глубине комнаты и со дня на день обрастал все более фантастической растительностью. Длинная борода цвета перца (к концам длинных прядей почти белая) окружала его лицо, доходила до середины щек, оставляя снаружи лишь ястребиный нос да два глаза, сверкавшие белками из-под клочковатых бровей.

В мрачной комнате, в этом тесном узилище, по которому он, как большой хищный кот, был обречен кружить, у дверей, ведущих в гостиную, стояли две огромные дубовые кровати, ночное пристанище дяди и тети, а всю заднюю стену закрывал огромный гобелен, контуры которого неясно вырисовывались в глубине. Когда глаза привыкали к темноте, среди бамбуков и пальм становился виден громадный лев, мощный и печальный, как пророк, и величественный, как патриарх.

Сидя спинами друг к другу, лев и дядя Иероним исходили взаимной ненавистью. Не глядя, грозили один другому ощеренным клыком и гневно рыкающим словом. Иногда лев в ярости привставал, вздыбив гриву на вытянутой шее, и его страшный рык раскатывался по горизонту, затянутому тучами.

Или дядя Иероним возвышался над ним с пророческой тирадой, лицо его грозно искажалось от гневных слов, а борода вдохновенно вздымалась. Тогда лев страдальчески жмурился и медленно отворачивал голову, отступая перед силой слова божьего.

Лев и Иероним наполняли темную спальню вечными раздорами.

Дядя Иероним и Додо существовали в тесном жилище как бы не соприкасаясь, в разных измерениях, не имеющих общих точек. Когда они встречались глазами, их взгляды шли дальше, не задерживаясь, как у зверей двух далеких видов, которые вовсе не замечают друг друга, не в состоянии удержать чужой образ, проходящий сквозь сознание, неспособное воспринять его.

Они никогда не разговаривали.

За столом тетка Ретиция, сидя между мужем и сыном, была границей двух миров, перешейком между двумя морями безумия.

Дядя Иероним ел беспокойно, длинная борода лезла в тарелку. При скрипе кухонных дверей он привскакивал со стула и хватал тарелку с упом, готовый бежать со своей порцией в спальню, если кто чужой войдет в комнату. Тогда тетка Ретиция успокаивала его: «Не бойся, никого нет, это служанка». А Додо окидывал отца гневным и негодующим взглядом блестящих глаз, с досадой бормоча под нос: «Сумасшедший...»

До того как дядя Иероним был освобожден от трудноразрешимых житейских проблем и смог укрыться в своем одиноком убежище в спальне — он был человеком совершенно другого склада. Те, кто знал его в молодости, утверждали, что его наистовая натура не признавала ни-

каких сдерживающих начал, обстоятельств или приличий. Он с удовольствием беседовал с неизлечимо больными об ожидающей их смерти. Во время визитов соболезнования он весьма критически отзывался о покойнике перед еще не осушившим слез растерянным семейством. Людям, скрывающим шекотливые или малоприятные обстоятельства своей жизни, он напоминал о них с насмешкой и во всеуслышание. Но однажды ночью он вернулся из поездки совсем другим, без памяти от страха, и пытался спрятаться под кровать. Спустя несколько дней в семье узнали, что дядя Иероним отказался от всех своих запутанных, сомнительных и рискованных предприятий, в которые был погружен с головой, отрекся от них целиком и полностью и начал новую жизнь по строгим, но непонятным для нас правилам.

В воскресенье после полудня мы все приходили к тетке Ретиции на скромное семейное чаепитие. Дядя Иероним не узнавал нас. Сидя в спальне, он дико и испуганно поглядывал на собравшихся. Однако иногда он неожиданно покидал свою обитель и появлялся в свисающем до пят халате, бородастый, как патриарх. Двигая руками, словно стараясь разогнать нас, он говорил: «А теперь прошу вас, все, кто здесь есть, расходитесь, разбегайтесь, быстро, тихо и незаметно...» Потом, таинственно грозя нам пальцем, понизив голос, добавлял: «Уже все говорят: ди — да».

Тетка легонько выталкивала его в спальню, а он в дверях оборачивался и, угрожающе поднимая палец, повторял снова: «Ди — да».

Додо постигал происходившее не сразу, медленно, и проходило несколько минут молчания и замешательства, прежде чем ситуация для него прояснялась. Тогда, обводя нас всех взглядом, как бы уверяясь в том, что случилось нечто забавное, он заливался смехом, смеялся громко, с удовольствием, сочувственно качая головой и повторяя сквозь смех: «Сумасшедший...»

На дом тетки Ретиции опускалась ночь, выдоенные коровы в темноте терлись боками о дощатые стенки, служанки спали на кухне, из сада плыли волны ночного озона и разбивались в открытом окне. Тетка Ретиция покоилась в глубине своей огромной кровати. На другой кровати в подушках сидел, словно сыч, дядя Иероним. Его глаза блестели в темноте, борода спускалась на подтянутые к подбородку колени.

Он медленно вылезал из кровати, на цыпочках подбирался к тетке. Стоял над спищей, насторожившись, как кот, готовый к прыжку, его брови и усы топорщились. Лев на стене коротко зевнул и отвернулся. Тетка, проснувшись, испугалась этой фыркающей, с горящими глазами головы.

— Иди, иди в постель, — говорила она, отгоняя его, как петуха, движением руки.

Он отступал, фыркая и нервно оглядываясь.

В другой комнате лежал Додо. Додо не умел спать. Центр, ведающий сном, в его больном мозгу не действовал как следует. Он крутился, ерзал в постели, вертелся с боку на бок.

Матрас скрипел. Додо тяжело вздыхал, сопел, садился, беспомощный, в подушках.

Непрожитая жизнь мучилась, томилась в отчаянии, металась, словно кот к клетке. В теле Додо, в этом теле недоумка, кто-то старел без переживаний, кто-то дозревал до смерти без крохи смысла.

Вдруг он горько зарыдал в темноте.

Тетка Ретиция вскопчила с постели:

— Что с тобой, Додо, болит что-нибудь?

Додо удивленно повернулся к ней.

— Кто? — спросил он.

— Что ты стонешь? — спрашивает тетка.

— Это не я, это он...

— Какой «он»?

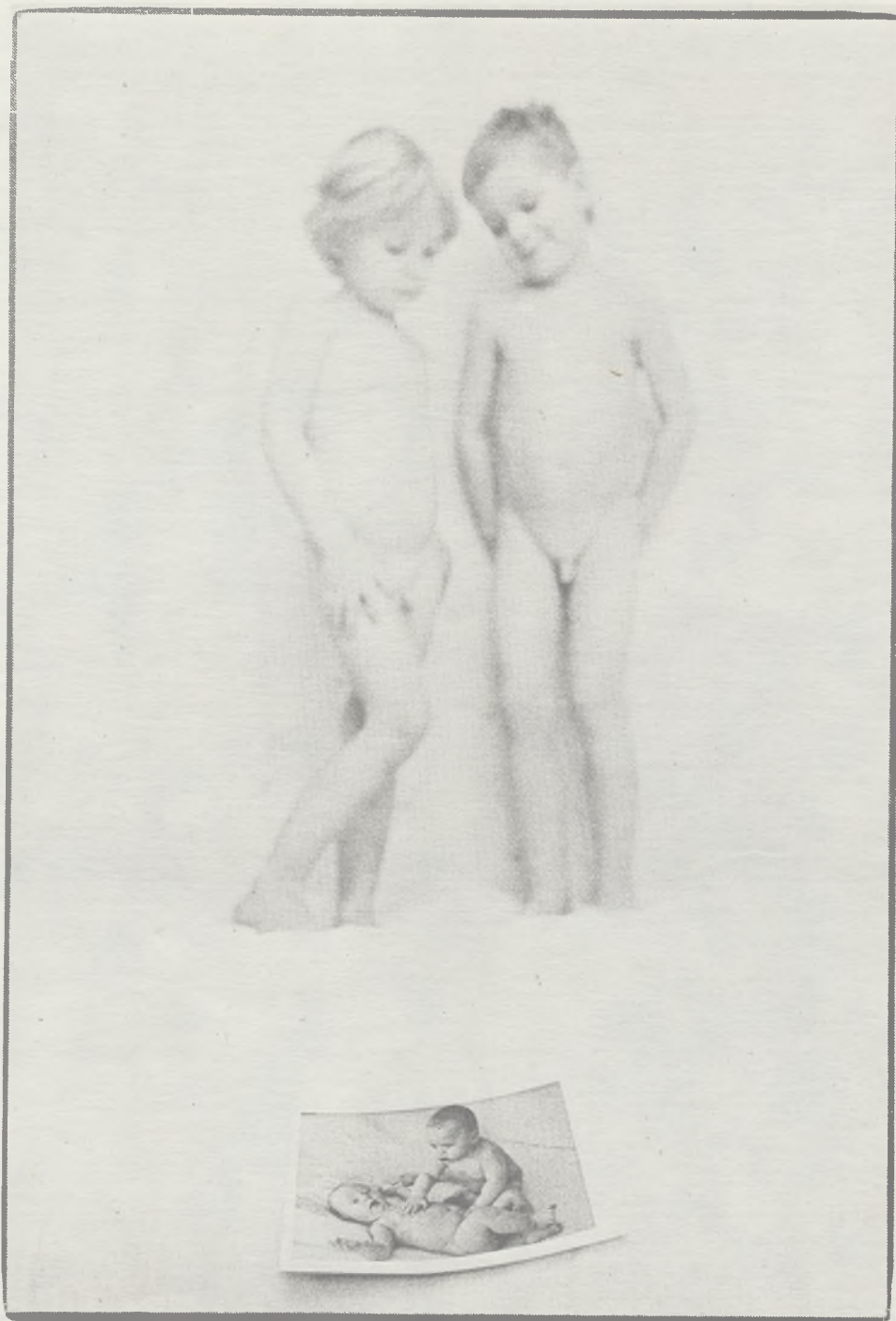
— Запертый...

— Кто это?

Но Додо только махнул рукой: — Эх... — и отвернулся.

Тетка Ретиция на цыпочках вернулась к кровати. Дядя Иероним погрозил ей пальцем: — Уже все говорят: ди — да.

Перевод с польского
ВАЛЕНТИНЫ КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ



ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ»
1.19... ГОДА ЗИМОЙ В РИГЕ.

Фото из архива

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

